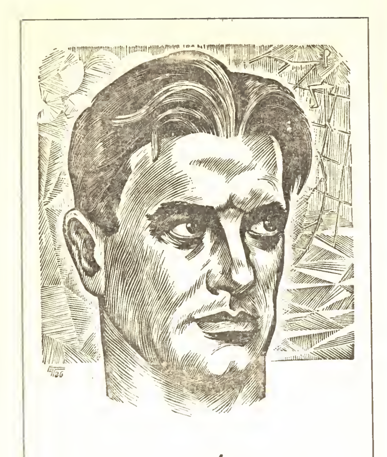
Владимир Маяковский

цветы из
машиной

В·В·МАЯКОВСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ



Вл. Маяковский

В. В. МАЯКОВСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

●

Я САМ
СТИХОТВОРЕНИЯ
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1987

Тексты и научный аппарат тома
подготовлены издательством «Художественная литература»
с участием Института мировой литературы
имени А. М. Горького АН СССР

Составление
Ал. Михайлова

Вступительная статья
А. Метченко

Примечания и общая редакция
А. Ушакова

Оформление художника
А. Еремина

Портрет на фронтисписе художника
Е. Терехова

М $\frac{4702010200 - 1475}{080(02) - 87}$ 1475 — 87 (подписное)

СЛОВО О МАЯКОВСКОМ[1]

В мировой поэзии XX века Маяковскому принадлежит особенная, можно сказать, исключительная роль. Маяковский первым из поэтов XX столетия отдал свой могучий талант революционному обновлению жизни, начатому Великим Октябрем. В наши дни наглядно видны глобальные масштабы совершенного им подвига. Уподобив поэзию Маяковского динамизму грандиозных межпланетных ракет, Пабло Неруда отметил, что под ее влиянием вся мировая поэзия «преобразилась, словно пережила настоящую бурю»[2].

* * *

Чудо слияния поэзии с социалистической революцией совершилось, в частности, потому, что Маяковский уже до Октября обладал такими важными предпосылками, как редкостный поэтический талант и пусть недолгое, но активное участие в освободительной борьбе. Причем — это имело особенное значение — в рядах самой революционной партии, большевистской. Эти обстоятельства сыграют свою очень весомую роль, когда придет пора зрелости — поэтической, гражданской и человеческой. А первые шаги Маяковского в литературе были осложнены сближением с одной из многочисленных в те годы модернистских группировок — с кубофутуризмом. Русский футуризм нашел в нем прекрасного пропагандиста, что, конечно, не дает оснований для идеализации этого течения. Как и все другие ответвления модернизма в искусстве тех лет, футуризм был узкогрупповым явлением и не имел связей с передовыми общественными силами страны, более того, был чужд им. От других подобных течений футуризм отличал лишь более резко выраженный бунтарский характер, но бунт этот носил чисто эстетическую устремленность и к тому же был направлен как против иных модернистских группировок, так и в особенности против традиций реализма с его высокой идейностью и гражданственностью.

---

[1] Статья дается в сокращении.

[2] «Маяковский и современность». М., Современник, 1977, с. 19.

Сам Маяковский был искренне убежден в том, что его участие в эстетическом бунте футуристов было продолжением прежней борьбы — в другой области и другими средствами, убежден, что, сменив профессию революционера на профессию поэта, он не изменил первой, но должен был в совершенстве овладеть «тайнами» искусства. К этому, казалось поэту, идут вместе с ним люди, провозгласившие принцип самоценности слова. А кроме того, его захватила атмосфера эстетического бунта, начатого футуристами. Среди них были и люди, не считавшие себя связанными с одряхлевшим строем помещичье-буржуазной России (В. Каменский, В. Хлебников).

Однако всего через полтора-два года стало очевидно, что в сравнении с Маяковским футуризм слишком незначительное и преходящее явление. Талант поэта стремительно обретал самостоятельность. Эксперименты над словом не стали для него самоцелью, а расценивались как средство повышения выразительности стиха. Творчество Маяковского даже в период близости к футуризму основной своей направленностью отрицало принципы, провозглашенные этим течением. Так, принципу «самовитого» слова, слова «вне быта и жизненных польз» явно противоречил тезис поэта: «Нам слово нужно для жизни. Мы не признаем бесполезного искусства». Несмотря на некоторую затемненность поэтической мысли, уже трагедия «Владимир Маяковский», а особенно последовавшие за ней поэмы «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Война и мир», «Человек» открывали совершенно новую страницу в истории русской литературы. После Некрасова жанр поэмы не достигал такой масштабности и социального накала, какими отличается «Облако в штанах». Это подлинно революционная поэма. Не только потому, что она содержит пророческие слова о близящейся революции, но и по самому характеру восприятия капиталистической действительности и отношения к ней поэта.

Империалистическая война, по признанию Маяковского, отодвинула в сторону споры об искусстве. Поэтом целиком завладели темы социального, гуманистического характера. Лейтмотивом его творчества становится крик: долой буржуазную цивилизацию, враждебную самому прекрасному, что создано природой и историей,— человеку. Это позиция активного гуманизма. Звучат трагедийные ноты, однако ноты не примирения, а борьбы. Как личную трагедию воспринимает поэт участь миллионов людей, которых кучка «жирных», в сущности, уже не людей (гротескные образы власть имущих в поэмах «Война и мир», «Человек»— шедевры сатиры), обрекает на самоистребление и одиночество.

Главное, что определило пафос предоктябрьского творчества Маяковского, точно назвал Горький: поэт «ищет слияния с народными массами и свое «я» понимает только как символ массы, до дна поднятой и взволнованной войной. Маяковский гораздо трагичнее (Уитмена.— *А. М.)* и, поднимая вопросы общественной совести, социальной ответственности, несет в себе ярко выраженное русское национальное начало» [1].

Начиная с «Облака в штанах» творчество Маяковского все заметнее приближалось к магистральному пути, который с начала

---

[1] «М. Горький в воспоминаниях современников», М., ГИХЛ, 1955, с. 336—337.

века прокладывал в литературе Горький. В социалистическую литературу поэт входит как революционный романтик, решительно отвергнувший мир капитализма, который залил кровью планету; входит, глубоко уверенный в том, что на смену этому безумному, бесчеловечному миру уже идет мир подлинных хозяев планеты и вселенной.

* * *

«О, четырежды славься, благословенная!» — такими словами встретил Маяковский Великую Октябрьскую социалистическую революцию. С Октября 1917 года начинается новый этап в его творчестве, этап, обусловленный прежде всего изменением действительности. Резко меняется тональность стихов. Господствующий в дооктябрьском творчестве поэта пафос решительного отрицания враждебной человеку действительности, саркастическое, гротескное ее изображение (персонажи сатирических гимнов, образ Повелителя Всего), мрачные картины людского горя, страданий уступают место мажорному, одическому утверждению начавшихся в стране коренных перемен. «Ода революции», «Левый марш», «Мистерия-буфф», «Потрясающие факты» — эти первые образцы социалистического искусства Великого Октября захватывают своей искренностью, глубочайшей верой в прекрасное будущее, открывшееся перед человечеством. Маяковский, как и прежде, романтик, но теперь это романтизм утверждения и созидания нового мира. «Необычайнейшее», почти фантастическое в его произведениях тех лет вырастает из жизни, переплавляемой революцией. В вихревые дни великого исторического перелома, которые вскоре войдут в память человечества как начало новой исторической эры, Маяковский убежденно встает в ряды первых деятелей литературы и искусства, включившихся в гигантский процесс революционного обновления жизни. Он глубоко убежден, что революция и поэзия нужны друг другу, он верит в действенность слова. Но, чтоб оно стало подлинно действенным, все должно быть перестроено: лирика и эпос, поэзия и драматургия. Ведь никогда перед художником не стояла столь огромная задача — содействовать объединению миллионов людей на основе новых социальных и нравственных принципов, принципов взаимосвязи и взаимообогащения...

В этом искреннейшем желании непосредственно участвовать в революционном обновлении жизни и искусства во имя счастья миллионов — источник новаторства Маяковского. И одновременно иллюзорная надежда на то, что в великом деле сближения искусства и революции особая роль принадлежит футуризму.

Объективно Маяковский и футуризм представляли разные пути в искусстве. Если для Маяковского решающим было участие искусства в подвиге социалистической революции, то большая часть поборников футуризма сводила его назначение лишь к «революции» в самом искусстве. Социалистическая революция расценивалась ими как повод для собственного эстетического самоутверждения. В ряды футуристов после Октября влились новые люди, но главной задачей по-прежнему считалась борьба с художественным наследием прошлого, и прежде всего с реализмом. Стремление к гегемонии, к признанию футуризма «государственным искусством» вступало в противоречие с ленинской политикой в литературе и ис-

кусстве. Социалистическая революция, направляемая гением Ленина, осознавала себя законной наследницей всех созданных человечеством ценностей культуры, художественного творчества и, естественно, не могла не давать отпора любым попыткам, преднамеренным или бессознательным, нигилистического отношения к этим ценностям.

Надежды на футуризм, на «левые» формалистические течения осложнили новаторские искания Маяковского, но не изменили их главного направления. После Октября, повторяем, это направление обрело особую четкость: служение революции, ориентация на Ленина («Я в Ленине мира веру славлю и веру мою»,— писал поэт в 1920 году). С 1919-го начинается работа Маяковского в «Окнах РОСТА», которая вошла в историю как пример непосредственного самоотверженного участия искусства в борьбе миллионов за свою свободу и счастье. Затем — работа в газете «Окна РОСТА» и газетные стихи получили одобрение В. И. Ленина, отвергавшего футуризм.

* * *

С именем Маяковского прочно связано представление о поэте-новаторе. Таких смелых, радикальных изменений в поэзии не совершил ни один поэт XX века. А ведь этот век бредит новаторством. Никогда не говорилось о нем так много, никогда не было столько претендентов на славу первооткрывателя в искусстве. Но оказалось, что новаторство подчиняется общим закономерностям развития литературы и искусства.

Уже почти вековая «эпопея первооткрывательства» убеждает, что возникновение новых художественных форм — сложный процесс, в котором прихотливо пересекаются социальная атмосфера, мощь и характер таланта, литературные взаимодействия, традиции и т. д. Однако сопоставление опыта Маяковского и его современников приводит к мысли, что приживаются и оказывают влияние на дальнейшее развитие искусства прежде всего те открытия, которые отвечают потребностям времени, способствуют утверждению его прогрессивных тенденций.

Тем и дорого нам творчество Маяковского, Блока, Есенина, что эти поэты предпринимают поиски оздоровления поэзии и стремятся слить свою судьбу с судьбой народа. Маяковский сделал самый смелый и решительный шаг, превратив поэзию в активную участницу митингов, демонстраций, диспутов. Поэзия вышла на площади, обратилась к колоннам демонстрантов. «Улицы — наши кисти. Площади — наши палитры» — эти метафоры относятся и к слову поэта.

На такие эксперименты превращения поэзии в оружие масс не отважился ни один апологет формального экспериментаторства. Но именно эти поиски средств безотказного воздействия поэтического слова на сознание, чувство, действия масс и составляют важную черту «творческой лаборатории» Маяковского. Поэт вспоминал о традициях трубадуров и менестрелей. Но и характер, и назначение, и масштабы совершенного им беспрецедентны.

Его слово действительно полководец человечьей силы. Его голос — голос эпохи.

Что это? Лирика? Публицистика?

У Маяковского есть и то и другое, так сказать, в «чистом виде». Но историческая заслуга поэта — создание лирики нового типа, в которой публицистика становится лирикой, а лирика звучит публицистически. Свой дерзкий опыт он, разумеется, совершал не на пустом месте. Сам поэт называл несколько близких ему поэтов: Некрасова, Пушкина. Однако гражданская лирика Маяковского — явление XX века. Это лирика личности, отвергнувшей «отчуждение» и погрузившейся в большой мир общественных, всенародных и всечеловеческих интересов и связей, забот и радостей.

В творчестве Маяковского поэмы — своеобразные вехи, обозначающие узловые точки пересечения его биографии с ходом истории. В его лирике и эпосе наиболее ярко, может быть, даже демонстративно, с подчеркнутой выразительностью запечатлены некоторые важнейшие черты новой личности, и это особенно рельефно сказалось именно в поэмах. «Поэтическое творчество Маяковского в целом —«Илиада» и «Одиссея» Октября» [1],— говорит Э. Межелайтис, отмечая также эпическое звучание лирики поэта революции.

Герой поэзии Маяковского при ее сосредоточенности на судьбе народа, судьбе миллионов — это и сам поэт, образ которого обретает эпичность. «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем»— таково «я» Маяковского в поэме «Хорошо!». Это «я» советского человека в наивысшем проявлении его убеждений и чувств. Поэту не удалось обезличиться, раствориться в ста пятидесяти миллионах даже тогда, когда под напором пролеткультовцев и «друзей»-футуристов он попытался было это сделать. К счастью, уже в процессе создания сказочно-былинной поэмы об Иване и Вудро Вильсоне он понял ненужность такой жертвы. Лирический герой Маяковского вовсе не сконструирован, это он — гражданин нового мира, советский поэт. И эпос, и лирика Маяковского в этом смысле едины, держатся на мощной личности самого поэта. Поэтому его эпос лиричен.

Но Маяковский не случайно считал поэмы «150 000 000» и «Владимир Ильич Ленин» эпическими. Высоко ценя активность личности, он прекрасно понимает значение революционных событий для формирования сознания, психики человека. Вот почему его послеоктябрьские поэмы, за исключением разве что «Про это», многолюдны и событийны.

Таланту Маяковского свойственна эпическая широта, если хотите, монументальность. Поэтому и лирика его по-своему эпична.

Поэмы Маяковского — синтез эпоса и лирики. В одних случаях в синтезе доминирует лирика («Люблю», «Про это»), в других — эпос («150 000 000», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!»).

Но присмотритесь, как решается, например, вечная лирическая тема любви в «Облаке в штанах», «Люблю», «Про это». У Маяковского любовное чувство выражено яростно, страстно, с вулканической силой. «Громада-любовь», «громада-ненависть». В том числе любовь к женщине. Я говорю «в том числе», потому что у Маяковского почти нет произведений, посвященных только этому чувству.

[1] «Правда» от 19 июля 1963 г.

В «Облаке» крик «долой вашу любовь!» сливается с криками «долой ваше искусство!», «долой ваш строй!», «долой вашу религию!». Любовная коллизия несет, как сейчас принято говорить, «сюжетообразующую функцию», но идея поэмы, ее пафос — в безоговорочном отрицании буржуазных отношений, в чем бы они ни проявлялись, и в утверждении величия человека, мечты о всечеловеческом счастье.

Коллизия «Про это» трагедийна. Это конфликт между лирическим героем, борющимся за новые отношения в общественной и личной жизни, и миром мещанства, не уничтоженного революцией, окопавшегося в быту. Трагизм в том, что в мире мещанства оказалась любимая женщина. Коллизия, не раз освещавшаяся в литературе 20-х годов. В поэме Маяковского она приобретает предельную остроту. Сталкиваются два мира.

В поэме не исключается возможность взаимной любви, нужно только лирическому герою укоротить свою громаду-любовь до размера любви цыплячьей, примазаться к касте мещан, пролезть петушком «в их ний быт, в их семейное счастье». Но это означало бы задушить в себе человека, капитулировать перед карликом-мещанином. Для героя поэмы такое исключено. Страстно и гневно звучат слова:

...не приемлю,
ненавижу это
все.
Все,
что в нас
ушедшим рабьим вбито,
все,
что мелочи́нным роем
оседало
и осело бытом
даже в нашем
краснофлагом строе.

Человек, ломавший прогнившие устои старого мира, разъединявшего людей, уверовавший в осуществимость цели: «Чтоб вся на первый крик:— Товарищ!— оборачивалась земля!»— не мог мириться ни с чем, что грозило возвращением к ненавистному прошлому.

* * *

Для Маяковского закономерны поиски нового эпоса, в котором нашли бы отражения события истории, подвиг народа. Поэма «150 000 000» представляет попытку создания эпоса, так сказать, в «чистом виде», подобно творчеству самих миллионов, былинам и сказкам. «150 000 000» задумана как «былина об Иване»— русском народе, совершившем подвиг всемирного значения. Антипод Ивана Вудро Вильсон изображен здесь в традициях сатирической сказки, как чудовище, с которым вступает в поединок Иван. Однако традиции фольклора все же подвергаются существенной модернизации. Стоит отметить, что на характере поэмы положительно сказалась работа Маяковского над плакатами в «Окнах РОСТА». Вместе с тем ее стиль осложнен формальными изысканиями, чрез-

мериым, по словам Луначарского, словесным виртуозничаньем. Это была дань футуризму, который в тот период защищал Маяковский.

Поэма не сыграла той роли, на которую он рассчитывал. Искреннее желание создать произведение глубоко народное вступило в противоречие с установкой на такое обновление формы, которое граничило с вычурностью. Тем не менее этот опыт создания нового эпоса имел серьезное значение как для эволюции собственно Маяковского, так и для развития советской поэзии. Поэт еще более укрепился в мысли о необходимости и перспективности эпоса революции.

Работа над поэмой о Ленине имела для Маяковского и для всей советской поэзии значение принципиальное. Те, кто противопоставляет его лирические поэмы поэмам «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», якобы лишенным лиризма, либо сознательно игнорируют, либо просто не в силах понять то обстоятельство, что эти произведения объединяет сокровеннейшая мечта о новом человеке, новой личности, способной вместить в себя весь мир с его радостями и горестями. В поэме о Ленине мечта поэта обрела живое конкретное воплощение: создан образ реального человека, «самого земного изо всех прошедших по земле людей».

Лиризм поэмы о Ленине, скорбный и нежный, открытый, гордый,— лиризм слияния с народом. И в этом слиянии — источник радости: «Я счастлив, что я этой силы частица, что общие даже слезы из глаз». Поэтому даже публицистика, которую поэт воинственно здесь защищает, тоже обретает черты лиризма.

В личности и деятельности Ленина поэт революции искал (и нашел) ответ на вопросы, неотступно встававшие перед ним с самого начала творческого пути: о человеке, его сущности и назначении, месте в мире, о его счастье и преодолении трагического в жизни. «Что он сделал, кто он и откуда — этот самый человечный человек?»

Идеал большого человека, человека-борца, каким предстает в поэме Маяковского Ленин, озаряет и образ лирического героя. Через Ленина в его духовный мир входят судьбы народов, ему становятся еще понятнее, ближе, дороже думы и чаяния людей «ленинской выправки»— лучших людей эпохи. Пережив окрыляющее чувство радости слияния с народом-океаном, лирический герой ощутил себя участником всемирного исторического процесса. Это определило своеобразие стиля поэмы, соотношение в ней лирики и публицистики, лирики и эпоса.

Поэму «150 000 000» критика хвалила за сюжетность. Но это был условно-фантастический сюжет (как и в «Про это», «Пятом Интернационале»). Там условный сюжет отвечал замыслу, романтическому характеру обобщения. Но в поэмах «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!» явное предпочтение отдано фактам реальной истории. Используются гротеск, экспрессия, когда возникают картины или образы уходящего мира, но никакой фантастики. Факты истории, логика ее политического и философского обобщения — вот что, убежден поэт, более всего отвечает деятельности, характеру героя. Взаимодействие исторического и логического определяет развитие всех тем и образов, связанных с главной темой, центральным образом.

Опыт Маяковского в создании образа Ленина как вечного образа, рожденного нашей эпохой, не исключает, конечно, других подходов к теме, но, предпринятый под влиянием глубокого потрясения, он являет пример истинного, плодотворного новаторства, подсказанного слиянием взволнованного чувства и зрелой мысли.

* * *

Весь опыт работы на «злобу дня» («Окна сатиры РОСТА», стихи на газетной полосе) и особенно над поэмами, посвященными «истории современности», ставил Маяковского, как и всю советскую литературу, перед проблемой художественного метода.

В первых крупных послеоктябрьских произведениях поэта господствует принцип романтического преображения действительности. В отличие от дооктябрьских поэм, в которых страстно звучала романтическая мечта о прекрасном будущем, но идеал противостоял уродливой действительности, послеоктябрьские произведения проникнуты уверенностью: отныне все подвластно человеку, «как нами написано, мир будет таков...». Началось сближение романтической мечты с действительностью. В этом сближении большая роль принадлежала агитационной работе, которая учила ценить факты реальной жизни. «Агитация,— говорил поэт,— должна быть конкретной, детали надо брать не из общих принципов». В «Окнах сатиры РОСТА» и поэме «150 000 000», создававшихся одновременно, несмотря на общие черты, свойственные поэтнке автора, все же нетрудно различить «сосуществование» разных стилевых систем: конкретно-реалистической и романтической. Романтическая в тот период более отвечала желанию запечатлеть в монументальных образах «поэтических вымыслов феерические корабли». Метафорическое движение мысли, создающее образное видение, мы наблюдаем и в поэме «Владимир Ильич Ленин», но совершенно особое. Никакой фантастики! По его признанию, он «хотел дать сильную фигуру Ленина» в тесном взаимодействии с историей. Взаимосвязь исторического и логического определяет развитие всех тем и образов поэмы. Тема вождя тесно сплетена с темой народа и партии. В этом единстве нашел отражение взгляд поэта на движущие силы исторического процесса. Ни в одном из предшествующих произведений Маяковский не достигал такой ясности и четкости в освещении активных сил революционного движения. Вся мировая история последнего столетия проходит в поэме перед нашим взором в публицистически обобщенных образах и картинах. Это художественные образы и картины. И секрет превращения их в искусство прежде всего в том, что поэт открыл в ленинской политике глубокую человечность и покоряющий пафос правды — основу новой этики и эстетики.

Победа, одержанная Маяковским в поэме,— это победа реализма. Социалистического реализма. После Маяковского многие и разные поэты попытаются запечатлеть этот бессмертный образ. Возникает художественная Лениниана, созданная художниками разной одаренности, различных индивидуальных манер, приемами иными, чем те, к которым прибегал Маяковский. Однако полувековой опыт советских писателей в работе над этой центральной темой социалистической литературы позволяет сделать вывод: как поэма Маяковского, обогатив социалистическое искусство, не «закрыла» возмож-

ности новых и новых подходов к теме, так и все дальнейшие попытки в ее разработке не затмили удачи Маяковского. Во многих отношениях его произведение и в наши дни представляет вершину поэтической мысли.

* * *

Вся деятельность Маяковского второй половины 20-х годов несет в себе приметы благотворного влияния работы над ленинской темой. Ленин, его идеи, подвиг, его человеческий образ — критерий оценки всего совершающегося в Стране Советов.

Маяковский создал жанр лирического «разговора» (вспомним его «разговоры» с фининспектором, с солнцем и др.). «Разговору с товарищем Лениным» принадлежит особая роль. В этом стихотворении удивительно слилось общественное и интимное, рапорт республике и задушевная исповедь поэта. Это разговор с Лениным в себе самом.

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.

Постоянное ощущение присутствия Ленина во всем, что делается в стране, побудило Маяковского выступить против апологии делячества, «американизма», в защиту героя новой, социалистической формации. В стихотворении «Американцы удивляются» людьми, обладающими «строительным нюровом», неукротимой энергией, уверенностью в своих силах и тем, чего поэт совершенно не нашел у американцев,— широтой кругозора, ясным знанием прекрасной и человечной цели,— являются передовые советские рабочие, застрельщики социалистического строительства. Героическому труду и новым условиям жизни этих людей поэт посвятил немало стихотворных «рассказов», близких к популярному в те годы жанру очерка («Рассказ о Кузнецкстрое...», «Рассказ литейщика Ивана Козырева...» и др.). Маяковскому особенно дороги люди, жизнь которых — повседневный, будничный и тем не менее подлинный подвиг.

Таков Теодор Нетте. В стихотворении «Товарищу Нетте — пароходу и человеку» героическое раскрывается не как проявление исключительных духовных качеств в исключительных обстоятельствах, а как своего рода норма поведения советского человека. Конкретный, единичный факт — гибель Нетте при защите советской дипломатической почты — включен в систему жизненных явлений и наиболее дорогих автору мыслей и чувств, подчеркивающих закономерность и бессмертие подвига. Идея бессмертия подвига Нетте осмыслена как бессмертие народа, создающего в героической борьбе новую жизнь.

Романтическая мечта о подвиге, волновавшая Маяковского с самых первых его выступлений, но окрашивавшаяся порой в тона

жертвенности, апостольства, с укреплением на позициях ленинизма выступает как реальная черта эпохи социалистического созидания. Именно эту особенность эпохи поэт стремится запечатлеть в поэме «Хорошо!».

* * *

В поэме «Хорошо!» нашел особенно широкое применение принцип изображения советской действительности в диалектическом единстве героического и повседневного. Точнее — героического в повседневном, обыденном. «Я дни беру из ряда дней, что с тыщей дней в родне. Из серой полосы деньки...» Тыщи дней — это десять послеоктябрьских лет. И почти каждый серенький день достоин войти в историю.

«Хорошо!» тоже поэма о любви. О любви к родине, преображенной революцией. О преданности народу, ее совершившему. И о надежде, что история, которую отныне творят народ, ленинская партия, не будет больше безразлична к судьбе человека.

Как увековечить все это? Нужны новые поэтические формы. Потому-то решительно заявляет поэт:

Ни былин,
ни эпосов,
ни эпопей.
Телеграммой
лети,
строфа!
Воспаленной губой
припади
и попей
из реки
по имени —«Факт».

У Маяковского события (факты) революции и послеоктябрьской истории страны, даже самые незначительные (подобно щепотке соли, подаренной поэтом сестре) высвечены мыслью, служат утверждению большой поэтической идеи. В поэме «Хорошо!» — это идея возникновения нового, дотоле неизвестного человечеству государства, ставшего для трудящихся подлинным отечеством.

Оно еще очень молодо, отечество трудового народа. Об этом напоминают ненавязчиво вкрапленные в ткань поэмы ассоциации с юностью, молодостью (образ ребенка на субботнике, метафоры: земля молодости, страна — подросток, весна человечества).

Такой подход к фактам действительности имел принципиальное значение. Реализм поэмы «Хорошо!»— это реализм утверждения действительного мира, прекрасного и справедливого. «Тенденциозный реализм» в такой творческой, поэтической интерпретации войдет в искусство социалистического реализма как одно из основополагающих стилевых течений.

Творчество Маяковского все — от первого до последнего стиха — предельно правдиво. Но в таких поэмах, как «150 000 000» и «Про это», мы ценим прежде всего правду поэтического самовыражения. Однако правда объективного хода событий здесь еще не до конца схвачена поэтом — этому мешали порой художественные

средства, к которым в то время прибегал Маяковский. А в поэме о Ленине и в Октябрьской поэме он сознательно стремится к слиянию своей личной правды с истиной, с объективной картиной мира.

Можно смело сказать, что ни в одном из своих предшествующих крупных произведений автор не достигал такого художественно убедительного, объемного изображения истории революции, как в поэмах о Ленине и «Хорошо!». Четко выраженный историзм, выдвижение в центр сюжета судьбы народной позволяют присоединиться к авторской оценке поэмы «Хорошо!» как произведения эпического. Поэт здесь прибегает к новым средствам изображения, сознательно ограничивает роль метафоры, особенно характерной для романтического стиля. Господствующий в образном строе поэмы принцип — показывать целое через конкретный факт, видеть в капле воды океан — один из способов реалистической типизации.

Упорно стремясь создать новый эпос, поэт ищет новые и новые возможности его слияния с лирикой. Причем лирика служит Маяковскому для широкого обобщения. Достаточно вспомнить знаменитые лирические концовки глав («Я много в теплых странах плутал», «И я, как весну человечества...» и т. д.). Лирика обогащает эпос мыслью и чувством.

Слияние лирики и эпоса нашло в поэме глубокое обоснование как результат слияния личности с народом, рождения новой индивидуальности, утверждающей свою сопричастность ко всему, что свершают массы. «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем». И это также один из неиссякаемых источников жизнеутверждения.

* * *

«Жизнь прекрасна и удивительна!»— таков лейтмотив послеоктябрьского творчества Маяковского. Но любовно подмечая в жизни страны ростки нового, прекрасного, поэт не устает напоминать и о том, что «дрянь пока что мало поредела», что еще «очень много разных мерзавцев ходят по нашей земле и вокруг». Поэтому такое большое значение поэт придавал сатире. Она существует у Маяковского на равных правах с лирикой и эпосом, то составляя особые циклы, то входя в структуру поэм; а его последние драматургические произведения носят преимущественно сатирический характер.

Маяковский — один из самых талантливых сатириков XX века. Он создал классические образцы сатиры нового типа, отрицающей и обличающей все, что мешало успехам социализма, и тем самым расчищающей путь для движения советского общества к коммунизму. При этом господствующий в его послеоктябрьском творчестве пафос утверждения достигается не дозировкой света и тени, а глубокой убежденностью: если художник сознает величие цели, стоящей перед страной, и беззаветно служит этой цели, его сатира должна носить воинствующий характер. Только в этом случае она может содействовать утверждению прекрасного. Маяковский издевался над «обличителями», которые, отважившись на сатирический выпад, спешили подсластить его («Обличитель, меньше крему, очень темы хороши. О хорошенькую тему зуб не жалко искрошить»). «Грозный смех»— так назвал он сборник своих сатирических произведений.

Понимание сути и назначения сатиры в обществе, строящем социализм, требовало не только большого таланта, но и развитого чувства гражданственности, государственного мышления.

В борьбе за сатиру, за ее новую миссию Маяковский опирался на Ленина.

Отзыв Владимира Ильича о сатирическом фельетоне «Прозаседавшиеся» (1922) Маяковский воспринял прежде всего как поддержку политической направленности его поэзии. Признание Ленина: «...давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной» [1]— для поэта означало: сатира может оказывать помощь в строительстве коммунизма.

Ленинский анализ бюрократизма, высмеянного Маяковским, углублял социальный смысл его сатирического фельетона, связывая бюрократию с обломовщиной. Вскоре в произведениях «Плюшкин», «Помпадур» поэт продолжит ленинскую аналогию.

Сатирические произведения Маяковского 20-х годов поражают своим тематическим разнообразием. Кажется, нет такого отрицательного явления, которое не попало бы под увеличительное стекло поэта-сатирика. Перед нашим взором «целая лента типов тянется»: новый буржуй, кулак, вредитель, хулиган, обыватель, сплетник, ханжа, развратник, пьяница, лодырь, очковтиратель, бракодел, трус, «советский» вельможа, взяточник, головотяп и т. д. Это всего лишь перечень (далеко не полный) мерзавцев, которые в то время ходили (а некоторые и сейчас еще ходят) по нашей земле. В те годы поэт не обошел вниманием ни одного сколько-нибудь заметного явления международной жизни. Он создал галерею сатирических памфлетов, дал острые зарисовки западного, в том числе американского, образа жизни.

Подлинную сатиру рождает гнев. Сатира Маяковского рождена гневом поэта — патриота социалистической России, интернационалиста и гуманиста, отвергающего все, что унижает и оскорбляет человека. Зло равно омерзительно, где бы и в чем бы оно ни проявлялось. Различие в том, что в зарубежных циклах зло, воплощенное, например, в «порядочном гражданине», коренится в социальной системе Америки, в то время как зло, которое несут в себе герои фельетонов «Столп», «Помпадур», «Общее» и «мое», противостоит утверждающемуся в Стране Советов социализму.

Политическая в своей основе сатира Маяковского проникает и в сферу быта, нравственности, эстетики. Прозаседавшиеся, помпадуры, сплетники, трусы, обыватели, приспособленцы из категории «служителей муз», освещенные прожектором ленинской политики (а именно на нее ориентировался поэт), превращаются из безобидных, порой даже по-своему милых («чуть-чуть еще, и он почти б был положительнейший тип»), в людей, опасных для строительства новой жизни, утверждения новых духовных ценностей. Чтобы привлечь к ним внимание, сатирик пользуется различными способами укрупнения и заострения образа, создает особую, необычную ситуацию, близкую к фантастике.

И нельзя не заметить, что в послеоктябрьской сатире Маяковского гораздо чаще и сильнее, чем прежде, звучит смех.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 13.

* * *

Ярче всего талант Маяковского-сатирика раскрылся в последних драматургических произведениях. Их новаторский характер был признан не сразу. Даже тогда, когда о поэзии Маяковского прочно утвердилось мнение как о самом ярком явлении советского искусства, пьесы «Клоп» и «Баня», не говоря уже о «Мистерии-буфф», долго оставались в тени. Сказывались и рецидивы недоверчивого отношения к сатире у иных деятелей литературы и театра, и узкое, ограниченное понимание возможностей, которые метод социалистического реализма открывает перед всеми сферами художественного творчества.

Драматургия Маяковского, как и его поэзия, прочно вступила на большой путь мировой классики, путь, ведущий в будущее. А ведь Маяковский ставил проблемы, злободневнейшие для своего времени (мещанство, бюрократизм), менее всего, казалось бы, пригодные к тому, чтобы занять место в ряду «вечных тем». Маяковский научил зрителя подмечать все новые и новые формы мимикрии, к которым прибегают носители этого зла, уходящего корнями в далекое прошлое. Научил распознавать зло, выдающее себя за добродетель. Ведь, скажем, бывший рабочий Присыпкин, став мещанином, не считает, что он позорит рабочий класс. Более того, Пьер Скрипкин убежден, что возвышает его. Бюрократы Победоносиков, Оптимистенко, Иван Иванович склонны выдавать себя за образцовых государственных деятелей нового типа. «Да, да, да! Вы пойдите в его учреждение. Директивы выполняются, циркуляры проводятся, рационализация налаживается, бумаги годами лежат в полном порядке. Для прошений, жалоб и отношений — конвейер. Настоящий уголок социализма» — так оценивает деятельность главначпупса Победоносикова занимающий какой-то неопределенный, но высокий пост Иван Иванович.

Создавая подобные типы, Маяковский знает, что Присыпкины, Победоносиковы, Оптимистенки, Бельведонские — порождение определенного времени. Но драматург знает также, что подобные носители зла, изменив «вид и масть», не уйдут добровольно из жизни. Финал пьесы «Клоп», где Присыпкин, попавший к людям будущего, восторженно орет: «Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас?» — расценивается кое-кем как выражение пессимизма, увековечение присыпкинщины. Те, кто склонен так думать, не понимают суть художественного метода Маяковского-сатирика: он видит не только живучесть пережитков прошлого, но и их изменчивость, приспособляемость к новым условиям. Ведь и «прозаседавшиеся» совсем как будто и не похожи на Илью Ильича Обломова, а вот Ленин подметил в них типическое проявление обломовщины. Проявления присыпкинщины встречаются и в наши дни. Финалом пьесы «Клоп» Маяковский как бы передает эстафету новым поколениям писателей.

Театр должен «врываться в жизнь», — требовал Маяковский. Комедию «Клоп» он сам определил как «публицистическую, проблемную, тенденциозную».

Защищая публицистический театр, Маяковский широко пользуется в пьесах «Клоп» и «Баня» художественной условностью: преувеличением, гротеском, фантастикой (размораживание При-

сыпкина через пятьдесят лет, машина времени). Но все эти приемы великолепно служат целям реалистической типизации с тем, разумеется, уточнением, что это типизация сатирическая, обладающая особой речевой характеристикой, сосредоточивающая внимание не на психологических нюансах, а на выявлении главного в характере персонажа с точки зрения социальной. Ибо мещанство, бюрократизм — это прежде всего социальная опасность.

В последний период своего творчества Маяковский сознательно шел к созданию образов большой реалистической выразительности, а его драматургия стала новым словом в развитии театрального реализма. Фантастика, гротеск всегда широко использовались реализмом, особенно в сатирических целях. В пьесах «Клоп», «Баня» Маяковский стремится по-новому и на реалистической основе продолжить, развить традиции народного театра. С этим связана установка на зрелищность. «Попытка вернуть театру зрелищность, попытка сделать подмостки трибуной — в этом суть моей театральной работы»,— писал Маяковский. Проверка современного этапа коммунистическим будущим, характерная для всего творчества поэта, на сценических подмостках могла дать особенный эффект.

Установка на публицистичность и зрелищность — одно из проявлений сознательного и целеустремленного движения Маяковского к народности. Этот критерий поэт понимал широко. Он хотел быть понят своей страной, но хорошо знал, что в его время массовый читатель и зритель еще не обладали высокой культурой. Создавая плакаты, агитационные и рекламные стихи, он должен был считаться и с этим.

Но все же свою собственную задачу, как и цели всего социалистического искусства, поэт видел не в подлаживании к низкому уровню массового читателя, не в снижении требований мастерства, а в приобщении масс к высокой художественной культуре. Он сделал единственно верный вывод: поднимать культурный и эстетический уровень самого широкого читателя, сознавая, что только в этом случае те, для кого он работал, смогут правильно понять его творчество. Отсюда поиски контакта с читателем, не имеющие аналогии в истории мировой литературы.

Маяковский, обладая гениальной одаренностью, сам был носителем высокой культуры, как поэтической, так и театральной.

* * *

Человеческим величием, страстной убежденностью, благородством потрясает каждый стих, каждый образ последнего шедевра Маяковского, его разговора с потомками — «Во весь голос».

Поэт разговаривает с «потомками» через головы современников. Но не о конфликте с временем, а «о времени и о себе», о том, как он понимает время и искусство, этому времени необходимое.

«Во весь голос» — своеобразный смотр всего, что писалось когда-то им «на злобу дня» и что третировали эстеты. Все в этом разговоре масштабно. «О времени» здесь означает «об эпохе», «о себе» — о типе поэта.

Обобщая самые дорогие и заветные убеждения, добытые в самоотверженном труде и жестокой борьбе, поэт подводит итог трудному, героическому пути.

«Во весь голос» — одно из самых ярких и талантливых выступлений в защиту партийности творчества. Это не только разговор с потомками, это исповедь-отчет революционного поэта перед самой высокой инстанцией — центральной контрольной комиссией коммунистического общества.

Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

Партийность в поэме-исповеди не только политический и эстетический принцип, это и нравственный принцип, определяющий главную черту поведения художника — бескорыстие, а значит, и подлинную свободу.

Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на́ дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.

Эти признания выходят за рамки личной биографии поэта, приобретают глубокий принципиальный смысл. В них выражена уверенность в том, что борьба за коммунизм — высший, поистине универсальный критерий прекрасного,— очищая нравственную атмосферу от таких стимулов буржуазного мира, как корысть, карьера, жажда личной славы, создает условия для полного проявления самозабвенной любви к искусству и для расцвета искусства.

Так может ли поэзия, бескорыстно выполнявшая любую черную работу во имя счастья людей будущего, рассчитывать на признание потомков?

Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.

Не каждый стих выдержит проверку эпохой. Он сделал свое дело и может умереть «как рядовой, как безымянные на штурмах мерли наши». Но господствует в этих строках мысль о бессмертии созданного в трудах и бою, вера в разум и благодарность потомков.

Мы теперь знаем, что все сделанное им в искусстве — подвиг величайшего бескорыстия. И как бы ни была трагична личная судь-

ба Маяковского, в истории всемирной литературы трудно указать пример такого удивительного соответствия между потребностями эпохи, ее характером и — личностью поэта, сущностью его таланта, как бы созданного историей для того времени, когда он жил и творил. И так же, как бессмертен подвиг народа, страны, изменивших ход всемирной истории, бессмертен и подвиг поэта, увековечившего этот всенародный подвиг в огненном, по определению Н. Тихонова, слове. Слове, почерпнутом из прозрачных, бездонных, светлых глубин русского языка; свои грозные рифмы, ошеломляющие по новизне сравнения, свои дерзкие по архитектонике строфы поэт находил в «глубинах народного языкового богатства» [1].

Мы помним, что еще Горький отмечал у Маяковского «ярко выраженное русское национальное начало». В то же время его творчество проникнуто духом интернационализма. Написанные на русском языке, его стихи и пьесы находят живейший отклик не только у многонационального, многоязычного читателя и зрителя нашей страны, но и за ее рубежами, преодолевая чинимые врагами социализма преграды — цензурные запреты, ложные истолкования...

Великий поэт, Маяковский входит в мировую литературу не как создатель поэтической школы, а как зачинатель поэзии, которая стала неотъемлемой частью новой, социалистической цивилизации. Каноны любой поэтической школы быстро исчерпываются, мертвеют, но влияние живого примера служения поэтическим словом великой цели вербует множество последователей. К хорошо известным именам — Назым Хикмет, Гео Милев, Пабло Неруда, Поль Элюар, Николас Гильен и другие — прибавляются все новые и новые наследники Маяковского.

В русском языке — одном из ярчайших выражений духовного богатства нашего народа — Маяковский видел также источник сближения наций. Ведь это язык Ленина.

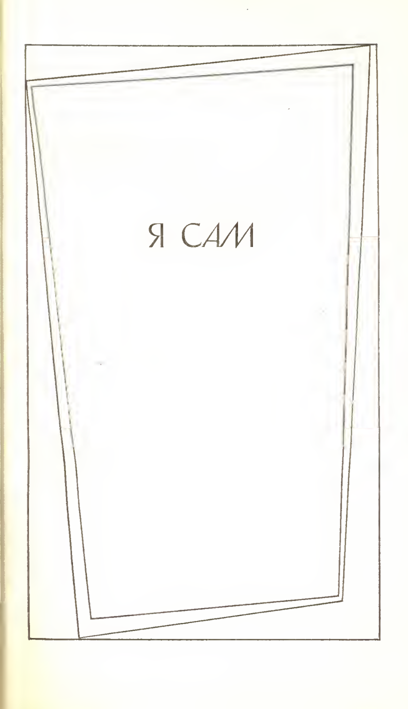
Да будь я
　　　　　　　　и негром преклонных годов,
и то
　　　без унынья и лени,

я русский бы выучил
　　　　　　　　　　　　только за то,
что им
　　　　разговаривал Ленин.

Умножая сокровища русской речи, Маяковский поднимал советскую поэзию к новым высотам, будучи глубоко убежден, что это и есть путь к интернациональному единству. Процесс интернационализации он рассматривал как выявление и развитие всех потенциальных возможностей каждой национальной культуры.

А. Метченко

[1] «Литературная газета» от 16 мая 1973 г.



Я САМ

Тема

Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном — только если это отстоялось словом.

Память

Бурлюк говорил: у Маяковского память, что дорога в Полтаве,— каждый галошу оставит. Но лица и даты не запоминаю. Помню только, что в 1100 году куда-то переселялись какие-то «доряне». Подробностей этого дела не помню, но, должно быть, дело серьезное. Запоминать же — «Сие написано 2 мая. Павлоеск. Фонтаны» — дело вовсе мелкое. Поэтому свободно плаваю по своей хронологии.

Главное

Родился 7 июля 1894 года (или 93 — мнения мамы и послужного списка отца расходятся. Во всяком случае, не раньше). Родина — село Багдады, Кутаисская губерния, Грузия.

Состав семьи

Отец: Владимир Константинович (багдадский лесничий), умер в 1906 году.
Мама: Александра Алексеевна.
Сестры:
а) Люда.
б) Оля.
Других Маяковских, по-видимому, не имеется.

1-е воспоминание

Понятия живописные. Место неизвестно. Зима. Отец выписал журнал «Родина». У «Родины» «юмористическое» приложение. О смешных говорят и ждут. Отец ходит и поет свое всегдашнее «алон занфан де ля по четыре». «Родина» пришла. Раскрываю и сразу (картинка) ору: «Как смешно! Дядя с тетей целуются». Смеялись. Позднее, когда пришло приложение и надо было действительно смеяться, выяснилось — раньше смеялись только надо мной. Так разошлись наши понятия о картинках и о юморе.

2-е воспоминание

Понятия поэтические. Лето. Приезжает масса. Красивый длинный студент — Б. П. Глушковский. Рисует. Кожаная тетрадища. Блестящая бумага. На бумаге длинный человек без штанов (а может, в обтяжку) перед зеркалом. Человека зовут «Евгенионегиным». И Боря был длинный, и нарисованный был длинный. Ясно. Борю я и считал этим самым «Евгенионегиным». Мнение держалось года три.

3-е воспоминание

Практические понятия. Ночь. За стеной бесконечный шепот папы и мамы. О рояли. Всю ночь не спал. Свербила одна и та же фраза. Утром бросился бежать бегом: «Папа, что такое рассрочка платежа?» Объяснение очень понравилось.

Дурные привычки

Лето. Потрясающие количества гостей. Накапливаются именины. Отец хвастается моей памятью. Ко всем именинам меня заставляют заучивать стихи. Помню — специально для папиных именин:

> Как-то раз перед толпою
> Соплеменных гор...

«Соплеменные» и «скалы́» меня раздражали. Кто они такие, я не знал, а в жизни они не желали мне попадаться. Позднее я узнал, что это поэтичность, и стал тихо ее ненавидеть.

Корни романтизма

Первый дом, воспоминаемый отчетливо. Два этажа. Верхний — наш. Нижний — винный заводик. Раз в году — арбы винограда. Давили. Я ел. Они пили. Все это территория стариннейшей грузинской крепости под Багдадами. Крепость очетыреугольнивается крепостным валом. В углах валов — накаты для пушек. В валах бойницы. За валами рвы. За рвами леса и шакалы. Над лесами горы. Подрос. Бегал на самую высокую. Снижаются горы к северу. На севере разрыв. Мечталось — это Россия. Тянуло туда невероятнейше.

Необычайное

Лет семь. Отец стал брать меня в верховые объезды лесничества. Перевал. Ночь. Обстигло туманом. Даже отца не видно. Тропка узейшая. Отец, очевидно, отдернул рукавом ветку шиповника. Ветка с размаху шипами в мои щеки. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и туман и боль. В расступившемся тумане под ногами — ярче неба. Это электричество. Клепочный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь.

Учение

Учила мама и всякоюродные сестры. Арифметика казалась неправдоподобной. Приходится рассчитывать яблоки и груши, раздаваемые мальчикам. Мне ж всегда давали, и я всегда давал без счета. На Кавказе фруктов сколько угодно. Читать выучился с удовольствием.

Первая книга

Какая-то «Птичница Агафья». Если б мне в то время попалось несколько таких книг — бросил бы читать совсем. К счастью, вторая — «Дон-Кихот». Вот это книга! Сделал деревянный меч и латы, разил окружающее.

Экзамен

Переехали. Из Багдада в Кутаис. Экзамен в гимназию. Выдержал. Спросили про якорь (на моем рукаве) — знал хорошо. Но священник спросил — что такое

«око». Я ответил: «Три фуита» (так по-грузински). Мне объяснили любезные экзаменаторы, что «око» — это «глаз» по-древнему, церковнославянскому. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу — все древнее, все церковное и все славянское. Возможно, что отсюда пошли и мой футуризм, и мой атеизм, и мой интернационализм.

Гимназия

Приготовительный, 1-й и 2-й. Иду первым. Весь в пятерках. Читаю Жюля Верна. Вообще фантастическое. Какой-то бородач стал во мне обнаруживать способности художника. Учит даром.

Японская война

Увеличилось количество газет и журналов дома. «Русские ведомости», «Русское слово», «Русское богатство» и прочее. Читаю все. Безотчетно взвинчен. Восхищают открытки крейсеров. Увеличиваю и перерисовываю. Появилось слово «прокламация». Прокламации вешали грузины. Грузинов вешали казаки. Мои товарищи грузины. Я стал ненавидеть казаков.

Нелегальщина

Приехала сестра из Москвы. Восторженная. Тайком дала мне длинные бумажки. Нравилось: очень рискованно. Помню и сейчас. Первая:

> Опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат,
> скорей брось винтовку на землю.

И еще какое-то, с окончанием:

> ...а не то путь иной —
> к немцам с сыном, с женой и с мамашей...

(о царе).

Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове.

905-й год

Не до учения. Пошли двойки. Перешел в четвертый только потому, что мне расшибли голову камнем (на Рионе подрался),— на переэкзаменовках пожалели. Для меня революция началась так: мой товарищ, повар священника — Исидор, от радости босой вскочил на плиту — убили генерала Алиханова. Усмиритель Грузии. Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошел. Хорошо. Воспринимаю живописно: в черном анархисты, в красном эсеры, в синем эсдеки, в остальных цветах федералисты.

Социализм

Речи, газеты. Из всего — незнакомые понятия и слова. Требую у себя объяснений. В окнах белые книжицы. «Буревестник». Про то же. Покупаю все. Вставал в шесть утра. Читал запоем. Первая: «Долой социал-демократов». Вторая: «Экономические беседы». На всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать мир. «Что читать?» — кажется, Рубакина. Перечел советуемое. Многое не понимаю. Спрашиваю. Меня ввели в марксистский кружок. Попал на «Эрфуртскую». Середина. О «лумпенпролетариате». Стал считать себя социал-демократом: стащил отцовские берданки в эсдечий комитет.

Фигурой нравился Лассаль. Должно быть, оттого, что без бороды. Моложавей. Лассаль у меня перепутался с Демосфеном. Хожу на Рион. Говорю речи, набрав камни в рот.

Реакция

По-моему, началось со следующего: при панике (может, разгоне) в демонстрацию памяти Баумана мне (упавшему) попало большущим барабанищем по голове. Я испугался, думал — сам треснул.

906-й год

Умер отец. Уколол палец (сшивал бумаги). Заражение крови. С тех пор терпеть не могу булавок. Благополучие кончилось. После похорон отца — у нас 3 рубля.

Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья. Двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых не было.

Дорога

Лучше всего — Баку. Вышки, цистерны, лучшие духи — нефть, а дальше степь. Пустыня даже.

Москва

Остановились в Разумовском. Знакомые сестры — Плотниковы. Утром паровиком в Москву. Сняли квартиренку на Бронной.

Московское

С едами плохо. Пенсия — 10 рублей в месяц. Я и две сестры учимся. Маме пришлось давать комнаты и обеды. Комнаты дрянные. Студенты жили бедные. Социалисты. Помню — первый передо мной «большевик» Вася Канделаки.

Приятное

Послан за керосином. 5 рублей. В колониальной дали сдачи 14 рублей 50 копеек; 10 рублей — чистый заработок. Совестился. Обошел два раза магазин («Эрфуртская» заела).— Кто обсчитался, хозяин или служащий,— тихо расспрашиваю приказчика.— Хозяин! — Купил и съел четыре цукатных хлеба. На остальные гонял в лодке по Патриаршим прудам. Видеть с тех пор цукатных хлебов не могу.

Работа

Денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пасхальные яйца. Круглые, вертятся и скрипят, как двери. Яйца продавал в кустарный магазин на Неглинной. Штука 10—15 копеек. С тех пор бесконечно ненавижу Бемов, русский стиль и кустарщину.

Гимназия

Перевелся в 4-й класс пятой гимназии. Единицы, слабо разноображиваемые двойками. Под партой «Анти-Дюринг».

Чтение

Беллетристики не признавал совершенно. Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся более, чем «Предисловием» Маркса. Из комнат студентов шла нелегальщина. «Тактика уличного боя» и т. д. Помню отчетливо синенькую ленинскую «Две тактики». Нравилось, что книга срезана до букв. Для нелегального просовывания. Эстетика максимальной экономии.

Первое полустихотворение

Третья гимназия издавала нелегальный журнальчик «Порыв». Обиделся. Другие пишут, а я не могу?! Стал скрипеть. Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно. Вроде теперешнего Кириллова. Не помню ни строки. Написал второе. Вышло лирично. Не считая таковое состояние сердца совместимым с моим «социалистическим достоинством», бросил вовсе.

Партия

1908 год. Вступил в партию РСДРП (большевиков). Держал экзамен в торгово-промышленном подрайоне. Выдержал. Пропагандист. Пошел к булочникам, потом к сапожникам и, наконец, к типографщикам. На общегородской конференции выбрали в МК. Были Ломов, Поволжец, Смидович и другие. Звался «товарищем Константином». Здесь работать не пришлось — взяли.

Арест

29 марта 1908 г. нарвался на засаду в Грузинах. Наша нелегальная типография. Ел блокнот. С адресами и в переплете. Пресненская часть. Охранка. Сущевская часть. Следователь Вольтановский (очевидно, считал

себя хитрым) заставил писать под диктовку: меня обвиняли в писании прокламации. Я безнадежно перевирал диктант. Писал: «социяльдимократическая». Возможно, провел. Выпустили на поруки. В части с недоумением прочел «Санина». Он почему-то в каждой части имелся. Очевидно, душеспасителен.

Вышел. С год — партийная работа. И опять кратковременная сидка. Взяли револьвер. Махмудбеков, друг отца, тогда помощник начальника Крестов, арестованный случайно у меня в засаде, заявил, что револьвер его, и меня выпустили.

Третий арест

Живущие у нас (Коридзе (нелегальн. Морчадзе), Герулайтис и др.) ведут подкоп под Таганку. Освобождать женщин-каторжан. Удалось устроить побег из Новинской тюрьмы. Меня забрали. Сидеть не хотел. Скандалил. Переводили из части в часть — Басманная, Мещанская, Мясницкая и т. д.— и наконец — Бутырки. Одиночка № 103.

11 бутырских месяцев

Важнейшее для меня время. После трех лет теории и практики — бросился на беллетристику.

Перечел все новейшее. Символисты — Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось *так же про другое* — нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво. Что-то вроде:

> В золото, в пурпур леса одевались,
> Солнце играло на главах церквей.
> Ждал я: но в месяцах дни потерялись,
> Сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!

Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой. Последняя книга — «Анна Каренина». Не дочитал. Ночью вызвали «с вещами по городу». Так и не знаю, чем у них там, у Карениных, история кончилась.

Меня выпустили. Должен был (охранка постановила) идти на три года в Туруханск. Махмудбеков отхлопотал меня у Курлова.

Во время сидки судили по первому делу — виновен, но летами не вышел. Отдать под надзор полиции и под родительскую ответственность.

Так называемая дилемма

Вышел взбудораженный. Те, кого я прочел,— так называемые великие. Но до чего же нетрудно писать лучше их. У меня уже и сейчас правильное отношение к миру. Только нужен опыт в искусстве. Где взять? Я неуч. Я должен пройти серьезную школу. А я вышиблен даже из гимназии, даже и из Строгановского. Если остаться в партии — надо стать нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научишься. Перспектива — всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не мной придуманных книг. Если из меня вытряхнуть прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами? Ведь вот лучше Белого я все-таки не могу написать. Он про свое весело — «в небеса запустил ананасом», а я про свое ною — «сотни томительных дней». Хорошо другим партийцам. У них еще и университет. (А высшую школу — я еще не знал, что это такое,— я тогда уважал!)

Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы? Я зашел к тогда еще товарищу по партии — Медведеву. Хочу делать социалистическое искусство. Сережа долго смеялся: кишка тонка.

Думаю все-таки, что он недооценил мои кишки.

Я прервал партийную работу. Я сел учиться.

Начало мастерства

Думалось — стихов писать не могу. Опыты плачевные. Взялся за живопись. Учился у Жуковского. Вместе с какими-то дамочками писал серебренькие сервизнки. Через год догадался — учусь рукоделию. Пошел к Кели-

ну. Реалист. Хороший рисовальщик. Лучший учитель. Твердый. Меняющийся.

Требование — мастерство, Гольбейн. Терпеть не могущий красивенькое.

Поэт почитаемый — Саша Черный. Радовал его антиэстетизм.

Последнее училище

Сидел на «голове» год. Поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества: единственное место, куда приняли без свидетельства о благонадежности. Работал хорошо.

Удивило: подражателей лелеют — самостоятельных гонят. Ларионов, Машков. Ревинстинктом стал за выгоняемых.

Давид Бурлюк

В училище появился Бурлюк. Вид наглый. Лорнетка. Сюртук. Ходит напевая. Я стал задирать. Почти задрались.

В курилке

Благородное собрание. Концерт. Рахманинов. Остров мертвых. Бежал от невыносимой мелодизированной скуки. Через минуту и Бурлюк. Расхохотались друг в друга. Вышли шляться вместе.

Памятнейшая ночь

Разговор. От скуки рахманиновской перешли на училищную, от училищной — на всю классическую скуку. У Давида — гнев обогнавшего современников мастера, у меня — пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Родился российский футуризм.

Следующая

Днем у меня вышло стихотворение. Вернее — куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю — это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рявкнул: «Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт!» Применение ко мне такого грандиоз-

ного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом.

Бурлючье чудачество

Уже утром Бурлюк, знакомя меня с кем-то, басил: «Не знаете? Мой гениальный друг. Знаменитый поэт Маяковский». Толкаю. Но Бурлюк непреклонен. Еще и рычал на меня, отойдя: «Теперь пишите. А то вы меня ставите в глупейшее положение».

Так ежедневно

Пришлось писать. Я и написал первое (первое профессиональное, печатаемое) — «Багровый и белый» и другие.

Прекрасный Бурлюк

Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил без конца. Не отпускал ни на шаг. Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтоб писать не голодая.

На Рождество завез к себе в Новую Маячку. Привез «Порт» и другое.

«Пощечина»

Из Маячки вернулись. Если с неотчетливыми взглядами, то с отточенными темпераментами. В Москве Хлебников. Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом. Здесь же вился футуристический иезуит слова — Крученых.

После нескольких ночей лирики родили совместный манифест. Давид собирал, переписывал, вдвоем дали имя и выпустили «Пощечину общественному вкусу».

Пошевеливаются

Выставки «Бубновый валет». Диспуты. Разъяренные речи мои и Давида. Газеты стали заполняться футуриз-

мом. Тон был не очень вежливый. Так, например, меня просто называли «сукиным сыном».

Желтая кофта

Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы — гнуснейшего вида. Испытанный способ — украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке — галстук. Очевидно — увеличишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость: сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук.

Впечатление неотразимое.

Разумеется

Генералитет искусства ощерился. Князь Львов. Директор училища. Предложил прекратить критику и агитацию. Отказались.

Совет «художников» изгнал нас из училища.

Веселый год

Ездили Россией. Вечера. Лекции. Губернаторство настораживалось. В Николаеве нам предложили не касаться ни начальства, ни Пушкина. Часто обрывались полицией на полуслове доклада. К ватаге присоединился Вася Каменский. Старейший футурист.

Для меня эти годы — формальная работа, овладение словом.

Издатели не брали нас. Капиталистический нос чуял в нас динамитчиков. У меня не покупали ни одной строчки.

Возвращаясь в Москву — чаще всего жил на бульварах.

Это время завершилось трагедией «Владимир Маяковский». Поставлена в Петербурге. Луна-Парк. Просвистели ее до дырок.

Начало 14-го года

Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О революционной. Думаю над «Облаком в штанах».

Война

Принял взволнованно. Сначала только с декоративной, с шумовой стороны. Плакаты заказные и, конечно, вполне военные. Затем стих. «Война объявлена».

Август

Первое сражение. Вплотную встал военный ужас. Война отвратительна. Тыл еще отвратительней. Чтобы сказать о войне — надо ее видеть. Пошел записываться добровольцем. Не позволили. Нет благонадежности.

И у полковника Модля оказалась одна хорошая идея.

Зима

Отвращение и ненависть к войне. «Ах, закройте, закройте глаза газет» и другие.

Интерес к искусству пропал вовсе.

Май

Выиграл 65 рублей. Уехал в Финляндию. Куоккала.

Куоккала

Семизнакомая система (семипольная). Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье «ем» Чуковского, понедельник — Евреинова и т. д. В четверг было хуже — ем репинские травки. Для футуриста ростом в сажень — это не дело.

Вечера шатаюсь пляжем. Пишу «Облако».

Выкрепло сознание близкой революции.

Поехал в Мустамяки. М. Горький. Читал ему части «Облака». Расчувствовавшийся Горький обплакал мне весь жилет. Расстроил стихами. Я чуть загордился. Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете.

Все же жилет храню. Могу кому-нибудь уступить для провинциального музея.

«Новый сатирикон»

65 рублей прошли легко и без боли. «В рассуждении чего б покушать» стал писать в «Новом сатириконе».

Радостнейшая дата

Июль 915-го года. Знакомлюсь с Л. Ю. и О. М. Бриками.

Призыв

Забрили. Теперь идти на фронт не хочу. Притворился чертежником. Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто. С печатанием еще хуже. Солдатам запрещают. Один Брик радует. Покупает все мои стихи по 50 копеек строку. Напечатал «Флейту позвоночника» и «Облако». Облако вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек.

С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже.

Солдатчина

Паршивейшее время. Рисую (изворачиваюсь) начальниковы портреты. В голове разворачивается «Война и мир», в сердце — «Человек».

16-й год

Окончена «Война и мир». Немного позднее — «Человек». Куски печатаю в «Летописи». На военщину нагло не показываюсь.

26 февраля, 17-й год

Пошел с автомобилями к Думе. Влез в кабинет Родзянки. Осмотрел Милюкова. Молчит. Но мне почему-то кажется, что он заикается. Через час надоели. Ушел. Принял на несколько дней команду Автошколой. Гучковеет. Старое офицерье по-старому расхаживает в Думе. Для меня ясно — за этим неизбежно сейчас же социалисты. Большевики. Пишу в первые же дни революции Поэтохронику «Революция». Читаю лекции — «Большевики искусства».

Август

Россия понемногу откеренщивается. Потеряли уважение. Ухожу из «Новой жизни». Задумываю «Мистерию-Буфф».

Октябрь

Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось. Начинают заседать.

Январь

Заехал в Москву. Выступаю. Ночью «Кафе поэтов» в Настасьинском. Революционная бабушка теперешних кафе-поэтных салончиков. Пишу киносценарии. Играю сам. Рисую для кино плакаты. Июнь. Опять Петербург.

18-й год

РСФСР — не до искусства. А мне именно до него. Заходил в Пролеткульт к Кшесинской.

Отчего не в партии? Коммунисты работали на фронтах. В искусстве и просвещении пока соглашатели. Меня послали б ловить рыбу в Астрахань.

25 октября, 18-й год

Окончил мистерию. Читал. Говорят много. Поставил Мейерхольд с К. Малевичем. Ревели вокруг страшно. Особенно коммунистичествующая интеллигенция. Андреева чего-чего не делала. Чтоб мешать. Три раза поставили — потом расколотили. И пошли «Макбеты».

19-й год

Езжу с мистерией и другими вещами моими и товарищей по заводам. Радостный прием. В Выборгском районе организуется комфут, издаем «Искусство коммуны». Академии трещат. Весной переезжаю в Москву.

Голову охватила «150 000 000». Пошел в агитацию Роста.

20-й год

Кончил «Сто пятьдесят миллионов». Печатаю без фамилии. Хочу, чтоб каждый дописывал и лучшил. Этого не делали, зато фамилию знали все. Все равно. Печатаю здесь под фамилией.

Дни и ночи РОСТА. Наступают всяческие Деникины. Пишу и рисую. Сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей.

21-й год

Пробиваясь сквозь все волокиты, ненависти, канцелярщины и тупости — ставлю второй вариант мистерии. Идет в I РСФСР — в режиссуре Мейерхольда с художниками Лавинским, Храковским, Киселевым и в цирке на немецком языке для III конгресса Коминтерна. Ставит Грановский с Альтманом и Равделем. Прошло около ста раз.

Стал писать в «Известиях».

22-й год

Организую издательство МАФ. Собираю футуристов — коммуны. Приехали с Дальнего Востока Асеев, Третьяков и другие товарищи по дракам. Начал записывать работанный третий год «Пятый Интернационал». Утопия. Будет показано искусство через 500 лет.

23-й год

Организуем «Леф». «Леф» — это охват большой социальной темы всеми орудиями футуризма. Этим определением, конечно, вопрос не исчерпывается,— интересующихся отсылаю к №№. Сплотились тесно: Брик, Асеев, Кушнер, Арватов, Третьяков, Родченко, Лавинский.

Написал: «Про это». По личным мотивам об общем быте. Начал обдумывать поэму «Ленин». Один из лозунгов, одно из больших завоеваний «Лефа» — деэстетизация производственных искусств, конструктивизм. Поэтическое приложение: агитка и агитка хозяйственная — реклама. Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю «Нигде кроме как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации.

24-й год

«Памятник рабочим Курска». Многочисленные лекции по СССР о «Лефе». «Юбилейное» — Пушкину. И стихи этого типа — цикл. Путешествия: Тифлис, Ялта — Севастополь, «Тамара и Демон» и т. д. Закончил

поэму «Ленин». Читал во многих рабочих собраниях. Я очень боялся этой поэмы, так как легко было снизиться до простого политического пересказа. Отношение рабочей аудитории обрадовало и утвердило в уверенности нужности поэмы. Много езжу за границу. Европейская техника, индустриализм, всякая попытка соединить их с еще непролазной бывшей Россией — всегдашняя идея футуриста-лефовца.

Несмотря на неутешительные тиражные данные о журнале, «Леф» ширится в работе.

Мы знаем эти «данные» — просто частая канцелярская незаинтересованность в отдельных журналах большого и хладнокровного механизма ГИЗа.

25-й год

Написал агитпоэму «Летающий пролетарий» и сборник агитстихов «Сам пройдись по небесам».

Еду вокруг земли. Начало этой поездки — последняя поэма (из отдельных стихов) на тему «Париж». Хочу и перейду со стиха на прозу. В этот год должен закончить первый роман.

«Вокруг» не вышло. Во-первых, обокрали в Париже, во-вторых, после полугода езды пулей бросился в СССР. Даже в Сан-Франциско (звали с лекцией) не поехал. Изъездил Мексику, С.-А. С. Ш. и куски Франции и Испании. Результат — книги: публицистика-проза — «Мое открытие Америки» и стихи — «Испания», «Атлантический океан», «Гаванна», «Мексика», «Америка».

Роман дописал в уме, а на бумагу не перевел, потому что: пока дописывалось, проникался ненавистью к выдуманному и стал от себя требовать, чтобы на фамилии, чтоб на факте. Впрочем, это и на 26-й — 27-й годы.

1926-й год

В работе сознательно перевожу себя на газетчика. Фельетон, лозунг. Поэты улюлюкают — однако сами газетничать не могут, а больше печатаются в безответственных приложениях. А мне на их лирический вздор смешно смотреть, настолько этим заниматься легко и никому, кроме супруги, не интересно.

Пишу в «Известиях», «Труде», «Рабочей Москве», «Заре Востока», «Бакинском рабочем» и других.

Вторая работа — продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и читаю. Новочеркасск, Винница, Харьков, Париж, Ростов, Тифлис, Берлин, Казань, Свердловск, Тула, Прага, Ленинград, Москва, Воронеж, Ялта, Евпатория, Вятка, Уфа и т. д., и т. д., и т. д.

1927-й год

Восстанавливаю (была проба «сократить») «Леф», уже «Новый». Основная позиция: против выдумки, эстетизации и психоложества искусством — за агит, за квалифицированную публицистику и хронику. Основная работа в «Комсомольской правде», и сверхурочно работаю «Хорошо».

«Хорошо» считаю программной вещью, вроде «Облака в штанах» для того времени. Ограничение отвлеченных поэтических приемов (гиперболы, виньеточного самоценного образа) и изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала.

Иронический пафос в описании мелочей, но могущих быть и верным шагом в будущее («сыры не засижены — лампы сияют, цены снижены»); введение, для перебивки планов, фактов различного исторического калибра, законных только в порядке личных ассоциаций («Разговор с Блоком», «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут»).

Буду разрабатывать намеченное.

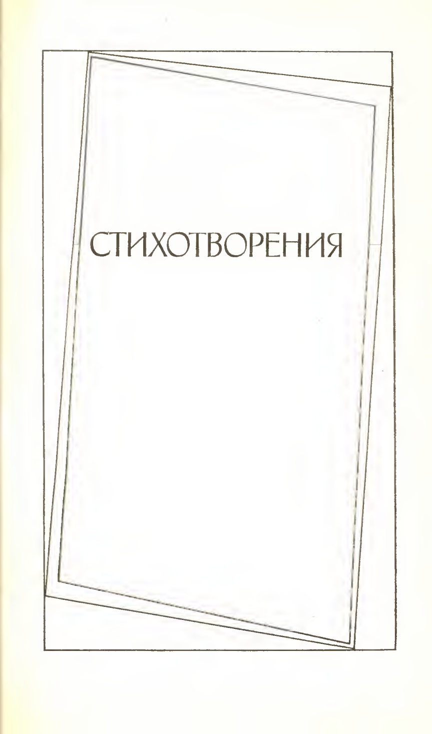
Еще: написаны — сценарии и детские книги.

Еще продолжал менестрелить. Собрал около 20 000 записок, думаю о книге «Универсальный ответ» (записочникам). Я знаю, о чем думает читающая масса.

1928-й год

Пишу поэму «Плохо». Пьесу и мою литературную биографию. Многие говорили: «Ваша автобиография не очень серьезна». Правильно. Я еще не заакадемичился и не привык нянчиться со своей персоной, да и дело мое меня интересует, только если это весело. Подъем и опадание многих литератур, символисты, реалисты и т. д., наша борьба с ними — все это, шедшее на моих глазах: это часть нашей весьма серьезной истории. Это требует, чтобы об нем написать. И напишу.

1922. 1928



СТИХОТВОРЕНИЯ

НОЧЬ

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.

Толпа — пестрошерстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
ударами в жесть, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.

1912

УТРО

Угрюмый дождь скосил глаза.
А за
решеткой
четкой
железной мысли проводов —
перина.

И на
нее
встающих звезд
легко оперлись ноги.
Но ги-
бель фонарей,
царей
в короне газа,
для глаза
сделала больней
враждующий букет бульварных проституток.
И жуток
шуток
клюющий смех —
из желтых
ядовитых роз
возрос
зигзагом.
За гам
и жуть
взглянуть
отрадно глазу:
раба
крестов
страдающе-спокойно-безразличных,
гроба
домов
публичных
восток бросал в одну пылающую вазу.

1912

ПОРТ

Простыни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.
Был вой трубы — как будто лили
любовь и похоть медью труб.
Прижались лодки в люльках входов
к сосцам железных матерей.
В ушах оглохших пароходов
горели серьги якорей.

1912

ИЗ УЛИЦЫ В УЛИЦУ

У-
лица.
Лица
у
догов
годов
рез-
че.
Че-
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
Лебеди шей колокольных,
гнитесь в силках проводов!
В небе жирафий рисунок готов
выпестрить ржавые чубы.
Пестр, как форель,
сын
безузорной пашни.
Фокусник
рельсы
тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.
Мы завоеваны!
Ванны.
Души.
Лифт.
Лиф души расстегнули.
Тело жгут руки.
Кричи, не кричи:
«Я не хотела!» —
резок
жгут
муки.
Ветер колючий
трубе
вырывает
дымчатой шерсти клок.

Лысый фонарь
сладострастно снимает
с улицы
черный чулок.

1913

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

1913

ВЫВЕСКАМ

Читайте железные книги!
Под флейту золо́ченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.

А если веселостью песьей
закружат созвездия «Магги» —
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!

1913

Я

1

По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле о́блака
застыли
башен
кривые выи —
иду
один рыдать,
что перекрестком
ра́спяты
городовые.

2

Несколько слов о моей жене

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражем,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажем
украшен мишурными блестками.
А я?
Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студеные ведра.
В шелках озерных ты висла,
янтарной скрипкой пели бедра?
В края, где злоба крыш,
не кинешь блесткой лесни.
В бульварах я тону, тоской песков овеян:
ведь это ж дочь твоя —
моя песня
в чулке ажурном
у кофеен!

3

Несколько слов о моей маме

У меня есть мама на васильковых обоях.
А я гуляю в пестрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.
Заиграет вечер на гобоях ржавых,
подхожу к окошку,
веря,
что увижу опять
севшую
на дом
тучу.
А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.
Мама знает —
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.
И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,
окровавит гаснущая рама,
я скажу,
раздвинув басом ветра вой:
«Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачного танца, —
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»

4

Несколько слов обо мне самом

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибоя смеха мглистый вал заметили
за тоски хоботом?
А я —
в читальне улиц —
так часто перелистывал гро́ба том.
Полночь
промокшими пальцами щупала

меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжалься хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дольней.
Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

1913

ОТ УСТАЛОСТИ

Земля!
Дай исцелую твою лысеющую голову
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.
Дымом волос над пожарами глаз из олова
дай обовью я впалые груди болот.
Ты! Нас — двое,
ораненных, загнанных ланями,
вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.
Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.
Сестра моя!
В богадельнях идущих веков,
может быть, мать мне сыщется;
бросил я ей окровавленный песнями рог.

Квакая, скачет по полю
канава, зеленая сыщица,
нас заневолить
веревками грязных дорог.
1913

АДИЩЕ ГОРОДА

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки́.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже — скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.
1913

НАТЕ!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется — и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мот.

1913

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.
«Сумасшедший!
Рыжий!» —
запрыгали слова.
Ругань металась от писка до писка,
и до-о-о-о-лго
хихикала чья-то голова,
выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

1913

КОФТА ФАТА

Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршин заката.
По Невскому мира, по лощеным полосам его,
профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Пусть земля кричит, в покое обабившись:
«Ты зеленые весны идешь насиловать!»
Я брошу солнцу, нагло осклабившись:
«На глади асфальта мне хорошо грассировать!»

Не потому ли, что небо голубо́,
а земля мне любовница в этой праздничной чистке,
я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,
и острые и нужные, как зубочистки!

Женщины, любящие мое мясо, и эта
девушка, смотрящая на меня, как на брата,
закидайте улыбками меня, поэта,—
я цветами нашью их мне на кофту фата!

1914

ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плево́чки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полу́денной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную му́ку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914

А ВСЕ-ТАКИ

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река — сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно — у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я — ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова — судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

1914

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную черной,
багровой крови пролилáсь струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:
«Отравим кровью игры Рейна!
Громáми ядер на мрамор Рима!»

С неба, изодранного о штыков жала,
слёзы звезд просеивались, как мука́ в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце — победе.

Громоздящемуся городу уро́дился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человечьего мяса.

Вздувается у площади за ротой рота,
у злящейся на лбу вздуваются вены.
«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»

Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лила́сь и лила́сь струя.

20 июля 1914 г.

МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу глазет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Письмо.

Мама, громче!
Дым.
Дым.
Дым еще!
Что вы мямлите, мама, мне?

Видите —
весь воздух вымощен
громыхающим под ядрами камнем!
Ма — а — а — ма!
Сейчас притащили израненный вечер.
Крепился долго,
кургузый,
шершавый,
и вдруг,—
надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звезды в платочках из синего ситца
визжали:
«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»
И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.
А вечер кричит,
безногий,
безрукий:
«Неправда,
я еще могу-с —
хе! —
выбряцав шпоры в горящей мазурке,
выкрутить русый ус!»

Звонок.

Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе глазет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

1914

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабаи не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул иа горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потиый,
крикиул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
бросился на деревянную шею:
«Зиаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!

Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

1914

Я И НАПОЛЕОН

Я живу на Большой Пресне,
36, 24.
Место спокойненькое.
Тихонькое.
Ну?
Кажется — какое мне дело,
что где-то
в буре-мире
взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.
Хорошая.
Вкрадчивая.
И чего это барышни некоторые
дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?
Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытрепав ручонки-флаги,
молится и молится красными крестами.
Простоволосая церковка бульварному изголовью
припала,— набитый слезами куль,—
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.
Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерствевший разум.
Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!
Скажите Москве —
пускай удержится!
Не надо!
Пусть не трясется!

Через секунду
встречу я
неб самодержца,—
возьму и убью солнце!
Видите!
Флаги по небу полощет.
Вот он!
Жирен и рыж.
Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!

Тебе,
орущему:
«Разрушу,
разрушу!»,
вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,
я,
сохранивший бесстрашную душу,
бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,
сложите в костер лица!
Все равно!
Это нам последнее солнце —
солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши.
Сегодня я — Наполеон!
Я полководец и больше.
Сравните:
я и — он!

Он раз чуме приблизился троном,
смелостью смерть поправ,—
я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф!
Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто,—
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит,

оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!
За мной, изъеденные бессонницей!
Выше!
В костер лица!
Здравствуй,
мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!

Люди!
Будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце съежится аж!
Громче из сжатого горла храма
хрипи, похоронный марш!
Люди!
Когда канонизируете имена
погибших,
меня известней,—
помните:
еще одного убила война —
поэта с Большой Пресни!

1915

ВАМ!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как,—
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

1915

ГИМН СУДЬЕ

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груда!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот неизвестно зачем и откуда
на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи — пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост,—
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие — колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: «Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток».

Экватор дрожит от кандальных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

1915

ГИМН УЧЕНОМУ

Народонаселение всей империи —
люди, птицы, сороконожки,
ощетинив щетину, выперев перья,
с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,
даже заинтересовало трубочиста черного
удивительное, необыкновенное зрелище —
фигура знаменитого ученого.

Смотрят: и ни одного человеческого качества.
Не человек, а двуногое бессилие,
с головой, откусанной начисто
трактатом «О бородавках в Бразилии».

Вгрызлись в букву едящие глаза,—
ах, как букву жалко!
Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр
случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, как оглоблей ударенный,
но ученому ли думать о пустяковом изъяне?
Он знает отлично написанное у Дарвина,
что мы — лишь потомки обезьяньи.

Просочится солнце в крохотную щелку,
как маленькая гноящаяся ранка,
и спрячется на пыльную полку,
где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в иоде.
Окаменелый обломок позапрошлого лета.
И еще на булавке что-то вроде
засушенного хвоста небольшой кометы.

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки
опять осклабилось на людские безобразия,
и внизу по тротуарам опять приготовишки
деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,
что растет человек глуп и покорен;
ведь зато он может ежесекундно
извлекать квадратный корень.

1915

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодушью миноносьему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносьему.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?

1915

ГИМН ЗДОРОВЬЮ

Среди тонконогих, жидких кровью,
трудом поворачивая шею бычью,
на сытый праздник тучному здоровью
людей из мяса я зычно кличу!

Чтоб бешеной пляской землю овить,
скучную, как банка консервов,
давайте весенних бабочек ловить
сетью ненужных нервов!

И по камням острым, как глаза ораторов,
красавцы-отцы здоровых томов,
потащим мордами умных психиатров
и бросим за решетки сумасшедших домов!

А сами сквозь город, иссохший как Онания,
с толпой фонарей желтолицых, как скопцы,
голодным самкам накормим желания,
поросшие шерстью красавцы-самцы!

1915

ГИМН КРИТИКУ

От страсти извозчика и разговорчивой прачки
невзрачный детеныш в результате вытек.
Мальчик — не мусор, не вывезешь на тачке.
Мать поплакала и назвала его: критик.

Отец, в разговорах вспоминая родословные,
любил поспорить о правах материнства.
Такое воспитание, светское и салонное,
оберегало мальчика от уклона в свинство.

Как роется дворником к кухарке сапа,
щебетала мамаша и кальсоны мыла;
от мамаши мальчик унаследовал запах
и способность вникать легко и без мыла.

Когда он вырос приблизительно с полено
и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде,
его изящным ударом колена
провели на улицу, чтобы вышел в люди.

Много ль человеку нужно? — Клочок —
небольшие штаны и что-нибудь из хлеба.
Он носом, хорошеньким, как построчный пятачок,
обнюхал приятное газетное небо.

И какой-то обладатель какого-то имени
нежнейший в двери услыхал стук.
И скоро критик из имениного вымени
выдоил и брюки, и булку, и галстук.

Легко смотреть ему, обутому и одетому,
молодых искателей изысканные игры
и думать: хорошо — ну, хотя бы этому
потрогать зубенками шальные икры.

Но если просочится в газетной сети
о том, как велик был Пушкин или Дант,
кажется, будто разлагается в газете
громадный и жирный официант.

И когда вы, наконец, в столетний юбилей
продерете глазки в кадильной гари,
имя его первое, голубицы белей,
чисто засияет на поднесенном портсигаре.

Писатели, нас много. Собирайте миллион.
И богадельню критикам построим в Ницце.
Вы думаете — легко им наше белье
ежедневно прополаскивать в газетной странице!

1915

ГИМН ОБЕДУ

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть наденъ очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан,—
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и злак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов —
твоих четыреста тысяч».

1915

ВОТ ТАК Я СДЕЛАЛСЯ СОБАКОЙ

Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака лицо луны гололобой —
взял бы
и все обвыл.

Нервы, должно быть...
Выйду,
погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я.
Какая-то прокричала про добрый вечер.
Надо ответить:
она — знакомая.
Хочу.
Чувствую —
не могу по-человечьи.

Что это за безобразие!
Сплю я, что ли?
Ощупал себя:
такой же, как был,
лицо такое же, к какому привык.
Тронул губу,
а у меня из-под губы —
клык.

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.
Бросился к дому, шаги удвоив.
Бережно огибаю полицейский пост,
вдруг оглушительное:
«Городовой!
Хвост!»

Провел рукой и — остолбенел!
Этого-то,
всяких клыков почище,
я и не заметил в бешеном скаче:
у меня из-под пиджака
развеерился хвостище
и вьется сзади,
большой, собачий.

Что теперь?
Один заорал, толпу растя.
Второму прибавился третий, четвертый.
Смяли старушонку.
Она, крестясь, что-то кричала про черта.

И когда, ощетинив в лицо усища-веники,
толпа навалилась,
огромная,
злая,
я стал на четвереньки
и залаял:
Гав! гав! гав!

1915

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ НЕЛЕПОСТИ

Бросьте!
Конечно, это не смерть.
Чего ей ради ходить по крепости?
Как вам не стыдно верить
нелепости?!

Просто именинник устроил карнавал,
выдумал для шума стрельбу и тир,
а сам, по-жабьи присев на вал,
вымаргивается, как из мортир.
Ласков хозяина бас,
просто — похож на пушечный.
И не от газа маска,
а ради шутки игрушечной.
Смотрите!
Небо мерить
выбежала ракета.

Разве так красиво смерть
бежала б в небе паркета!
Ах, не говорите:
«Кровь из раны».
Это — дико!
Просто и́збранных из бранных
одаривали гвоздикой.
Как же иначе?
Мозг не хочет понять
и не может:
у пушечных шей
если не целоваться,
то — для чего же
обвиты руки траншей?
Никто не убит!
Просто — не выстоял.
Лег от Сены до Рейна.
Оттого что цветет,
одуряет желтолистая
на клумбах из убитых гангрена.
Не убиты,
нет же,
нет!
Все они встанут
просто —
вот так,
вернутся
и, улыбаясь, расскажут жене,
какой хозяин весельча́к и чудак.
Скажут: не было ни ядр, ни фугасов
и, конечно же, не было крепости!
Просто именинник выдумал массу
каких-то великолепных нелепостей!

1915

ГИМН ВЗЯТКЕ

Пришли и славословим покорненько
тебя, дорогая взятка,
все здесь, от младшего дворника
до того, кто в золото заткан.

Всех, кто за нашей десницей
посмеет с укором глаза́ весть,
мы так, как им и не снится,
накажем мерзавцев за зависть.

Чтоб больше не смела вздыматься хула,
наденем мундиры и медали
и, выдвинув вперед убедительный кулак,
спросим: «А это видали?»

Если сверху смотреть — разинешь рот.
И взыграет от радости каждая мышца.
Россия — сверху — прямо огород,
вся наливается, цветет и пышится.

А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза
и лезть в огород козе лень?..
Было бы время, я б доказал,
которые — коза и зелень.

И нечего доказывать — идите и берите.
Умолкнет газетная нечисть ведь.
Как баранов, надо стричь и брить их.
Чего стесняться в своем отечестве?

1915

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЗЯТОЧНИКАМ

Неужели и о взятках писать поэтам!
Дорогие, нам некогда. Нельзя так.
Вы, которые взяточники,
хотя бы поэтому,
не надо, не берите взяток.
Я, выколачивающий из строчек штаны,—
конечно, как начинающий, не очень часто,
я — еще и российский гражданин,
беззаветно чтущий и чиновника и участок.
Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,
приникши щекою к светлому кителю.
Думает чиновник: «Эх, удалось бы!
Этак на двести птичку вытелю».

Сколько раз под сень чиновник,
приносил обиды им.
«Эх, удалось бы,— думает чиновник,—
этак на триста бабочку выдоим».
Я знаю, надо и двести и триста вам —
возьмут, все равно, не те, так эти;
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети.
Но лишний труд — доить поодиночно,
вы и так ведете в работе года.
Вот что я выдумал для вас нарочно —
Господа!
Взломайте шкапы, сундуки и ларчики,
берите деньги и драгоценности мамашины,
чтоб последний мальчонка в потненьком кулачике
зажал сбереженный рубль бумажный.
Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.
Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!
У старых брюк обшарьте карманы —
в карманах копеек на сорок мелочи.
Все это узлами уложим и свяжем,
а сами, без денег и платья,
придем, поклонимся и скажем:
Нате!
Что нам деньги, транжирам и мотам!
Мы даже не знаем, куда нам деть их.
Берите, милые, берите, чего там!
Вы наши отцы, а мы ваши дети.
От холода не попадая зубом на зуб,
станем голые под голые небеса.
Берите, милые! Но только сразу,
Чтоб об этом больше никогда не писать.

1915

ЧУДОВИЩНЫЕ ПОХОРОНЫ

Мрачные до черного вышли люди,
тяжко и чинно выстроились в городе,
будто сейчас набираться будет
хмурых монахов черный орден.

Траур воронов, выкаймленный под окна,
небо, в бурю крашеное,—
все было так подобрано и подогнано,
что волей-неволей ждалось страшное.

Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,
пыльного воздуха сухая охра,
вылез из воздуха и начал ехать
тихий катафалк чудовищных похорон.

Встревоженная о́жила глаз масса,
гору взоров в гроб бросили.
Вдруг из гроба прыснула гримаса,
после —

крик: «Хоронят умерший смех!» —
из тысячегрудого меха
гремел омиллионенный множеством эх
за гробом, который ехал.

И тотчас же отчаяннейшего плача ножи
врезались, заставив ничего не понимать.
Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь,—
усопшего смеха седая мать.

К кому же, к кому вернуться назад ей?
Смотрите: в лысине — тот —
это большой, носатый
плачет армянский анекдот.

Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним ободранная, куцая,
визжа, бежала острота.
Куда — если умер — уткнуться ей?

Уже до неба плачей глыба.
Но еще,
еще откуда-то плачики —
это целые полчища улыбочек и улыбок
ломали в горе хрупкие пальчики.

И вот сквозь строй их, смокших в один
сплошной изрыдавшийся Гаршин,
вышел ужас — вперед пойти —
весь в похоронном марше.

Размокло лицо, стало — кашица,
смятая морщинками на выхмуренном лбу,
а если кто смеется — кажется,
что ему разодрали губу.

1915

ЭЙ!

Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокисший воздух плесенью веет.
Эй!
Россия,
нельзя ли
чего поновее?

Блажен, кто хоть раз смог,
хотя бы закрыв глаза,
забыть вас,
ненужных, как насморк,
и трезвых,
как нарзан.

Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.
А Капри есть.
От сияний цветочных
весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег
забудем, качая тела в пароходах.
Наоткрываем десятки Америк.
В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри, какой ты ловкий,
а я —
вон у меня рука груба как.
Быть может, в турнирах,
быть может, в боях
я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,
смотреть, растопырил ноги как.

И вот врага, где предки,
туда
отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал,
забыв привычку спанья,
всю ночь напролет провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, ощетинясь, как еж,
с похмелья придя поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,
крахмальные груди раскрасим под панцирь,
загнем рукоять на столовом ноже,
и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,
любились, дрались, волновались.
Эй!
Человек,
землю саму
зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,
новые звезды придумай и выставь,
чтоб, исступленно царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.

1916

КО ВСЕМУ

Нет.
Это неправда.
Нет!
И ты?
Любимая,
за что,
за что же?!

Хорошо —
я ходил,
я дарил цветы,
я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!

Белый,
сшатался с пятого этажа.
Ветер щеки ожег.
Улица клубилась, визжа и ржа.
Похотливо взлазил рожок на рожок.

Вознес над суетой столичной одури
строгое —
древних икон —
чело.
На теле твоем — как на смертном óдре —
сердце
дни
кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотрúте —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!

Помните:
под ношей креста
Христос
секунду
усталый стал.

Толпа орала:
«Марала!
Маааррраааала!»

Правильно!
Каждого,
кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!
Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!

Довольно!

Теперь —
клянусь моей языческой силою! —
дайте
любую
красивую,
юную,—
души не растрачу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы мести в тысячу крат жни!
В каждое ухо ввой:
вся земля —
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,
похороните —
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнущие пóтом и базаром.

Ночью вскочите!
Я
звал!
Белым быком возрос над землей:
Мyyyy!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,
в провода
впутаю голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!
Молитва у рта,—
лег на плиты просящ и грязен он.
Я возьму
намалюю
на царские врата
на божьем лике Разина.

Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему,—
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!

И когда,
наконец,
на веков верхи́ став,
последний выйдет день им,—
в черных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!

Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий город.

Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылью
в исповеди!

Грядущие люди!
Кто вы?
Вот — я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

1916

ЛИЛИЧКА!

Вместо письма

Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,

дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом умóрят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?

Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

26 мая 1916 г. Петроград

НАДОЕЛО

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.
Сияиие.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так измеиился россияиии,
что щеки сожгу огиями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачиой куче.
«Назад,
наз-зад,
назад!»
Страх орет из сердца.
Мечется по лицу, безиадежеи и скучеи.

Не слушаюсь.
Вижу,
вправо немножко,
иеведомое ни на суше, ии в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.

Глядишь и ие зиаешь: ест или не ест он.
Глядишь и ие зиаешь: дышит или ие дышит он.
Два аршина безлицого розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лосящихся щек.
Сердце в исступлении,
рвет и мечет.
«Назад же!
Чего еще?»

Влево смотрю.
Рот разинул.
Обернулся к первому, и стало иначе:
для увидевшего вторую образину
первый —
воскресший Леонардо да Винчи.

Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?

Брошусь на землю,
камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами
тысячью поцелуев покрою
умную морду трамвая.

В дом уйду.
Прилипну к обоям.
Где роза есть нежнее и чайнее?
Хочешь —
тебе
рябое
прочту «Простое как мычание»?

Для истории

Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет —
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.

1916

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА

Женщину ль опутываю в трогательный роман,
просто на прохожего гляжу ли —
каждый опасливо придерживает карман.
Смешные!
С нищих —
что с них сжулить?

Сколько лет пройдет, узнают пока —
кандидат на сажень городского морга —
я
бесконечно больше богат,
чем любой Пьерпонт Мо́рган.

Через столько-то, столько-то лет
— словом, не выживу —
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет —
меня,
сегодняшнего рыжего,
профессора́ разучат до последних нот,
как,
когда,
где явлен.
Будет
с кафедры лобастый идиот
что-то молоть о богодьяволе.

Скло́нится толпа,
лебезяща,
суетна.
Даже не узнаете —
я не я:
облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.

Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами моими замлеть.

Я — пессимист,
знаю —
вечно
будет курсистка жить на земле.

Слушайте ж:

все, чем владеет моя душа,
— а ее богатства пойдите смерьте ей! —
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,
коленопреклоненных соберет мировое вече,—
все это — хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.

Люди!

Пыля проспекты, топоча рожь,
идите со всего земного лона.
Сегодня
в Петрограде
на Надеждинской
ни за грош
продается драгоценнейшая корона.
За человечье слово —
не правда ли, дешево?
Пойди,
попробуй,—
как же,
найдешь его!

1916

ХВОИ

Не надо.
Не просите.
Не будет елки.

Как же
в лес
отпу́стите папу?
К нему
из-за леса
ядер осколки
протянут,
чтоб взять его,
хищную лапу.

Нельзя.
Сегодня
горящие блестки
не будут лежать
под елкой
в вате.
Там —
миллион смертоносных о́сок,
ужалят,
а раненым ваты не хватит.

Нет.
Не зажгут.
Свечей не будет.
В море
железные чудища лазят.
А с этих чудищ
злые люди
ждут:
не блеснет ли у о́кон в глазе.

Не говорите.
Глупые речь заводят:
чтоб дед пришел,
чтоб игрушек ворох.
Деда нет.
Дед на заводе.
Завод?
Это тот, кто делает порох.

Не будет музыки.
Ру́ченек
где взять ему?
Не сядет, играя.

Ваш брат
теперь,
безрукий мученик,
идет, сияющий, в воротах рая.

Не плачьте.
Зачем?
Не хмурьте личек.
Не будет —
что же с того!
Скоро
все, в радостном кличе
голоса сплетая,
встретят новое Рождество.

Елка будет.
Да какая —
не обхватишь ствол.
Навесят на елку сиянья разного.
Будет стоять сплошное Рождество.
Так что
даже —
надоест его праздновать.

1916

СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ, ПОСВЯЩАЕТ ЭТИ СТРОКИ АВТОР

Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю — богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?

Если б был я
маленький,
как Великий океан,—
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.

Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.

О, если б был я
тихий,
как гром,—
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.
Я если всей его мощью
выреву голос огромный —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!

Пройду,
любовищу мою волоча,

В какой ночи́,
бредово́й,
недужной,
какими Голиафами я зача́т —
такой большой
и такой ненужный?

1916

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА

Стоит император Петр Великий,
думает:
«Запирую на просторе я!» —
а рядом
под пьяные клики
строится гостиница «Астория».

Сияет гостиница,
за обедом обед она
дает.
Завистью с гранита снят,
слез император.
Трое медных
слазят
тихо,
чтоб не спугнуть Сенат.

Прохожие стремились войти и выйти.
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
Кто-то
рассеянный
бросил:
«Извините»,
наступив нечаянно на змеин хвост.

Император,
лошадь и змей
неловко
по карточке
спросили гренадин.
Шума язык не смолк, немея.
Из пивших и евших не обернулся ни один.

И только
когда
над пачкой соломинок
в коне заговорила привычка древняя,
толпа сорва́лась, криком сломана:
— Жует!
Не знает, зачем они.
Деревня!

Стыдом овихрены шаги коня.
Выбелена грива от уличного газа.
Обратно
по Набережной
гонит гиканье
последнюю из петербургских сказок.

И вновь император
стоит без скипетра.
Змей.
Унынье у лошади на морде.
И никто не поймет тоски Петра —
узника,
закованного в собственном городе.

1916

РОССИИ

Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.

Остров зноя.
В пальмы овазился.

«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.

Иные жмутся —
уйти б,
не кусается ль?—
Иные изогнуты в низкую лесть.
«Мама,
а мама,
несет он яйца?»—
«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».

Ржут этажия.
Улицы пялятся.
Обдают водой холода́.
Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декабрей.

1916

БРАТЬЯ ПИСАТЕЛИ

Очевидно, не привыкну
сидеть в «Бристоле»,
пить чай,
построчно врать я,—
опрокину стаканы,
взлезу на столик.
Слушайте,
литературная братия!

Сидите,
глазенки в чаишко канув.
Вытерся от строчения локоть плюшевый.
Подымите глаза от недопитых стаканов.
От косм освободите уши вы.

Вас,
прилипших
к стене,
к обоям,
милые,
что вас со словом свело?
А знаете,
если не писал,
разбоем
занимался Франсуа Виллон.

Вам,
берущим с опаской
и перочинные ножи,
красота великолепнейшего века вверена вам!
Из чего писать вам?
Сегодня
жизнь
в сто крат интересней
у любого помощника присяжного поверенного.

Господа поэты,
неужели не наскучили
пажи,
дворцы,
любовь,
сирени куст вам?
Если
такие, как вы,
творцы —
мне наплевать на всякое искусство.

Лучше лавочку открою.
Пойду на биржу.
Тугими бумажниками растопырю бока.
Пьяной песней
душу выржу
в кабинете кабака.

Под копны волос проникнет ли удар?
Мысль
одна под волосища вложена:
«Причесываться? Зачем же?!
На время не стоит труда,
а вечно
причесанным быть
невозможно».

1917

РЕВОЛЮЦИЯ

Поэтохроника

26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией,
солдаты стреляли в народ.

27-е.

Разли́лся по блескам дул и лезвий
рассвет.
Рдел багрян и до́лог.
В промозглой казарме
суровый
трезвый
молился Волынский полк.

Жестоким
солдатским богом божились
роты,
бились об пол головой многолобой.
Кровь разжигалась, висками жилясь.
Руки в железо сжимались злобой.

Первому же,
приказавшему —
«Стрелять за голод!» —
заткнули пулей орущий рот.
Чье-то — «Смирно!»
Не кончил.
Заколот.
Вырвалась городу буря рот.

9 часов.

На своем постоянном месте
в Военной автомобильной школе
стоим,
зажатые казарм оградою.
Рассвет растет,
сомненьем колет,
предчувствием страша и радуя.

Окну!
Вижу —
оттуда,
где режется небо
дворцов иззубленной линией,
взлетел,
простерся орел самодержца,
черней, чем раньше,
злей,
орлинее.

Сразу —
люди,
лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
пó сто
ринулись на улицу.
Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.

И вот неведомо,
из пенья толпы ль,
из рвущейся меди ли труб гвардейцев
нерукотворный,
сияньем пробивая пыль,
образ возрос.
Горит.
Рдеется.

Шире и шире крыл окружие.
Хлеба нужней,
воды изжажданней,

вот она:
«Граждане, за ружья!
К оружию, граждане!»

На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.

Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.

Граждане!
Это первый день рабочего потопа.
Идем
запутавшемуся миру на выручу!
Пусть толпы в небо вбивают топот!
Пусть флоты ярость сиренами вырычут!

Горе двуглавому!
Пенится пенье.
Пьянит толпу.
Площади плещут.
На крохотном форде
мчим,
обгоняя погони пуль.
Взрывом гудков продираемся в городе.

В тумане.
Улиц река дымит.
Как в бурю дюжина груженых барж,
над баррикадами
плывет, громыхая, марсельский марш.

Первого дня огневое ядро
жужжа скатилось за купол Думы.
Нового утра новую дрожь
встречаем у новых сомнений в бреду мы.

Что будет?
Их ли из окон выломим,
или на нарах
ждать,
чтоб снова
Россию
могилами
выгорбил монарх?!

Душу глушу об выстрел резкий.
Дальше,
в шинели орыт.
Рассыпав дома в пулеметном треске,
город грохочет.
Город горит.

Везде языки.
Взовьются и лягут.
Вновь взвиваются, искры рассея.
Это улицы,
взяв по красному флагу,
призывом зарев зовут Россию.

Еще!
О, еще!
О, ярче учи, краснозыкий оратор!
Зажми и солнца
и лун лучи
мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавому!
Каторгам в двери
ломись,
когтями ржавые выев.
Пучками черных орлиных перьев
Подбитые падают городовые.

Сдается столицы горящий остов.
По чердакам раскинули поиск.
Минута близко.
На Троицкий мост
вступают толпы войск.

Скрип содрогает устои и скрепы.
Стиснулись.
Бьемся.
Секунда!—
и в лак
заката
с фортов Петропавловской крепости
взвился огнем революции флаг.

Смерть двуглавому!
Шеищи глав
рубите наотмашь!
Чтоб больше не ожил.
Вот он!
Падает!
В последнего из-за угла!— вцепился.
«Боже,
четыре тысячи в лоно твое прими!»

Довольно!
Радость трубите всеми голосами!
Нам
до бога
дело какое?
Сами
со святыми своих упокоим.

Что ж не поете?
Или
души задушены Сибирей саваном?
Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-в-ва нам!

Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.
Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая.

Нам,
Поселянам Земли,
каждый Земли Поселянин родной.

Все
по станкам,
по конторам,
по шахтам братья.
Мы все
на земле
солдаты одной,
жизнь созидающей рати.

Пробеги планет,
держав бытие
подвластны нашим волям.
Наша земля.
Воздух — наш.
Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда,
никогда!
никому,
никому не позволим!
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями отточенных
копий.

Чья злоба на́двое землю сломала?
Кто вздыбил дымы над заревом боен?
Или солнца
одного
на всех мало?!
Или небо над нами мало́ голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серою,
не крики тех, кому есть нечего;
это народа огромного громо́вое:
— Верую
величию сердца человечьего!—

Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!

17 апреля 1917 года, Петроград

СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

Жил да был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта́ в нем красного не было и нету.

Услышит кадет — революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета, и кадетов дед.

Поднялся однажды пребольшущий ветер,
в клочья шапчонку изорвал на кадете.

И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.

Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.

1917

К ОТВЕТУ!

Гремит и гремит войны барабан.
Зовет железо̀ в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.

За что?
Дрожит земля
голодна,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжился Албанией.
Сцепилась злость человечьих свор,
падает на мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.
И растопчут та́м ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.
Во имя чего
сапог
землю растаптывает скрипящ и груб?
Кто над небом боев —
свобода?
бог?
Рубль!
Когда же встанешь во весь свой рост,
ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?

1917

* * *

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
день твой последний приходит, буржуй.

1917

НАШ МАРШ

Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.

Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.

Есть ли наших золот небесней?
Нас ли сжалит пули оса?
Наше оружие — наши песни.
Наше золото — звенящие голоса.

Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет быстролётным коням.

Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взяли живьем.

Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша — медь литавр.

1917

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб.—

Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала!
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,
течет по-своему...
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в ше́рсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть,
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла́,
только
лошадь
рванулась,

встала нá ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

1918

ОДА РЕВОЛЮЦИИ

Тебе,
освистанная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъязвленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
«О»!
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой,
грудой развалин?
Машинисту,
пылью угля овеянному,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человечий труд.
А завтра
Блаженный
стропила соборовы

тщетно возносит, пощаду моля,—
твоих шестидюймовок тупорылые боровы
взрывают тысячелетия Кремля.
«Слава».
Хрипит в предсмертном рейсе.
Визг сирен придушенно тонок.
Ты шлешь моряков
на тонущий крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.
А после!
Пьяной толпой орала.
Ус залихватский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.
Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды!—
и мое,
поэтово
— о, четырежды славься, благословенная!—

1918

ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА

Канителят стариков бригады
канитель одну и ту ж.
Товарищи!
На баррикады!—
баррикады сердец и душ.
Только тот коммунист истый,
кто мосты к отступлению сжег.
Довольно шагать, футуристы,
в будущее прыжок!
Паровоз построить мало —
накрутил колес и утек.
Если песнь не громит вокзала,
то к чему переменный ток?

Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
поя и свища.
Есть еще хорошие буквы:
Эр,
Ша,
Ща.
Это мало — построить пáрами,
распушить по штанине канты.
Все совдепы не сдвинут армий,
если марш не дадут музыканты.
На улицу тащите рояли,
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскрóй ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.
Это что — корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть
и на роскошь чужую
в отдых
осовелыми глазками хлопать.
Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти.
Площади — наши палитры.
Книгой времени
тысячелистой
революции дни не воспеты.
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты!

1918

ПОЭТ РАБОЧИЙ

Орут поэту:
«Посмотреть бы тебя у токарного станка.
А что стихи?
Пустое это!
Небось работать — кишка тонка».

Может быть,
нам
труд
всяких занятий роднее.
Я тоже фабрика.
А если без труб,
то, может,
мне
без труб труднее.
Знаю —
не любите праздных фраз вы.
Рубите дуб — работать дабы.
А мы
не деревообделочники разве?
Голов людских обделываем дубы.
Конечно,
почтенная вещь — рыбачить.
Вытащить сеть.
В сетях осетры б!
Но труд поэтов — почтенный паче —
людей живых ловить, а не рыб.
Огромный труд — гореть над горном,
железа шипящие класть в закал.
Но кто же
в безделье бросит укор нам?
Мозги шлифуем рашпилем языка.
Кто выше — поэт
или техник,
который
ведет людей к вещественной выгоде?
Оба.
Сердца — такие ж моторы.
Душа — такой же хитрый двигатель.
Мы равные.
Товарищи в рабочей массе.
Пролетарии тела и духа.
Лишь вместе
вселенную мы разукрасим
и маршами пустим ухать.
Отгородимся от бурь словесных молом.
К делу!
Работа жива и нова.

А праздных ораторов —
на мельницу!
К мукомолам!
Водой речей вертеть жернова.

1918

ТОЙ СТОРОНЕ

Мы
не вопль гениальничанья —
«все дозволено»,
мы
не призыв к ножовой расправе,
мы
просто
не ждем фельдфебельского
«вольно!»,
чтоб спину искусства размять,
расправить.

Гарцуют скелеты всемирного Рима
на спинах наших.
В могилах мало им.
Так что ж удивляться,
что непримиримо
мы
мир обложили сплошным «долоем».

Характер различен.
За целость Венеры вы
готовы щадить веков камарилью.
Вселенский пожар размочалил нервы.
Орете:
«Пожарных!
Горит Мурильо!»

А мы —
не Корнеля с каким-то Расином —
отца,—
предложи на старье меняться,—

мы
и его
обольем керосином
и в улицы пустим —
для иллюминаций.
Бабушка с дедушкой.
Папа да мама.
Чинопочитанья проклятого тина.
Лачуги рушим.
Возносим дома мы.
А вы нас — «ловить арканом картинок!?»

Мы
не подносим —
«Готово!
На блюде!
Хлебайте сладкое с чайной ложицы!»
Клич футуриста:
были б люди —
искусство приложится.

В рядах футуристов пусто.
Футуристов возраст — призыв.
Изрубленные, как капуста,
мы войн,
революций призы.
Но мы
не зовем обывателей гроба.
У пьяной,
в кровавом пунше,
земли —
смотрите! —
взбухает утроба.
Рядами выходят юноши.
Идите!
Под ноги —
топчите ими —
мы
бросим
себя и свои творенья.
Мы смерть зовем рожденья во имя.
Во имя бега,
паренья,
реянья.

Когда ж
прорвемся сквозь заставы,
и праздник будет за болью боя,—
мы
все украшенья
расставить заставим —
любите любое!

1918

ЛЕВЫЙ МАРШ

(Матросам)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

Там
за горами гóря
солнечный край непочатый.

За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат на́нятой,
стальной изливаются ле́вой,—
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

1918

ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ

Небывалей не было у истории в аннале
факта:
вчера,
сквозь иней,
звеня в «Интернационале»,
Смольный
ринулся
к рабочим в Берлине.
И вдруг
увидели
деятели сыска,
все эти завсегдатаи баров и опер,
триэтажный
призрак
со стороны российской.
Поднялся.
Шагает по Европе.

Обедающие ие успели окоичить обед —
в место это
грохнулся,
и над Аллеей Побед —
зиамя
«Власть Советов».
Напрасно пухлые руки взмóлеиы,—
ие остановить в его иеслышном карьере.
Раздавил
и дальше рннулся Смольиый,
республнк и царств беря барьеры.
И уже
из лоска
тротуарного гляица
Брюсселя,
иатягивая нерв,
росла легенда
про Летучего голландца —
голландца революцнонеров.
А он —
по полям Бельгни,
по рыжнм от кровн полям,
туда,
где гуднт союзиое ржаиье,
метнулся.
Красный встал над Парижем.
Смолкли парижане.
Стоншь и сладостным маршем маиншь.
И вот,
восстанию в лапы óтдана,
рухнула республика,
а он — за Ла-Маиш.
На площадь выводит подвалы Лоидоиа.
А после
пароходы
ннзко-иизко
иад океаном Атлантнческим видели —
пронесся.
К шахтерам калифориийским.
Говорят —
огонь нз зева выделил.
Сих фактов оцеики различиа мерка.
Не верили миогие.

Ловчились в спорах.
А в пятницу
утром
вспыхнула Америка,
землей казавшаяся, оказалась порох.
И если
скулит
обывательская моль нам:
— не увлекайтесь Россией, восторженные дети,—
я
указываю
на эту историю со Смольным.
А этому
я,
Маяковский,
свидетель.

1919

МЫ ИДЕМ

Кто вы?
Мы
разносчики новой веры,
красоте задающей железный тон.
Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,
в небеса шарахаем железобетон.
Победители,
шествуем по свету
сквозь рев стариков злючий.
И всем,
кто против,
советуем
следующий вспомнить случай.
Раз
на радугу
кулаком
замахнулся городовой:
— чего, мол, меня нарядней и чище!—
а радуга
вырвалась
и давай
опять сиять на полицейском кулачище.

Коммунисту ль
распластываться
перед тем, кто старей?
Беречь сохранность насиженных мест?
Это революция
и на Страстном монастыре
начертила:
«Не трудящийся не ест».
Революция
отшвырнула
тех, кто
рушащееся
оплакивал тысячью родов,
ибо знает:
новый грядет архитектор —
это мы,
иллюминаторы завтрашних городов.
Мы идем
нерушимо,
бодро.
Эй, двадцатилетние!
Взываем к вам.
Барабаня,
тащите красок вёдра.
Заново обкрасимся.
Сияй, Москва!
И пускай
с газеты
какой-нибудь выродок
сражается с нами
(не на смерть, а на живот).
Всех младенцев перебили по приказу Ирода;
а молодость,
ничего —
живет.

1919

СОВЕТСКАЯ АЗБУКА

А

Антисемит Антанте мил.
Антанта — сборище громил.

Б

Большевики буржуев ищут.
Буржуи мчатся верст за тыщу.

В

Вильсон важнее прочей птицы.
Воткнуть перо бы в ягодицы.

Г

Гольц фон-дер прет на Ригу. Храбрый!
Гуляй, пока не взят за жабры!

Д

Деникин было взял Воронеж.
Дяденька, брось, а то уронишь.

Е

Европой правит Лига наций.
Есть где воришкам разогнаться!

Ж

Железо куй, пока горячее.
Жалеть о прошлом — дело рачье.

З

Земля собой шарообразная,
За Милюкова — сволочь разная.

И

Интеллигент не любит риска.
И красен в меру, как редиска.

К

Корове трудно бегать быстро.
Керенский был премьер-министром.

Л

Лакеи подают на блюде.
Ллойд-Джордж служил и вышел в люди.

М

Меньшевики такие люди —
Мамашу могут пронудить.

Н

На смену вам пора бы, Носке!
Носки мараются от носки.

О

Ох, спекулянту хоть повеситься!
Октябрь идет. Не любит месяца.

П

Попы занялись делом хлебным —
Погромщиков встречать молебном.

Р

Рим — город и стоит на Тибре.
Румыны смотрят, что бы стибрить.

С

Сазонов послан вновь Деникиным.
Сиди послом, пока не выкинем!

Т

Тот свет — буржуям отдых сладкий
Трамваем *Б* без пересадки!

У

У «правых» лозунг «учредилка».
Ужели жив еще курилка?!

Ф

Фазан красив. Ума ни унции.
Фиуме спьяну взял д'Аннунцио.

Х

Хотят в Москву пробраться Шкуры.
Хохочут утки, гуси, куры.

Ц

Цветы благоухают к ночи.
Царь Николай любил их очень.

Ч

Чалдон на нас шел силой ратной.
Чи не пойдете ли обратно?!!

Ш

Шумел Колчак, что пароход.
Шалишь, верховный! Задний ход!

Щ

Щетина украшает борова.
Щенки Антанты лают здорово.

Э

Экватор мучает испарина.
Эсера смой — увидишь барина.

Ю

Юнцы охочи зря приврать.
Юденич хочет Питер брать.

Я

Японцы, всуе белых учите!
Ярмо микадо нам не всучите.

1919

ОКНА САТИРЫ РОСТА

* * *

1. Рабочий!
Глупость беспартийную выкинь!
Если хочешь жить с другими вразброд —
всех по очереди словит Деникин,
всех сожрет генеральский рот.
2. Если ж на зов партийной недели
придут миллионы с фабрик и с пашен —
рабочий быстро докажет на деле,
что коммунистам никто не страшен.

1919, октябрь

ПЕСНЯ РЯЗАНСКОГО МУЖИКА

1. Не хочу я быть советскай.
Батюшки!
А хочу я жизни светскай.
Матушки!
Походил я в белы страны.
Батюшки!
Мужичков встречают странно.
Матушки!
2. Побывал у Дутова.
Батюшки!
Отпустили вздутого.
Матушки!
3. Я к Краснову, у Краснова —
Батюшки!
Кулачище — сук сосновый.
Матушки!
4. Я к Деникину, а он —
Батюшки!
Бьет крестьян, как фараон.
Матушки!
5. Мамонтов-то генерал —
Батюшки!

Матершинно наорал.
Матушки!
Я ему: «Все люди братья».
Батюшки!
А он: «И братьев буду драть я».
Матушки!
6. Я поддался Колчаку.
Батюшки!
Своротил со скул щеку.
Матушки!
На Украину махнул.
Батюшки!
Думаю, теперь вздохну.
Матушки!
А Петлюра с Киева —
Батюшки!
Уж орет: «Секи его!»
Матушки!
7. Видно, белый ананас —
Батюшки!
Наработан не для нас.
Матушки!
Не пойду я ни к кому,
Батюшки!
Окромя родных Коммун.
Матушки!

1919, октябрь

* * *

1. Оружие Антанты — деньги.
2. Белогвардейцев оружие — ложь.
3. Меньшевиков оружие — в спину нож.
4. Правда,
5. глаза открытые
6. и ружья —
вот коммунистов оружие.

1920, июль

* * *

1. Если жить вразброд,
как махновцы хотят,

2. буржуазия передушит нас, как котят.
3. Что единица?
Ерунда единица!
4. Надо
в партию коммунистическую объединиться.
5. И буржуи,
какими б ни были ярыми,
6. побегут
от мощи
миллионных армий.

1920, июль

ИСТОРИЯ ПРО БУБЛИКИ И ПРО БАБУ, НЕ ПРИЗНАЮЩУЮ РЕСПУБЛИКИ

1. Сья история была
в некоей республике.
Баба на базар плыла,
а у бабы бублики.
2. Слышит топот близ её,
музыкою веется:
бить на фронте пановьё
мчат красноармейцы.
3. Кушать хотца одному,
говорит ей: «Тетя,
бублик дай голодному!
Вы ж на фронт нейдете?!
4. Коль без дела будет рот,
буду слаб, как мощи.
5. Пан республику сожрет,
если будем тощи».
6. Баба молвила: «Ни в жисть
не отдам я бублики!
Прочь, служивый! Отвяжись!
Черта ль мне в республике?!»
7. Шел наш полк и худ и тощ,
паны ж все саженные.
Нас смела панова мощь
в первом же сражении.

8. Мчится пан, и лют и яр,
смерть неся рабочим;
к глупой бабе на базар
влез он между прочим.
9. Видит пан — бела, жирна
баба между публики.
Миг — и съедена она.
И она и бублики.
10. Посмотри, на площадь выйдь —
ни крестьян, ни ситника.
Надо вовремя кормить
красного защитника!
11. Так кормите ж красных рать!
Хлеб неси без вою,
чтобы хлеб не потерять
вместе с головою!

1920, август

КРАСНЫЙ ЕЖ

Голой рукою нас не возьмешь.
Товарищи,— все под ружья!
Красная Армия — Красный еж —
железная сила содружья.
Рабочий на фабрике, куй, как куёшь,
Деникина день сосчитан!
Красная Армия — Красный еж —
верная наша защита.
Крестьяне, спокойно сейте рожь,
час Колчака сосчитан!
Красная Армия — Красный еж —
лучшая наша защита.
Врангель занес на Коммуну нож,
баронов срок сосчитан!
Красная Армия — Красный еж —
не выдаст наша защита.
Назад, генералы, нас не возьмешь!
Наземь кидайте оружье.
Красная Армия — Красный еж —
железная сила содружья.

1920

* * *

1. Каждый прогул —
2. радость врагу.
3. А герой труда —
4. для буржуев удар.

1921, январь

ЧАСТУШКИ

Милкой мне в подарок бурка
и носки пода́рены.
Мчит Юденич с Петербурга
как наскипидаренный.
Мчит Пилсудский, пыль столбом,
стон идет от марша.
Разобьется панским лбом
об Коммуну маршал.
В октябре с небес не пух —
снег с небес вали́тся.
Что-то наш Деникин вспух,
стал он криволицый.

1919—1920

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ!

Я знаю —
не герои
низвергают революций лаву.
Сказка о героях —
интеллигентская чушь!
Но кто ж
удержится,
чтоб славу
нашему не воспеть Ильичу?
Ноги без мозга — вздорны.
Без мозга
рукам нет дела.

Металось
во все стороны
мира безголовое тело.
Нас
продавали на вырез.
Военный вздымался вой.
Когда
над миром вырос
Ленин
огромной головой.
И зе́мли
сели на о́си.
Каждый вопрос — прост.
И выявилось
два
в хао́се
мира
во весь рост.
Один —
животище на животище.
Другой —
непреклонно скалистый —
влил в миллионы тыщи.
Встал
горой мускулистой.

Теперь
не промахнемся мимо.
Мы знаем кого — мети!
Ноги знают,
чьими
трупами
им идти.

Нет места сомненьям и воям.
Долой улитье — «подождем»!
Руки знают,
кого им
крыть смертельным дождем.
Пожарами землю ды́мя,
везде,
где народ испле́нен,

взрывается
бомбой
имя:
Ленин!
Ленин!
Ленин!

И это —
не стихов веере
обмахивать юбиляра уют.—
Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.

Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел —
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

1920

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.

А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце а́ло.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.

В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему,—
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась,—
и степенность
забыв,
сижу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй!—
А вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»

Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

1920

ОТНОШЕНИЕ К БАРЫШНЕ

Этот вечер решал —
не в любовники выйти ль нам?—
темно,
никто не увидит нас.
Я наклонился действительно,
и действительно
я,
наклонясь,
сказал ей,
как добрый родитель:
«Страсти крут обрыв —
будьте добры,
отойдите.
Отойдите,
будьте добры».

1920

ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ

Молнию метнула глазами:
«Я видела —
с тобой другая.
Ты самый низкий,
ты подлый самый...» —
И пошла,
и пошла,
и пошла, ругая.
Я ученый малый, милая,
громыханья оставьте ваши.
Если молния меня не убила —
то гром мне,
ей-богу, не страшен.

1920

* * *

Портсигар в траву
ушел на треть.

И как крышка
блестит
наклонились смотреть
муравьишки всяческие и травишка.
Обалдело дивились
выкрутас монограмме,
дивились сиявшему серебром
полированным,
не стоившие со своими морями и горами
перед делом человечьим
ничего ровно.
Было в диковинку,
слепило зрение им,
ничего не видевшим этого рода.
А портсигар блестел
в окружающее с презрением:
— Эх, ты, мол,
природа!

1920

РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА О ВРАНГЕЛЕ ТОЛКОВАЛА БЕЗ ВСЯКОГО УМА

Старая, но полезная история

Врангель прет.
Отходим мы.
Врангелю удача.
На базаре
две кумы,
вставши в хвост, судачат:
— Кум сказал,—
а в ём ума —
я-то куму верю,—
что барон-то,
слышь, кума,
меж Москвой и Тверью.
Чуть не даром
все
в Твери
стало продаваться.

Пуд крупчатки...
— Ну,
не ври! —
пуд за рупь за двадцать.
— А вина, скажу я вам!
Дух над Тверью водочный.
Пьяных
лично
по домам
водит околоточный.
Влюблены в барона власть
левые и правые.
Ну, не власть, а прямо сласть,
просто — равноправие.

Встали, ртом ловя ворон.
Скоро ли примчится?
Скоро ль будет царь-барон
и белая мучица?

Шел волшебник мимо их.
— На́,— сказал он бабе,—
скороходы-сапоги,
к Врангелю зашла бы! —
Вмиг обувшись,
шага в три
в Тверь кума на это.
Кум сбрехнул ей:
во Твери
власть стоит Советов.
Мчала баба суток пять,
рвала юбки в ветре,
чтоб баронский
увидать
флаг
на Ай-Петри.
Разогнавшись с дальних стран,
удержаться силясь,
баба
прямо
в ресторан
в Ялте опустилась.

В «Гранд-отеле»
семгу жрет
Врангель толсторожий.
Разевает баба рот
на рыбешку тоже.
Метрдотель
желанья те
зрит —
и на подносе
ей
саженный метрдотель
карточку подносит.

Всё в копеечной цене.
Съехал сдуру разум.
Молвит баба:
— Дайте мне
всю программу разом! —

От лакеев мчится пыль.
Прошибает пот их.
Мчат котлеты и супы,
вина и компоты.
Уж из глаз еда течет
у разбухшей бабы!
Наконец-то
просит счет
бабин голос слабый.
Вся собралась публика.
Стали щелкать счеты.
Сто четыре рублика
выведено в счете.
Что такая сумма ей?!
Даром!
С неба манна.
Двести вынула рублей
баба из кармана.

Отскочил хозяин.
— Нет! —
(Бледность мелом в роже.)
Наш-то рупь не в той цене,
наш в миллион дороже.—

Завопил хозяин лют:
— Знаешь разницу валют?!
Беспортошных нету тут,
генералы тута пьют! —
Возопил хозяин в яри:
— Это, тетка, что же!
Этак
каждый пролетарий
жрать захочет тоже.
— Будешь знать, как есть и пить! —
все завыли в злости.
Стал хозяин тетку бить,
метрдотель
и гости.

Околоточный
на шум
прибежал из части.
Взвыла баба:
— Ой,
прошу,
защитите, власти! —
Как подняла власть сия
с шпорой сапожища...
Как полезла
мигом
вся
вспять
из бабы пища.

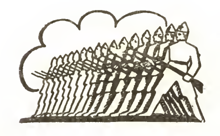
— Много,— молвит,— благ в Крыму
только для буржуя,
а тебя,
мою куму,
в часть препровожу я.—

Влезла
тетка
в скороход
пред тюремной дверью,
как задала тетка ход —
в Эрэсэфэсэрью.

Бабу видели мою,
наши обыватели?
Не хотите
                    в том раю
сами побывать ли?!

1920

СКАЗКА О ДЕЗЕРТИРЕ, УСТРОИВШЕМСЯ НЕДУРНЕНЬКО, И О ТОМ, КАКАЯ УЧАСТЬ ПОСТИГЛА ЕГО САМОГО И СЕМЬЮ ШКУРНИКА



Хоть пока
          победила
                    крестьянская рать,
хоть пока
          на границах мир,
но не время
          еще
                    в землю штык втыкать,
красных армий
          ряды крепи!
Чтоб вовеки
          не смел
                    никакой Керзон
брать на пушку,
          горланить ноты,—

даже землю паша,
помни
сабельный звон,
помни
марш
атакующей
роты.
Молодцом
на коня боевого влазь,
по земле
пехотинься пеший.
С неба
землю всю
глазами огладь,
на железного
коршуна
севши.
Мир пока,
но на страже
красных годов
стой
на нашей
красной вышке.
Будь смел.
Будь умел.
Будь
всегда
готов
первым
ринуться
в первой вспышке.
Кто
из вас
не крещен
военным огнем,
кто считает,
что шкурнику
лучше?
Прочитай про это,
подумай о нем,
вникни
в этот сказочный случай.

Защищая
рабоче-крестьянскую Русь,
встали
фронтами
красноармейцы.
Но — как в стаде
овца паршивая —
трус
и меж их
рядами
имеется.

Жил
в одном во полку
Силеверст Рябой.
Голова у Рябого —
пробкова.
Чуть пойдет
наш полк
против белых
в бой,



а его
и не видно,
робкого.



Дело ясное:
бьется рать,
горяча,
против
барско-буржуйского ига.
У Рябого ж
слово одно:
«Для ча
буду
я
на рожон прыгать?»





Встал стеною полк,
фронт раскинул
свой.
Силеверст
стоит в карауле.



Подымает
пуля за пулей
вой.
Силеверст
испугался пули.
Дома
печь да щи.
Замечтал
Силеверст.





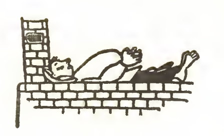
Бабья
рожа
встала
из воздуха.
Да как дернет Рябой!
Чуть не тыщу верст



пробежал
без единого
роздыха.
Вот и холм,
и там
и дом за холмом,
будет
дома
в скором времечке.
Вот и холм пробежал,
вот плетень
и дом,
вот
жена его
лускает
семечки.



Прибежал,
пошел лобызаться
с женой,
чаю выдул —
стаканов до тыщи:



задремал,
заснул
и храпит,
как Ной,—
с ГПУ,
и то
не сыщешь.



А на фронте
враг
видит:
полк с дырой,
враг
пролазит
щелью этою.
А за ним
и золотозадый
рой
лезет в дырку,
блестит эполетою.



Поп,
урядник —
сивуха
течет по усам,
с ним —
петля
и прочие вещи.
Между ними —
царь,
самодержец сам,
за царем —
кулак
да помещик.



Лезут,
в радости,
аж не чуют ног,
где
и сколько занято мест ими?!

Пролетария
гнут в бараний рог,
сыпят
в спину крестьян
манифестами.
Отошла
земля
к живоглотам
назад,
наложили
нало́жища
тяжкие.



Лишь свистит
в урядничьей ручке
лоза́ —
знай, всыпает
и в спину
и в ляжки.



Улизнувшие
бары
едут в дом.



Мчит буржуй.
Не видали три года, никак.
Снова
школьника
поп
обучает крестом —
уважать заставляет
угодников.



В то село пришли,
где храпел
Силеверст.
Видят —
выглядит
дом
аккуратненько.





Тычет
в хату Рябого
исправничий
перст,
посылает занять
урядника.



Дурню
снится сон:
де в раю живет
и галушки
лопает тыщами.
Вдруг
как хватит
его
крокодил
за живот!



То урядник
хватил
сапожищами.



«Как ты смеешь спать,
такой рассякой,
мать твою растак
да разэтак!
Я тебя запорю,
я тебя засеку!
и повешу
тебя
напоследок!» —
«Барин!» —
взвыл Силеверст,
а его
кнутом



хвать помещик
по сытой роже.

«Подавай
и себя,
и поля,
и дом,
и жену
помещику
тоже!»
И пошел
прошибать
Силеверста
пот,
вновь
припомнил
барщины мýку,



а жена его
на дворе
у господ
грудью
кормит
барскую суку.



Сей истории
простъ
и ясен сказ,—
посмотри,
как наказаны дурни;



чтобы то же
не стряслось и у вас,—
да не будет
меж вами
шкурник.
Ныне
сына
даем
не царям на зарез,—
за себя
этот бо́ище
начат.
Провожая
рекрутов
молодолес,
провожай поя,
а не плача.
Чтоб помещики
вновь
не взнуздали вас,
не в пример
Силеверсту-бедняге,—
провожая
сынов,
давайте наказ:

будьте
верными
красной присяге.

1920—1923

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Слава тебе, краснозвездный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи,—
телами рвы заполняли вы,
по трупам перейдя перешеек.
Они
за окопами взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою,—
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава,—
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем —
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.
В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава.
Во веки веков, товарищи,
вам —
слава, слава, слава!

1920—1921

О ДРЯНИ

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!

К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать,
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка áла.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

1920—1921

ДВА НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫХ СЛУЧАЯ

Ежедневно
как вол жуя,
стараясь за строчки драть,—
я
не стану писать про Поволжье:

про ЭТО —
страшно врать.
Но я голодал,
и тысяч лучше я
знаю проклятое слово — «голодные!».
Вот два,
не совсем обычные, случая,
на ненависть к голоду самые годные.

Первый.—
Кто из петербуржцев
забудет 18-й год?!
Над дохлым лошадьем воро́ны кружатся.
Лошадь за лошадью падает на лед.
Заколачиваются улицы ровные.
Хвостом виляя,
на перекрестках
собаки дрессированные
просили милостыню, визжа и лая.
Газетам писать не хватало духу —
но это ж передавалось изустно:
старик
удушил
жену-старуху
и ел частями.
Злился —
невкусно.
Слухи такие
и мрущим от голода,
и сытым сумели глотки свесть.
Из каждой по́ры огромного города
росло ненасытное желание есть.
От слухов и голода двигаясь еле,
раз
сам я,
с голодной тоской,
остановился у витрины Эйлерса —
цветочный магазин на углу Морской.
Малы — аж не видно! — цветочные точки,
нули ж у цен
необъятны длиною!
По булке, должно быть, в любом лепесточке.

И вдруг,
смотрю,
меж витриной и мною —
фигурка человечья.
Идет и валится.
У фигурки конская голова.
Идет.
И в собственные ноздри
пальцы
воткнула.
Три или два.
Глаза открытые мухи обсели,
а сбоку
жила из шеи торчала.
Из жилы
капли по улицам сеялись
и стыли черно́, кровенея сначала.
Смотрел и смотрел на ползущую тень я,
дрожа от сознанья невыносимого,
что полуживотное это —
виденье! —
что это
людей вымирающих символ.
От этого ужаса я — на попятный.
Ищу машинально чернеющий след.
И к туше лошажьей приплелся по пятнам.
Где ж голова?
Головы и нет!
А возле
с каплями крови присохлой,
блестел вершок перочинного ножичка —
должно быть,
тот
работал над дохлой
и толстую шею кромсал понемножечко.
Я понял:
не символ,
стихом позолоченный,
людская
реальная тень прошагала.
Быть может,
завтра вот так же точно
я здесь заработаю, скалясь шакалом.

Второй.—
Из мелочн выросло в это.
Май стоял.
Позапрошлое лето.
Весною ширнщь ноздри н рот,
ловя бульваров дыханье липовое.
Я голодал,
и с другимн
в черед
встал у бывшей кофейни Филнппова я.
Лет пять, должно быть, не был там,
а память шепчет еле:
«Тогда
в кафе
журчал фонтан
н плавалн форелн».
Вздуваемый памятью рос аппетнт;
какой нн на есть,
но по крайней мере —
обед.
Как медленно время летнт!
И вот
я втнснут в кафейные двери.
Снделн
с селедкой во рту и в посуде,
в селедке рубахи,
н воздух в селедке.
На черта ж весна,
еслн с улнц
люди
от лнп
сюда влнпают все-таки!
Едят,
дрожа от голода голого,
вдыхают радостью душнще едкий,
а ннщие молят:
подайте головы.
Дерясь, получают селедок объедкн.

Кто б вспомннл народа росснйского имя,
когда б не бросалн хребты нм в горсточкн?!

Народ бы российский
сегодня же вымер,
когда б не нашлось у селедки косточки.
От мысли от этой
сквозь грызшихся кучку,
громя кулаком по ораве зверьей,
пробился,
схватился,
дернул за ручку —
и выбег,
селедкой обмазан —
об двери.

Не знаю,
душа пропахла,
рубаха ли,
какими водами дух этот смою?
Полгода
звезды селедкою пахли,
лучи рассыпая гнилой чешуею.
Пускай,
полусытый,
доволен я ныне:
так, может, и кончусь, голод не видя,—
к нему я
ненависть в сердце вынянчил,
превыше всего его ненавидя.
Подальше прочую чушь забрось,
когда человека голодом сводит.
Хлеб! —
вот это земная ось:
на ней вертеться и нам и свободе.
Пусть бабы баранки на Трубной нижут,
и ситный лари Смоленского ломит,—
я день и ночь Поволжье вижу,
солому жующее, лежа в соломе.

Трубите ж о голоде в уши Европе!
Делитесь и те, у кого немного!
Крестьяне,
ройте пашен окопы!

Стреляйте в него
мешками налога!
Гоните стихом!
Тесните пьесой!
Вперед врачей целебных взводы!
Давите его дымовою завесой!
В атаку, фабрики!
В ногу, заводы!
А если
воплю голодных не внемлешь,—
чужды чужие голод и жажда вам,—
он
завтра
нагрянет на наши земли ж
и встанет здесь
за спиною у каждого!

1921

СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ

Сапоги почистить — 1 000 000.
Состояние!
Раньше б дом купил —
и даже неплохой.

Привыкли к миллионам.
Даже до луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня черт
писать один отчет.
«Что это такое?» —
спрашивает с тоскою
машинистка.
Ну, что отвечу ей?!
Черт его знает, что это такое,
если сзади
у него
тридцать семь нулей.

Недавно уверяла одна дура,
что у нее
тридцать девять тысяч семь сотых температура.
Так привыкли к этаким числам,
что меньше сажени число и не мыслим.
И нам,
если мы на митинге ревем,
рамки арифметики, разумеется, у́зки —
все разрешаем в масштабе мировом.
В крайнем случае — масштаб общерусский.
«Электрификация?!» — масштаб всероссийский.
«Чистка!» — во всероссийском масштабе.
Кто-то
даже,
чтоб избежать переписки,
предлагал —
сквозь землю
до Вашингтона кабель.

Иду.
Мясницкая.
Ночь глуха.
Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.
Сзади с тележкой баба.
С вещами
на Ярославский
хлюпает по ухабам.
Сбивают ставшие в хвост на галоши;
то грузовик обдаст,
то лошадь.
Балансируя
— четырехлетний навык! —
тащусь меж канавищ,
канав,
канавок.
И то
— на лету вспоминая маму —
с размаху
у почтамта
плюхаюсь в яму.
На меня тележка.
На тележку баба.
В грязи ворочаемся с боку на́ бок.

Что бабе масштаб грандиозный наш?!
Бабе грязью обдало рыло,
и баба,
взбираясь с этажа на этаж,
сверху
и меня
и власти крыла.
Правдив и свободен мой вещий язык
и с волей советскою дружен,
но, натолкнувшись на эти низы,
даже я запнулся, сконфужен.
Я
на сложных агитвопросах рос,
а вот
не могу объяснить бабе,
почему это
о грязи
на Мясницкой
вопрос
никто не решает в общемясницком масштабе?!

1921

ПРИКАЗ № 2 АРМИИ ИСКУССТВ

Это вам —
упитанные баритоны —
от Адама
до наших лет,
потрясающие театрами именуемые притоны
ариями Ромеов и Джульетт.

Это вам —
пиитры,
раздобревшие как кони,
жрущая и ржущая России краса,
прячущаяся мастерскими,
по-старому драконя
цветочки и телеса.
Это вам —
прикрывшиеся листиками мистики,

лбы морщинками изрыв —
футуристики,
имажинистики,
акмеистики,
запутавшиеся в паутине рифм.
Это вам —
на растрепанные сменившим
гладкие прически,
на лапти — лак,
пролеткультцы,
кладущие заплатки
на вылинявший пушкинский фрак.
Это вам —
пляшущие, в дуду дующие,
и открыто предающиеся,
и грешащие тайком,
рисующие себе грядущее
огромным академическим пайком.
Вам говорю
я —
гениален я или не гениален,
бросивший безделушки
и работающий в Росте,
говорю вам —
пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!

Бросьте!
Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мелехлюндии
из арсеналов искусств.
Кому это интересно,
что — «Ах, вот бедненький!
Как он любил
и каким он был несчастным...»?
Мастера,
а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам.

Слушайте!
Паровозы стонут,
дует в щели и в пол:
«Дайте уголь с Дону!
Слесарей,
механиков в депо!»

У каждой реки на истоке,
лежа с дырой в боку,
пароходы провыли доки:
«Дайте нефть из Баку!»
Пока канителим, спорим,
смысл сокровенный ища:
«Дайте нам новые формы!» —
несется вопль по вещам.

Нет дураков,
ждя, что выйдет из уст его,
стоять перед «маэстрами» толпой разинь.

Товарищи,
дайте новое искусство —
такое,
чтобы выволочь республику из грязи.

1921

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени óна».—
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
гóло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя нá ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорóгой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, орý.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Оне на двух заседаниях сразу.

В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

1922

СВОЛОЧИ!

Гвоздимые строками,
стойте не́мы!
Слушайте этот волчий вой,
еле прикидывающийся поэмой!
Дайте сюда
самого жирного,
самого плешивого!
За шиворот!
Ткну в отчет Помгола.
Смотри!
Видишь —
за цифрой голой...

Ветер рванулся.
Рванулся и тише...
Снова снегами огрёб
тысяче-
миллионнокрыший
волжских селений гроб.
Трубы —
гробовые свечи.

Даже во́роны
исчезают,
чуя,
что, дымя́сь,
тянется
слащавый,
тошнотворный
дух
зажариваемых мяс.
Сына?
Отца?
Матери?
Дочери?
Чья?!
Чья в людоедчестве очередь?!.

Помощи не будет!
Отрезаны снегами.
Помощи не будет!
Воздух пу́ст.
Помощи не будет!
Под ногами
даже глина сожрана,
даже куст.

Нет,
не помогут!
Надо сдаваться.
В 10 губерний могилу вы́меряйте!
Двадцать
миллионов!
Двадцать!
Ложитесь!
Вымрите!..

Только одна,
осипшим голосом,
сумасшедшие проклятия метелями меля,
рек,
дорог снеговые волосы
ветром рвя, рыдает земля.

Хлеба!
Хлебушка!
Хлебца!

Сам смотрящий смерть воочию,
еле едящий,
только б не сдох,—
тянет город руку рабочую
горстью сухих крох.

«Хлеба!
Хлебушка!
Хлебца!»
Радио ревет за все границы.
И в ответ
за нелепицей нелепица
сыплется в газетные страницы.

«Лондон.
Банкет.
Присутствие короля и королевы.
Жрущих — не вместишь в раззолоченные
хлевы».

Будьте прокляты!
Пусть
за вашей головою ве́нчанной
из колоний
дикари придут,
питаемые человечиной!
Пусть
горят над королевством
бунтов зарева!
Пусть
столицы ваши
будут выжжены дотла!
Пусть из наследников,
из наследниц варево
варится в коронах-котлах!

«Париж.
Собрались парламентарии.
Доклад о голоде.
Фритиоф Нансен.
С улыбкой слушали.
Будто соловьиные арии.
Будто тенора слушали в модном романсе».

Будьте прокляты!
Пусть
вовеки
вам
не слышать речи человечьей!
Пролетарий французский!
Эй,
стягивай петлею вместо речи
толщь непроходимых шей!

«Вашингтон.
Фермеры,
доевшие,
допившие
до того,
что лебедками подымают пузы,
в океане
пшеницу
от излишества топившие,—
топят паровозы грузом кукурузы».

Будьте прокляты!
Пусть
ваши улицы
бунтом будут запру́жены.
Выбрав
место, где более больно,
пусть
по Америке —
по Северной,
по Южной —
гонят
брюх ваших
мячище футбольный!

«Берлин.
Оживает эмиграция.
Банды радуются:
с голодными драться им.
По Берлину,
закручивая усики,
ходят,
хвастаются:
— Патриот!
Русский!»

Будьте прокляты!
Вечное «вон!» им!
Всех отвращая иудьим видом,
французского золота преследуемые звоном,
скитайтесь чужбинами Вечным жи́дом!
Леса российские,
соберитесь все!
Выберите по самой большой осине,
чтоб образ ихний
вечно висел,
под самым небом качался, синий.

«Москва.
Жалоба сборщицы:
в «Ампирах» морщатся
или дадут
тридцатирублевку,
вышедшую из употребления в 1918 году».

Будьте прокляты!
Пусть будет так,
чтоб каждый проглоченный
глоток
желудок жёг!
Чтоб ножницами оборачивался бифштекс
сочный,
вспарывая стенки кишок!

Вымрет.
Вымрет 20 миллионов человек!
Именем всех упокоенных тут —
проклятие отныне,
проклятие вовек
от Волги отвернувшим морд толстоту.
Это слово не к жирному пузу,
это слово не к царскому трону,—
в сердце таком
слова ничего не тронут:
трогают их революций штыком.

Вам,
несметной армии частицам малым,
порох мира,

силой чьей,
силой,
брошенной по всем подвалам,
будет взорван
мир несметных богачей!
Вам! Вам! Вам!
Эти слова вот!
Цифрами верстовыми,
вмещающимися едва,
запишите Волгу буржуазии в счет!

Будет день!
Пожар всехсветный,
чистящий и чадный.
Выворачивая богачей палаты,
будьте так же,
так же беспощадны
в этот час расплаты!

1922

БЮРОКРАТИАДА

Прабабушка бюрократизма

Бульвар.
Машина.
Сунь пятак —
что-то повертится,
пошипит гадко.
Минуты через две,
приблизительно так,
из машины вылазит трехкопеечная
шоколадка.
Бараны!
Чего разглазелись кучей?!
В магазине и проще,
и дешевле,
и лучше.

Вчерашнее

Черт,
сын его
или евонный брат,
расшутившийся сверх всяких мер,

раздул машину в миллиарды крат
и расставил по всей РСФСР.
С ночи становятся людей тени.
Тяжелая — подъемный мост! —
скрипит,
глотает дверь учреждений
извивающийся человечий хвост.

Дверь разгорожена.
Еще не узка́ им!
Через решетки канцелярских баррикад,
вырвав пропуск, идет пропускаемый.
Разлилась коридорами человечья река.

(Первый шип —
первый вой —
«С очереди сшиб!»
«Осади без трудовой!»)

— Ищите и обрящете,—
пойди и «рящь» ее! —
которая «входящая» и которая «исходящая»?!
Обрящут через час-другой.
На рупь бумаги — совсем ма́ло!—
всовывают дрожащей рукой
в пасть входящего журнала.
Колесики завертелись.
От дамы к даме
пошла бумажка, украшаясь номерами.

От дам бумажка перекинулась к секретарше.
Шесть секретарш от младшей до старшей!
До старшей бумажка дошла в обед.
Старшая разошлась.
Потерялся след.
Звезды считать?
Сойдешь с ума!
Инстанций не считаю — плавай сама!
Бумажка плыла, шевелилась еле.
Лениво ворочались машины валы.
В карманы тыкалась,
совалась в портфели,
на полку ставилась,
клалась в столы.

Под грудой таких же
столами коллегий
ждала,
когда подымут ввысь ее,
и вновь
под сукном
в многомесячной неге
дремала в тридцать третьей комиссии.

Бумажное тело сначала толстело.
Потом прибавились клипсы-лапки.
Затем бумага выросла в «дело» —
пошла в огромной синей папке.
Зав ее исписал на славу,
от зава к замзаву вернулась вспять,
замзав подписал,
и обратно
к заву
вернулась на подпись бумага опять.
Без подписи места не сыщем под ней мы,
но вновь
механизм
бумагу волок,
с плеча рассыпая печати и клейма
на каждый
чистый еще
уголок.
И вот,
через какой-нибудь год,
отверз журнал исходящий рот.
И, скрипнув перьями,
выкинул вон
бумаги негодной — на миллион.

Сегодняшнее

Высунув языки,
разинув рты,
носятся нэписты
в рьяни,
в яри...
А посередине
высятся

недоступные форты,
серые крепости советских канцелярий.
С угрозой выдвинув пики-перья,
закованные в бумажные латы,
работали канцеляристы,
когда
в двери
бумажка втиснулась:
«Сокращай штаты!»
Без всякого волнения,
без всякой паники
завертелись колеса канцелярской механики.
Один берет.
Другая берет.
Бумага взад.
Бумага вперед.
По проторенному другими следу
через замзава проплыла к преду.
Пред в коллегию внес вопрос:
«Обсудите!
Аппарат оброс».

Все в коллегии спорили стойко.
Решив вести работу рысью,
немедленно избрали тройку.
Тройка выделила комиссию и подкомиссию.
Комиссию распирала работа.
Комиссия работала до четвертого пота.
Начертили схему:
кружки и линии,
которые красные, которые синие.
Расширив штат сверхштатной сотней,
работали и в праздник и в день субботний.
Согнулись над кипами,
расселись в ряд,
щеголяют выкладками,
цифрами пещрят.
Глотками хриплыми,
ртами пенными
вновь вопрос подымался в пленуме.
Все предлагали умно и трезво:
«Вдвое урезывать!»
«Втрое урезывать!»

Строчил секретарь —
от работы в мыле:
постановили — слушали,
слушали — постановили...
Всю ночь,
над машинкой склонившись низко,
резолюции переписывала и переписывала машинистка.
И...
через неделю
забредшие киски
играли листиками из переписки.

Моя резолюция

По-моему,
это
— с другого бочка —
знаменитая сказка про белого бычка.

Конкретное предложение

Я,
как известно,
не делопроизводитель.
Поэт.
Канцелярских способностей у меня нет.
Но, по-моему,
надо
без всякой хитрости
взять за трубу канцелярию
и вытрясти.
Потом
над вытряхнутыми
посидеть в тиши,
выбрать одного и велеть:
«Пиши!»
Только попросить его:
«Ради бога,
пиши, товарищ, не очень много!»

1922

МОЯ РЕЧЬ НА ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Не мне российская делегация вверена,
Я —
самозванец на конференции Генуэзской.
Дипломатическую вежливость товарища Чичерина
дополню по-моему —
просто и резко.
Слушай!
Министерская компанийка!
Нечего заплывшими глазками мерцать.
Сквозь фраки спокойные вижу —
паника
трясет лихорадкой ваши сердца.
Неужели
без смеха
думать в силе,
что вы
на конференцию
нас пригласили?
В штыки бросаясь на Перекоп идти,
мятежных склоняя под красное знамя,
трудом сгибаясь в фабричной копоти,—
мы знали —
заставим разговаривать с нами.
Не просьбой просителей язык замер,
не нищие, жмурящиеся от господского света,—
мы ехали, осматривая хозяйскими глазами
грядущую
Мировую Федерацию Советов.
Болтают язычишки газетных строк:
«Испытать их сначала...»
Хватили лишку!
Не вы на испытание даете срок —
а мы на время даем передышку.
Лишь первая фабрика взвила дым —
враждой к вам
в рабочих
вспыхнули души.
Слюной ли речей пожары вражды
на конференции
нынче
затушим?!

Долги наши,
каждый медный грош,
считают «Матэны»,
считают «Таймсы».
Считаться хотите?
Давайте!
Что ж!
Посчитаемся!
О вздернутых Врангелем,
о расстрелянном,
о заколотом
память на каждой крымской горе.
Какими пудами
какого золота
опла́тите это, господин Пуанкаре?
О вашем Колчаке — Урал спроси́те!
Зверством — аж горы вгонялись в дрожь.
Каким золотом —
хватит ли в Сити?! —
оплатите это, господин Ллойд-Джордж?
Вонзите в Волгу ваше зрение:
разве этот
голодный ад,
разве это
мужицкое разорение —
не хвост от ваших войн и блокад?
Пусть
кладби́щами голодной смерти
каждый из вас протащится сам!
На каком —
на железном, что ли, эксперте
не встанут дыбом волоса?
Не защититесь пунктами резолюций-плотин.
Мировая —
ночи пальбой веселя —
революция будет —
и велит:
«Плати
и по этим российским векселям!»
И розовые краснеют мало-помалу.
Тише!
Не дыша!

Слышите
из Берлина
первый шаг
трех Интернационалов?
Растя единство при каждом ударе,
идем.
Прислушайтесь —
вздрагивает здание.

Я кончил.
Милостивые государи,
можете продолжать заседание.

1922

ГЕРМАНИЯ

Германия —
это тебе!
Это не от Рапалло.
Не наркомвнешторжьим я расчетам внял.
Никогда,
никогда язык мой не трепала
комплиментщины официальной болтовня.
Я не спрашивал,
Вильгельму,
Николаю прок ли,—
разбираться в дрязгах царственных не мне.
Я
от первых дней
войнищу эту проклял,
плюнул рифмами в лицо войне.
Распустив демократические слюни,
шел Керенский в орудийном гуле.
С теми был я,
кто в июне
отстранял
от вас
нацеленные пули.
И, когда стянув полков ободья,
сжали горла вам французы и британцы,
голос наш
взвивался песней о свободе,
руки фронта вытянул брататься.

Сегодня
хожу
по твоей земле, Германия,
и моя любовь к тебе
расцветает романнее и романнее.
Я видел —
цепенеют верфи на Одере,
я видел —
фабрики сковывает тишь.
Пусть,—
не верю,
что на смертном одре
лежишь.
Я давно
с себя
лохмотья наций скинул.
Нищая Германия,
позволь
мне,
как немцу,
как собственному сыну,
за тебя твою распе́снить боль.

Рабочая песнь

Мы сеем,
мы жнем,
мы куем,
мы прядем,
рабы всемогущих Стиннесов.
Но мы не мертвы.
Мы еще придем.
Мы еще наметим и кинемся.
Обернулась шибером,
улыбка на морде,—
история стала.
Старая врет.
Мы еще придем.
Мы пройдем из Норденов
сквозь Вильгельмов пролет Бранденбургских ворот.
У них долла́ры.
Победа дала.
Из унтерденлиндских отелей
ползут,

вгрызают в горло долла́р,
пируют на нашем теле.
Терпите, товарищи, расплаты во имя...
За все —
за войну,
за после,
за раньше,
со всеми,
с ихними
и со своими
мы рассчитаемся в Красном реванше...

На глотке колено.
Мы — зверьи рычим.
Наш голос судорогой не́мится...
Мы знаем, под кем,
мы знаем, под чьим
еще подымутся немцы.
Мы
еще
извеселим берлинские улицы.
Красный флаг,—
мы зажда́лись —
вздымайся и рей!
Красной песне
из окон каждого Шульца
откликайся,
свободный
с Запада
Рейн.

Это тебе дарю, Германия!
Это
не долларов тыщи,
этой песней счёта с голодом не свесть.
Что ж,
и ты
и я —
мы оба нищи,—
у меня
это лучшее из всего, что есть.

1922—1923

О ПОЭТАХ

**Стихотворение это —
одинаково полезно и для редактора
и для поэтов**

Всем товарищам по ремеслу:
несколько идей
о «прожигании глаголами сердец
людей».

Что поэзия?!
Пустяк.
Шутка.
А мне от этих шуточек жутко.

Мысленным оком окидывая Федерацию —
готов от боли визжать и драться я.
Во всей округе —
тысяч двадцать поэтов изогнулися в дуги.
От жизни сидячей высохли в жгут.
Изголодались.
С локтями голыми.
Но денно и нощно
жгут и жгут
сердца неповинных людей «глаголами».
Написал.
Готово.
Спрашивается — прожёг?
Прожёг!
И сердце и даже бок.
Только поймут ли поэтические стада,
что сердца
сгорают —
исключительно со стыда.
Посудите:
сидит какой-нибудь верзила
(мало ли слов в России есть?!).
А он
вытягивает,
как булавку из ила,
пустяк,
который полегше зарифмоплесть.

А много ль в языке такой чуши,
чтоб сама
колокольчиком
лезла в уши?!!
Выберет...
и опять отчесывает вычески,
чтоб образ был «классический»,
«поэтический».
Вычешут...
и опять кряхтят они:
любят ямбы редакторá лающиеся.
А попробуй
в ямб
пойди и запихни
какое-нибудь слово,
например, «млекопитающееся».
Потеют как следует
над большим листом.
А только сбоку
на узеньком клочочке
коротенькие строчки растянулись глистом.
А остальное —
одни запятые да точки.
Хороший язык взял да и искрошил,
зря только на обучение тратились гроши.
В редакции
поэтов банда такая,
что у редактора хронический разлив жёлчи.
Банду локтями,
дверями толкают,
курьер орет: «Набилось сволочи!»
Не от мира сего —
стоят молча.
Поэту в редкость удачи лучи.
Разве что редактор заталмудится слишком,
и врасплох удастся ему всучить
какую-нибудь
позапрошлогоднюю
залежавшуюся «веснишку».
И, наконец,
выпускающий,
над чушью фыркая,
режет набранное мелким петитиком

и затыкает стихами дырку за дыркой,
на горе родителям и на радость критикам.
И лезут за прибавками наборщик и наборщица.
Оно понятно —
набирают и морщатся.

У меня решение одно отлежалось:
помочь людям.
А то жалость!
(Особенно предложение пригодилось к весне б,
когда стихом зачитывается весь нэп.)
Я не против такой поэзии.
Отнюдь.
Весною тянет на меланхолическую нудь.
Но долой рукоделие!
Что может быть старей
кустарей?!
Как мастер этого дела
(ко мне не прице́питесь)
сообщу вам об универсальном рецепте-с.
(Новость та,
что моими мерами
поэты заменяются редакционными курьерми.)

Рецепт

(Правила простые совсем:
всего — семь.)
1. Берутся классики,
свертываются в трубку
и пропускаются через мясорубку.
2. Что получится, то
откидывают на решето.
3. Откинутое выставляется на вольный дух.
(Смотри, чтоб на «образы» не насело мух!)
4. Просушиваемое перетряхивается еле
(чтоб мягкие знаки чересчур не затвердели).
5. Сушится (чтоб не успело переве́чниться)
и сыпется в машину:
обыкновенная перечница.
6. Затем
раскладывается под машиной
липкая бумага
(для ловли мушиной).

7. Теперь просто:
вертн ручку,
да смотри, чтоб рифмы не сбились в кучку!
(Чтоб «кровь» к «любовь»,
«тень» ко «дню»,
чтоб шли аккуратненько
одна через одну.)

Полученное вынь и...
готово к употреблению:
к чтению,
к декламированию,
к пению.

А чтоб поэтов от безработной меланхолии
вылечить,
чтоб их не тянуло портить бумажки,
отобрать их от добрейшего Анатолия
Васильича
и передать
товарищу Семашке.

1923

О «ФИАСКАХ», «АПОГЕЯХ» И ДРУГИХ НЕВЕДОМЫХ ВЕЩАХ

На съезде печати
у товарища Калинина
великолепнейшая мысль в речь вклинена:
«Газетчики,
думайте о форме!»
До сих пор мы
не подумали об усовершенствовании статейной формы.
Товарищи газетчики,
СССР оглазейте,—
как понимается описываемое в газете.

Акуловкой получена газет связка.
Читают.
В буквы глаза втыкают.
Прочли:
— «Пуанкаре терпит фиаско».—
Задумались.

Что это за «фиаска» за такая?
Из-за этой «фиаски»
грамотей Ванюха
чуть не разодрался:
— Слушай, Петь,
с «фиаской» востро́ держи ухо:
даже Пуанкаре приходится его терпеть.
Пуанкаре не потерпит какой-нибудь клячи.
Даже Стиннеса —
и то! —
прогнал из Рура.
А этого терпит.
Значит, богаче.
Американец, должно́.
Понимаешь, дура?! —

С тех пор,
когда самогонщик,
местный туз,
проезжал по Акуловке, гремя коляской,
в уважение к богатству,
скидава́я картуз,
его называли —
Господином Фиаской.

Последние известия получили красноармейцы.
Сели.
Читают, газетиной вея.
— О французском наступлении в Руре имеется?
— Да, вот написано:
«Дошли до своего апогея».
— Товарищ Иванов!
Ты ближе.
Эй!
На карту глянь!
Что за место такое:
А-п-о-г-е-й? —
Иванов ищет.
Дело дрянь.
У парня
аж скулу от напряжения свело.
Каждый город просмотрел,
каждое село.
«Эссен есть —
Апогея нету!

Деревушка махонькая, должно быть, это.
Верчусь —
аж дыру провертел в сапоге я —
не могу найти никакого Апогея!»
Казарма
малость
посовещалась.
Наконец —
товарищ Петров взял слово:
— Сказано: до **своего** дошли.
Ведь не до **чужого**?!
Пусть рассеется сомнений дым.
Будь он селом или градом,
своего «апогея» никому не отдадим,
а чужих «апогеев» — нам не надо.—

Чтоб мне не писать, впустую оря,
мораль вывожу тоже:
то, что годится для иностранного словаря,
газете — не гоже.

1923

ПАРИЖ

(Разговорчики с Эйфелевой башней)

Обшаркан мильоном ног.
Исшелестен тыщей шин.
Я борозжу Париж —
до жути одинок,
до жути ни лица,
до жути ни души.
Вокруг меня —
авто фантастят танец,
вокруг меня —
из зверорыбьих морд —
еще с Людовиков
свистит вода, фонтанясь.
Я выхожу
на Place de la Concorde [1].
Я жду,

[1] Площадь Согласия *(фр.)*.

пока,
подняв резную главку,
домовьей слежкою ума́яна,
ко мне,
к большевику,
на явку
выходит Эйфелева из тумана.
— Т-ш-ш-ш,
башня,
тише шлепайте! —
увидят! —
луна — гильотинная жуть.
Я вот что скажу
(пришипился в шепоте,
ей
в радиоухо
шепчу,
жужжу):
— Я разагитировал вещи и здания.
Мы —
только согласия вашего ждем.
Башня —
хотите возглавить восстание?
Башня —
мы
вас выбираем вождем!
Не вам —
образцу машинного гения —
здесь
таять от аполлинеровских вирш.
Для вас
не место — место гниения —
Париж проституток,
поэтов,
бирж.
Метро согласились,
метро со мною —
они
из своих облицованных нутр
публику выплюнут —
кровью смоют
со стен
плакаты духов и пудр.

Они убедились —
не ими литься
вагонам богатых.
Они не рабы!
Они убедились —
им
более к лицам
наши афиши,
плакаты борьбы.
Башня —
улиц не бойтесь!
Если
метро не выпустит уличный грунт —
грунт
исполосуют рельсы.
Я подымаю рельсовый бунт.
Боитесь?
Трактиры заступятся стаями?
Боитесь?
На помощь придет Рив-гош [1].
Не бойтесь!
Я уговорился с мостами.
Вплавь
реку
переплыть
не легко ж!
Мосты,
распалясь от движения злого,
подымутся враз с парижских боков.
Мосты забунтуют.
По первому зову —
прохожих ссыпят на камень быков.
Все вещи вздыбятся.
Вещам невмоготу.
Пройдет
пятнадцать лет
иль двадцать,
обдрябнет сталь,
и сами
вещи
тут

[1] Левый берег *(фр.)*.

пойдут
Монмартрами на ночи продаваться.
Идемте, башня!
К нам!
Вы —
там,
у нас,
нужней!
Идемте к нам!
В блестенье стали,
в дымах —
мы встретим вас.
Мы встретим вас нежней,
чем первые любимые любимых.
Идем в Москву!
У нас
в Москве
простор.
Вы
— каждый! —
будете по улице иметь.
Мы
будем холить вас:
раз сто
за день
до солнц расчистим вашу сталь и медь.
Пусть
город ваш,
Париж франтих и дур,
Париж бульварных ротозеев,
кончается один, в сплошной складбищась Лувр,
в старье лесов Булонских и музеев.
Вперед!
Шагни четверкой мощных лап,
прибитых чертежами Эйфеля,
чтоб в нашем небе твой израдиило лоб,
чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!
Решайтесь, башня,—
нынче же вставайте все,
разворотив Париж с верхушки и до низу!
Идемте!
К нам!
К нам, в СССР!

Идемте к нам —
я
вам достану визу!

1923

ГАЗЕТНЫЙ ДЕНЬ

Рабочий
утром
глазеет в газету.
Думает:
«Нам бы работёшку эту!
Дело тихое, и нету чище.
Не то что по кузницам отмахивать ручища.
Сиди себе в редакции в беленькой сорочке —
и гони строчки.
Нагнал,
расставил запятые да точки,
подписался,
под подпись закорючку,
и готово:
строчки растут как цветочки.
Ручки в брючки,
в стол ручку,
получил построчные —
и, ленивой ивой
склоняясь над кружкой,
дуй пиво».
В искоренение вредного убежденья
вынужден описать газетный день я.

Как будто
весь народ,
который
не поместился под башню Сухареву,—
пришел торговаться в редакционные коридоры.
Тыщи!
Во весь дух ревут.
«Где объявления?
Потеряла собачку я!»
Голосит дамочка, слезками пачкаясь.
«Караул!»
Отчаянные вопли прореяли.
«Миллиард?

С покойничка?
За строку нонпарели?»
Завжилотдел.
Не глаза — жжение.
Каждому сует какие-то опровержения.
Кто-то крестится.
Клянется крещёным лбом:
«Это я — настоящий Бим-Бом!»
Все стены уставлены какими-то дядьями.
Стоят кариатидами по стенкам голым.
Это «начинающие».
Помахивая статьями,
по дороге к редактору стоят частоколом.
Два.
Редактор вплывает барином.
В два с четвертью
из барина,
как из пристяжной,
умученной выездом парным,—
паром вздымается испарина.
Через минуту
из кабинета редакторского рёв:
то ручкой по папке,
то по́ столу бац ею.
Это редактор,
собрав бухгалтеров,
потеет над самоокупацией.
У редактора к передовице лежит сердце.
Забудь!
Про сальдо язычишкой треплет.
У редактора —
аж волос вылазит от коммерции,
лепечет редактор про «кредит и дебет».
Пока редактор завхоза ест —
раз сто телефон вгрызается лаем.
Это ставку учетверяет Мострест.
И еще грозится:
«Удесятерю в мае».
Наконец, освободился.
Минуточек лишка...
Врывается начинающий.
Попробуй — выставь!
«Прочтите немедля!

Замечательная статьишка»,
а в статьишке —
листов триста!
Начинающего унимают диалектикой нечеловечьей.
Хроникер врывается:
«Там,
в Замоскворечье,—
выловлен из Москвы-реки —
живой гиппопотам!»
Из РОСТА
на редактора
начинает литься
сенсация за сенсацией,
за небылицей небылица.
Нет у РОСТА лучшей радости,
чем всучить редактору невероятнейшей гадости.
Извергая старательность, как Везувий и Этна,
курьер врывается.
«К редактору!
Лично!»
В пакете
с надписью:
— Совершенно секретно —
повестка
на прошлогоднее заседание публичное.
Затем курьер,
красный, как малина,
от НКИД.
Кроет рьяно.
Передовик
президента Чжан Цзо-лина
спутал с гаоляном.
Наконец, библиограф!
Что бешеный вол.
Машет книжкой.
Выражается резко.
Получил на рецензию
юрист —
хохол —
учебник гинекологии
на древнееврейском!
Вокруг
за столами

или перьев скрежет,
или ножницы скрипят:
писателей режут.
Секретарь
у фельетониста,
пропотевшего до сорочки,
делает из пятисот —
полторы строчки.
Под утро стихает редакционный раж.
Редактор в восторге.
Уехал.
Улажено.
Но тут...
Самогоном упился метранпаж,
лишь свистят под ротационкой ноздри метранпажины.
Спит редактор.
Снится: Мострест
так высоко взвинтил ставки —
что на колокольню Ивана Великого влез
и хохочет с колокольной главки.
Просыпается.
До утра проспал без про́сыпа.
Ручонки дрожат.
Газету откроют.
Ужас!
Не газета, а оспа.
Шрифт по статьям расплылся икрою.
Из всей газеты,
как из моря риф,
выглядывает лишь —
парочка чьих-то рифм.
Вид у редактора...
такой вид его,
что видно сразу —
нечему завидовать.

Если встретите человека белее мела,
худющего,
худей, чем газетный лист,—
умозаключайте смело:
или редактор,
или журналист.
1923

МЫ НЕ ВЕРИМ!

Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.

Нет!
Не надо!
Разве молнии велишь
не литься?
Нет!
не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраницый
грохотать
набатный
ленинский язык.

Разве гром бывает немотою болен?!
Разве сдержишь смерч,
чтоб вихрем не кипел?!
Нет!
не ослабеет ленинская воля
в миллионосильной воле РКП.

Разве жар
такой
термометрами меряется?!
Разве пульс
такой
секундами гудит?!
Вечно будет ленинское сердце
клокотать
у революции в груди.

Нет!
Нет!
Не-е-т...
Не хотим,
не верим в белый бюллетень.
С глаз весенних
сгинь, навязчивая тень!

1923

ТРЕСТЫ

В Москве
редкое место —
без вывески того или иного треста.
Сто очков любому вперед дадут —
у кого семейное счастье худо.
Тресты живут в любви,
в ладу
и супружески строятся друг против друга.
Говорят:
меж трестами неурядицы.—
Ложь!
Треста
с трестом
водой не разольешь.
На одной улице в Москве
есть
(а может нет)
такое место:
стоит себе тихо «хвостотрест»,
а напротив —
вывеска «копытотреста».
Меж трестами
через улицу,
в служении лют,
весь день суетится чиновный люд.
Я теперь хозяйством обзавожусь немножко.
(Купил уже вилки и ложки.)
Только вот что:
беспокоит всякая крошка.
После обеда
на клеенке —
сплошные крошки.
Решил купить,
так или иначе,
для смахивания крошек
хвост телячий.
Я не спекулянт —
из поэтического теста.
С достоинством влазю в дверь «хвостотреста».
Народищу — уйма.
Просто неописуемо.

Стоят и сидят
толпами и гущами.
Хлопают и хлопают дверные створки.
Коридор —
до того забит торгующими,
что его
не прочистишь цистерной касторки.
Отчаявшись пробиться без указующих фраз,
спрашиваю:
— Где здесь на хвосты ордера? —
У вопрошаемого
удивление на морде.
— Хотите,— говорит,— на копыто ордер?—
Я к другому —
невозмутимо, как день вешний:
— Где здесь хвостики?
— Извините,— говорит,— я не здешний.—
Подхожу к третьему
(интеллигентный быдто) —
а он и не слушает:
— Угодно-с копыто?
— Да ну вас с вашими копытами к маме,
подать мне сюда заведующего хвостами!—
Врываюсь в канцелярию:
пусто, как в пустыне,
только чей-то чай на столике стынет.
Под вывеской —
«без доклада не лезьте»
читаю:
«Заведующий принимает в «копытотресте».—
Взбесился.
Выбежал.
Во весь рот
гаркнул:
— Где из «хвостотреста» народ?—
Сразу завопило человек двести:
— Не знает.
Бедненький!
Они посредничают в «копытотресте»,
а мы в «хвостотресте»,
по копыту посредники.
Если вам по хвостам —
идите туда:
они там.

Перейдите напротив
— тут мелко —
спросите заведующего
и готово — сделка.
Хвост через улицу перепрут рысью
только 100 процентов с хвоста —
за комиссию.—
Я
способ прекрасный для борьбы им выискал:
как-нибудь
в единый мах —
с треста на трест перевесить вывески,
и готово:
все на своих местах.
А чтоб те или иные мошенники
с треста на трест не перелетели птичкой,
посредников на цепочки,
к цепочке ошейники,
а на ошейнике —
фамилия
и трестова кличка.

1923

17 АПРЕЛЯ

Мы
о царском плене
забыли за 5 лет.
Но тех,
за нас убитых на Лене,
никогда не забудем.
Нет!
Россия вздрогнула от гнева злобного,
когда
через тайгу
до нас
от ленского места лобного —
донесся расстрела гул.
Легли,
легли Октября буревестники,
глядели Сибири снега:

их,
безоружных,
под пуль песенки
топтала жандарма нога.
И когда
фабрикантище ловкий
золотые
горстьми загребал,
липла
с каждой
с пятирублевки
кровь
упрятанных тундрам в гроба.
Но напрасно старался Терещенко
смыть
восставших
с лица рудника.
Эти
первые в троне трещинки
не залижет никто.
Никак.
Разгуделась весть о расстреле,
и до нынче
гудит заряд,
по российскому небу расстре́лясь,
Октябрем разгорелась заря.
Нынче
с золота смыты пятна.
Наши
тыщи сияющих жил.
Наше золото.
Взяли обратно.
Приказали:
— Рабочим служи! —
Мы
сомкнулись красными ротами.
Быстра шагов краснофлагих гряда.
Никакой не посмеет ротмистр
сыпать пули по нашим рядам.
Нынче
течем мы.
Красная лава.

Песня над лавой
                                        свободная пенится.
Первая
        наша
                благодарная слава
вам, Ленцы!

1923

ВЕСЕННИЙ ВОПРОС

Страшное у меня горе.
Вероятно —
                лишусь сна.
Вы понимаете,
                вскоре
в РСФСР
        придет весна.
Сегодня
        и завтра
                и веков испокон
шатается комната —
                солнца пропойца.
Невозможно работать.
                Определенно обеспокоен.
А ведь откровенно говоря —
                совершенно не из-за чего беспокоиться.
Если подойти серьезно —
                так-то оно так.
Солнце посветит —
                и пройдет мимо.
А вот попробуй —
                от окна оттяни кота.
А если и животное интересуется улицей,
                то мне
                        это —
                                просто необходимо.
На улицу вышел
                и встал в лени я,
не в силах...
        не сдвинуть с места тело.
Нет совершенно
                ни малейшего представления,
что ж теперь, собственно говоря, делать?

И за шиворот
и по носу каплет безбожно.
Слушаешь.
Не смахиваешь.
Будто стих.
Юридически —
куда хочешь идти можно,
но фактически —
сдвинуться
никакой возможности.
Я, например,
считаюсь хорошим поэтом.
Ну, скажем,
могу
доказать:
«самогон — большое зло».
А что про это?
Чем про это?
Ну нет совершенно никаких слов.
Например:
город советские служащие искра́пили,
приветствуй весну,
ответь салютно!
Разучились —
нечем ответить на капли.
Ну, не могут сказать —
ни слова.
Абсолютно!
Стали вот так вот —
смотрят рассеянно.
Наблюдают —
скалывают дворники лед.
Под башмаками вода.
Бассейны.
Сбоку брызжет.
Сверху льет.
Надо принять какие-то меры.
Ну, не знаю что,—
например:
выбрать день
самый синий,

и чтоб на улицах
улыбающиеся милиционеры
всем
в этот день
раздавали апельсины.
Если это дорого —
можно выбрать дешевле,
проще.
Например:
чтоб старики,
безработные,
неучащаяся детвора
в 12 часов
ежедневно
собирались на Советской
площади,
троекратно кричали б:
ура!
ура!
ура!
Ведь все другие вопросы
более или менее ясны́.
И относительно хлеба ясно,
и относительно мира ведь.
Но этот
кардинальный вопрос
относительно весны
нужно
во что бы то ни стало
теперь же урегулировать.

1923

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Мне
надоели ноты —
много больно пишут что-то.
Предлагаю
без лишних фраз
универсальный ответ —
всем зараз.

Если
нас
вояка тот или иной
захочет
спровоцировать войной,—
наш ответ:
нет!
А если
даже в мордобойном вопросе
руку протянут —
на конференцию, мол, просим,—
всегда
ответ:
да!
Если
держава
та или другая
ультиматумами пугает,—
наш ответ:
нет!
А если,
не пугая ультимативным видом,
просят:
— Заплатим друг другу по обидам,—
всегда
ответ:
да!
Если
концессией
или чем прочим
хотят
на шею насесть рабочим,—
наш ответ:
нет!
А если
взаимно,
вскрыв мошну тугую,
предлагают:
— Давайте
честно поторгуем! —
всегда
ответ:
да!

Если
хочется
сунуть рыло им
в то,
кого судим,
кого милуем,—
наш ответ:
нет!
Если
просто
попросят
одолжения ради —
простите такого-то —
дурак-дядя,—
всегда
ответ:
да!
Керзон,
Пуанкаре,
и еще кто́ там?!
Каждый из вас
пусть не поленится
и, прежде
чем испускать зряшние ноты,
прочтет
мое стихотвореньице.

1923

ВОРОВСКИЙ

Сегодня,
пролетариат,
гром голосов раскуй,
забудь
о всепрощенье и воске.
Прикончeнный
фашистской шайкой воровско́й,
в последний раз
Москвой
пройдет Воровский.
Сколько не станет...
Сколько не стало...
Скольких — в клочья...
Скольких — в дым...

Где б ни сдали.
Чья б ни сдала.
Мы не сдали,
мы не сдадим.
Сегодня
гнев
скругли
в огромный
бомбы мяч.
Сегодня
голоса́
размолний штычьим блеском.
В глазах
в капиталистовых маячь.
Чертись
по королевским занавескам.
Ответ
в мильон шагов
пошли
на наглость нот.
Мильонную толпу
у стен кремлевских вызмей.
Пусть
смерть товарища
сегодня
подчеркнет
бессмертье
дела коммунизма.

1923

БАКУ

Баку.
Город ветра.
Песок плюет в глаза.
Баку.
Город пожаров.
Полыхание Балахан.
Баку.
Листья — копоть.
Ветки — провода.
Баку.
Ручьи —
чернила нефти.

Баку.
Плосковерхие дома.
Горбоносые люди.
Баку.
Никто не селится для веселья.
Баку.
Жирное пятно в пиджаке мира.
Баку.
Резервуар грязи,
но к тебе
я тянусь
любовью
более —
чем притягивает дервиша Тибет,
Мекка — правоверного,
Иерусалим —
христиан
на богомолье.
По тебе
машинами вздыхают
миллиарды
поршней и колес.
Поцелуют
и опять
целуют, не стихая,
маслом,
нефтью,
тихо
и взасос.
Воле города
противостать не смея,
цепью сцепеневших тел
льнут
к Баку
покорно
даже змеи
извивающихся цистерн.
Если в будущее
крепко верится —
это оттого,
что до краев

изливается
столицам в сердце
черная
бакинская
густая кровь.

1923

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Дело земли —
вертеться.
Литься —
дело вод.
Дело
молодых гвардейцев —
бег,
галоп
вперед.
Жизнь шажком
стара́ нам.
Бего́м
под знаменем алым.
Комсомольским
миллионным тараном
вперед!
Но этого мало.
Полка́ми
по по́лкам книжным,
чтоб буквы
и то смяло.
Мысль
засеем
и выжнем.
Вперед!
Но этого мало.
Через самую
высочайшую высь
махни атакующим валом.
Новым
чувством
мысль
будоражь!
Но и этого мало.

Ковром
вселенную взвей.
Моль
из вселенной
выбей!
Вели
лететь
левей
всей
вселенской
глыбе!
1923

НОРДЕРНЕЙ

Дыра дырой,
ни хорошая, ни дрянная —
немецкий курорт,
живу в Нордернée.
Небо
то луч,
то чайку роняет.
Море
блестящей, чем ручка дверная.
Полон рот
красот природ:
то волны
приливом
полберега выроют,
то краб,
то дельфинье выплеснет тельце,
то примусом волны фосфоресцируют,
то в море
закат
киселем раскиселится.
Тоска!..
Хоть бы,
что ли,
громовий раскат.
Я жду не дождусь
и не в силах дождаться,
но верую в ярую,
верую в скорую.

И чудится:
из-за островочка
кронштадтцы
уже выплывают
и целят «Авророю».
Но море в терпенье,
и буре не вывести.
Волну
и не гладят ветровы пальчики.
По пляжу
впластались в песок
и в ленивости
купальщицы млеют,
млеют купальщики.
И видится:
буря вздымается с дюны.
«Купальщики,
жиром набитые бочки,
спасайтесь!
Покроет,
измелет
и сдунет.
Песчинки — пули,
песок — пулеметчики».
Но пляж
буржуйкам
ласкает подошвы.
Но ветер,
песок
в ладу с грудастыми.
С улыбкой:
— как всё в Германии дешево! —
валютчики
греют катары и астмы.
Но это ж,
наверно,
красные роты.
Шаганья знакомая разноголосица.
Сейчас на табльдотчиков,
сейчас на табльдоты
накинутся,
врежутся,
ринутся,
бросятся.

Но обер
на барыню
косится рабьи:
фашистский
на бары́ньке
знак муссолинится.
Сося
и вгрызаясь в щупальцы крабьи,
глядят,
как в море
закатище вклинится.
Чье сердце
октябрьскими бурями вымыто,
тому ни закат,
ни моря рёволицые,
тому ничего,
ни красот,
ни климатов,
не надо —
кроме тебя,
Революция!

Нордерней, 4 августа 1923 г.

МОСКВА — КЕНИГСБЕРГ

Проезжие — прохожих реже.
Еще храпит Москва деляг.
Тверскую жрет,
Тверскую режет
сорокасильный «Каделяк».
Обмахнуло
радиатор
горизонта веером.
— Eins!
zwei! [1]
drei! [1] —
Мотора гром.
В небо дверью —
аэродром.

[1] Раз, два, три! *(нем.)*.

Брик.
Механик.
Ньюбо́льд.
Пилот.
Вещи.
Всем по пять кило.
Влезли пятеро.
Земля попятилась.
Разбежались дорожки-
ящеры.
Ходынка
накрылась скатертцей.
Красноармейцы,
Ходынкой стоящие,
стоя ж —
назад катятся.
Небо —
не ты ль?..
Звезды —
не вы ль это?!
Мимо звезды́
(нельзя без виз)!
Навылет небу,
всему навылет,
пали́ —
земной
отлетающий низ!
Развернулось солнечное это.
И пошли
часы
необычайниться.
Города́,
светящиеся
в облачных просветах.
Птица
догоняет,
не догнала —
тянется...
Ямы воздуха.
С размаха ухаем.
Рядом молния.
Сощурился Ньюбо́льд.

Гром мотора.
В ухе
и над ухом.
Но не раздраженье.
Не боль.
Сердце,
чаще!
Мотору вторь.
Слились сладчайше
я
и мотор:
«Крылья Икар
в скалы низверг,
чтоб воздух-река
тек в Кенигсберг.
От чертежных дел
седел Леонардо,
чтоб я
летел,
куда мне надо.
Калечился Уточкин,
чтоб близко-близко,
от солнца на чуточку,
парить над Двинском.
Рекорд в рекорд
вбивал Горро́,
чтобы я
вот —
этой тучей-горой.
Коптел
над «Гномом»
Юнкерс и Дукс,
чтоб спорил
с громом
моторов стук».
Что же —
для того
конец крылам Ика́риным,
человечество
затем
трудом заводов никло,—

чтобы этакий
Владимир Маяковский,
барином,
Кенигсбергами
распархивался
на каникулы?!
Чтобы этакой
бесхвостой
и бескрылой курице
меж подушками
усесться куце?!
Чтоб кидать,
и не выглядывая из гондолы,
кожуру
колбасную —
на города и долы?!.
Нет!
Вылазьте из гондолы, плечи!
100 зрачков
глазейте в каждый глаз!
Завтрашнее,
послезавтрашнее человечество,
мой
неодолимый
стальнорукий класс,—
я
благодарю тебя
за то,
что ты
в полетах
и меня,
слабейшего,
вковал своим звеном.
Возлагаю
на тебя —
земля труда и пота —
горизонта
огненный венок.
Мы взлетели,
но еще — не слишком.
Если надо
к Марсам
дуги выгнуть —

сделай милость,
дай
отдать
мою жизнишку.
Хочешь,
вниз
с трех тысяч метров
прыгну?!

Berlin, 6 сентября 1923 г.

КИЕВ

Лапы елок,
лапки,
лапушки...
Все в снегу,
а теплые какие!
Будто в гости
к старой,
старой бабушке
я
вчера
приехал в Киев.
Вот стою
на горке
на Владимирской.
Ширь вовсю —
не вымчать и перу!
Так
когда-то,
рассиявшись в выморозки,
Киевскую
Русь
оглядывал Перун.
А потом —
когда
и кто,
не помню толком,
только знаю,
что сюда вот
по́ льду,

да и по воде,
в порогах,
волоком —
шли
с дарами
к Диру и Аскольду.
Дальше
било солнце
куполам в литавры.
— На колени, Русь!
Согнись и стой.—
До сегодня
нас
Владимир гонит в лавры.
Плеть креста
сжимает
каменный святой.
Шли
из мест
таких,
которых нету глуше,—
прадеды,
прапрадеды
и пра пра пра!..
Много
всяческих
кровавых безделушек
здесь у бабушки
моей
по берегам Днепра.
Был убит,
и снова встал Столыпин,
памятником встал,
вложивши пальцы в китель.
Снова был убит,
и вновь
дрожали липы
от пальбы
двенадцати правительств.
А теперь
встают
с Подола
дымы,

киевская грудь
гудит,
котлами грета.
Не святой уже —
другой,
земной Владимир
крестит нас
железом и огнем декретов.
Даже чуть
зарусофильствовал
от этой шири!
Русофильство,
да другого сорта.
Вот
моя
рабочая страна,
одна
в огромном мире.
— Эй!
Пуанкаре!
возьми нас?..
Черта!
Пусть еще
последний,
старый батька
содрогает
плачем
лавры звонницы.
Пусть
еще
врезается с Крещатика
волчий вой:
«Даю-беру червонцы!»
Наша сила —
правда,
ваша —
лаврьи звоны.
Ваша —
дым кадильный,
наша —
фабрик дым.

Ваша мощь —
червонец,
наша —
стяг червонный.
— Мы возьмем,
займем
и победим.
Здравствуй
и прощай, седая бабушка!
Уходи с пути!
скорее!
ну-ка!
Умирай, старуха,
спекулянтка,
на́божка.
Мы идем —
ватага юных внуков!
1924

УХ, И ВЕСЕЛО!

О скуке
на этом свете
Гоголь
говаривал много.
Много о́н понимает —
этот самый ваш
Гоголь!
В СССР
от веселости
стонут
целые губернии и волости.
Например,
со смеха
слёзы потопом
на крохотном перегоне
от Киева до Конотопа.
Свечи
кажут
язычьи кончики.
11 ночи.
Сидим в вагончике.

Разговор
перекидывается сам
от бандитов
к Брынским лесам.
Остановят поезд —
минута паники.
И мчи
в Москву,
укутавшись в подштанники.
Осоловели;
поезд
темный и душный,
и легли,
попрятав червонцы
в отдушины.
4 утра.
Скок со всех ног.
Стук
со всех рук:

«Вставай!
Открывай двери!
Чай, не зимняя спячка.
Не медведи-звери!»
Где-то
с перепугу
загрохотал наган,
у кого-то
в плевательнице
застряла нога.
В двери
новый стук
раздраженный.
Заплакали
разбуженные
дети и жены.
Будь что будет...
Жизнь —
на ниточке!
Снимаю цепочку,
и вот...
Ласковый голос:
«Купите открыточки,

пожертвуйте
на воздушный флот!»
Сон
еще
не сошел с сонных,
ищут
радостно
карманы в кальсонах.
Черта
вытащишь
из голой ляжки.
Наконец,
разыскали
копеечные бумажки.
Утро,
вдали
петухи пропели...
— Через сколько
лет
соберет он на пропеллер?
Спрашиваю,
под плед
засовывая руки:
— Товарищ сборщик,
есть у вас внуки?
— Есть,—
говорит.
— Так скажите
внучке,
чтоб с тех собирала,
— на ком брючки.
А этаким способом
— через тысячную ночку —
соберете
разве что
на очки летчику.—
Наконец,
задыхаясь от смеха,
поезд
взял
и дальше поехал.
К чему спать?
Позевывает пассажир.

Сны эти
только
нагоняют жир.
Человеческим
происхождением
гордятся простофили.
А я
сожалею,
что я
не филин.
Как филинам полагается,
не предаваясь сну,
ждал бы
сборщиков,
влезши на сосну.

1924

9-е ЯНВАРЯ

О боге болтая,
о смирении говоря,
помни день —
9-е января.
Не с красной звездой —
в смирении тупом
с крестами шли
за Гапоном-попом.
Не в сабли
врубались
конармией-птицей —
белели
в руках
листы петиций.
Не в горло
вгрызались
царевым лампасникам —
плелись
в надежде на милость помазанника.
Скор
ответ
величества
был:

«Пули в спины!
в груди!
и в лбы!»
Позор без названия,
ужас без имени
покрыл и царя,
и площадь,
и Зимний.
А поп
на забрызганном кровью требнике
писал
в приход
царевы серебреники.
Не все враги уничтожены.
Есть!
Раздуйте
опять
потухшую месть.
Не сбиты
с Запада
крепости вражьи.
Буржуи
рабочих
сгибают в рожья.
Рабочие,
помните русский урок!
Затвор осмотрите,
штык
и курок.
В споре с врагом —
одно решение:
Да здравствуют битвы!
Долой прошения!

1924

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Смерть —
не сметь!

Строит,
рушит,
кроит
и рвет,

тихнет,
кипит
и пенится,
гудит,
говорит,
молчит
и ревет —
юная армия:
ленинцы.
Мы
новая кровь
городских жил,
тело нив,
ткацкой идей
нить.
Ленин —
жил,
Ленин —
жив,
Ленин —
будет жить.

Залили горем.
Свезли в мавзолей
частицу Ленина —
тело.
Но тленью не взять —
ни земле,
ни золе —
первейшее в Ленине —
дело.
Смерть,
косу положи!
Приговор лжив.
С таким
небесам
не блажить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Ленин —
жив
шаганьем Кремля —
вождя
капиталовых пленников.
Будет жить,
и будет
земля
гордиться именем:
Ленинка.
Еще
по миру
пройдут мятежи —
сквозь все межи
коммуне
путь проложить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.
К сведению смерти,
старой карги,
гонящей в могилу
и старящей:
«Ленин» и «Смерть»—
слова-враги.
«Ленин» и «Жизнь»—
товарищи.
Тверже
печаль держи.
Грудью
в горе прилив.
Нам —
не ныть.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Ленин рядом.
Вот
он.
Идет
и умрет с нами.
И снова
в каждом рожденном рожден —
как сила,
как знанье,
как знамя.
Земля,
под ногами дрожи.
За все рубежи
слова —
взвивайтесь кружить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Ленин ведь
тоже
начал с азов,—
жизнь —
мастерская геньина.
С низа лет,
с класса низов —
рвись
разгромадиться в Ленина.
Дрожите, дворцов этажи!
Биржа наживы,
будешь
битая
выть.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Ленин
больше
самых больших,
но даже
и это
диво
создали всех времен
малыши —
мы,
малыши коллектива.
Мускул
узлом вяжи.
Зубы-ножи —
в знанье —
вонзай крошить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Строит,
рушит,
кроит
и рвет,
тихнет,
кипит
и пенится,
гудит,
молчит,
говорит
и ревет —
юная армия:
ленинцы.
Мы
новая кровь
городских жил,
тело нив,
ткацкой идей
нить.
Ленин —
жил.

Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

31 марта 1924 г.

ЮБИЛЕЙНОЕ

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский.

Дайте руку
Вот грудная клетка.
Слушайте,
уже не стук, а стон;
тревожусь я о нем,
в щенка смирённом львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслой головенке.
Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.
Что нам
потерять
часок-другой?!
Будто бы вода —
давайте
мчать, болтая,
будто бы весна —
свободно
и раскованно!
В небе вон
луна
такая молодая,

что ее
без спутников
и выпускать рискованно.
Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.
Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.
Можно
убедиться,
что земля поката,—
сядь
на собственные ягодицы
и катись!
Нет,
не навяжусь в меланхолишке черной,
да и разговаривать не хочется
ни с кем.
Только
жабры рифм
топырит учащённо
у таких, как мы,
на поэтическом песке.
Вред — мечта,
и бесполезно грезить,
надо
весть
служебную нуду.
Но бывает —
жизнь
встает в другом разрезе,
и большое
понимаешь
через ерунду.
Нами
лирика
в штыки
неоднократно атакована,

ищем речи
точной
и нагой.
Но поэзия —
пресволочнейшая штуковина:
существует —
и ни в зуб ногой.
Например,
вот это —
говорится или блеется?
Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем —
«Коопсах».
Дайте нам стаканы!
знаю
способ старый
в горе
дуть винище,
но смотрите —
из
выплывают
Red и White Star'ы[1]
с ворохом
разнообразных виз.
Мне приятно с вами,—
рад,
что вы у столика.
Муза это
ловко
за язык вас тянет.
Как это
у вас
говаривала Ольга?..
Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.
— Дескать,
муж у вас
дурак
и старый мерин,

[1] Красные и белые звезды *(англ.)*.

я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я.—
Было всякое:
и под окном стояние,
пи́сьма,
тряски нервное желе.
Вот
когда
и горевать не в состоянии —
это,
Александр Сергеич,
много тяжелей.
Айда, Маяковский!
Маячь на юг!
Сердце
рифмами вымучь —
вот
и любви пришел каюк,
дорогой Владим Владимыч.
Нет,
не старость этому имя!
Ту́шу
вперед стремя́,
я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.
Говорят —
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
Entre nous...[1]
чтоб цензор не нацыкал.
Передам вам —
говорят —
видали
даже
двух
влюбленных членов ВЦИКа.

---

[1] Между нами *(фр.)*.

Вот —
пустили сплетню,
тешат душу ею.
Александр Сергеич,
да не слушайте ж вы их!
Может,
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.
Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на эМ.
Кто меж нами?
с кем велите знаться?!
Чересчур
страна моя
поэтами нищá.
Между нами
— вот беда —
позатесался Нáдсон.
Мы попросим,
чтоб его
куда-нибудь
на Ща!
А Некрасов
Коля,
сын покойного Алеши,—
он и в карты,
он и в стих,
и так
неплох на вид.

Знаете его?
вот он
мужик хороший.
Этот
нам компания —
пускай стоит.
Что ж о современниках?!
Не просчитались бы,
за вас
полсотни о́тдав.
От зевоты
скулы
разворачивает аж!
Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов —
какой
однаробразный пейзаж!
Ну Есенин,
мужиковствующих свора.
Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь...
но это ведь из хора!
Балалаечник!
Надо,
чтоб поэт
и в жизни был мастак.
Мы крепки,
как спирт в полтавском штофе.
Ну, а что вот Безыменский?!
Так...
ничего...
морковный кофе.
Правда,
есть
у нас
Асеев
Колька.

Этот может.
Хватка у него
моя.
Но ведь иадо
заработать сколько!
Малеиькая,
но семья.
Были б живы —
стали бы
по Лефу соредактор.
Я бы
и агитки
вам доверить мог.
Раз бы показал:
— вот так-то мол,
и так-то...
Вы б смогли —
у вас
хороший слог.
Я дал бы вам
жиркость
и су́кна,
в рекламу б
выдал
гумских дам.
(Я даже
ямбом подсюсюкнул,
чтоб только
быть
приятней вам.)
Вам теперь
пришлось бы
бросить ямб картавый.
Ныиче
наши перья —
штык
да зубья вил,—
битвы революций
посерьезнее «Полтавы»,
и любовь
пограндиознее
оиегинской любви.

Бойтесь пушкинистов.
Старомозгий Плюшкин,
перышко держа,
полезет
с перержавленным.
— Тоже, мол,
у лефов
появился
Пушкин.
Вот арап!
а состязается —
с Державиным...
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец.
Вы
по-моему́
при жизни
— думаю —
тоже бушевали.
Африканец!
Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
— А ваши кто родители?
Чем вы занимались
до 17-го года?—
Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем,
что ж болтанье!
Спиритизма вроде.
Так сказать,
невольник чести...
пулею сражен...
Их
и по сегодня
много ходит —
всяческих
охотников
до наших жен.

Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.
Только вот
поэтов,
к сожаленью, нету —
впрочем, может,
это и не нужно.
Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.
Как бы
милиционер
разыскивать не стал.
На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.
Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.
Мне бы
памятник при жизни
полагается по чину.
Заложил бы
динамиту
— ну-ка,
дрызнь!
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!
1924

ПРОЛЕТАРИЙ, В ЗАРОДЫШЕ ЗАДУШИ ВОЙНУ!

Будущие:

Дипломатия

— Мистер министр?
How do you do? [1]

[1] Здравствуйте! *(англ.).*

Ультиматум истек.
Уступки?
Не иду.
Фирме Морган
должен Крупп
ровно
три миллиарда
и руп.
Обложить облака!
Начать бои!
Будет добыча —
вам пай.
Люди — ваши,
расходы —
мои.
Good bye! [1]

Мобилизация

«Смит и сын.
Самоговорящий ящик».
Ящик
министр
придвинул быстро.
В раструб трубы,
мембране говорящей,
сорок
секунд
бубнил министр.
Сотое авеню.
Отец семейства.
Дочь
играет
цепочкой на отце.
Записал
с граммофона
время и место.
Фармацевт — как фармацевт.
Пять сортировщиков.
Вид водолаза.

---

[1] Прощайте! *(англ.)*

Серых
масок
немигающий глаз —
уставили
в триста баллонов газа.
Блок
минуту
повизгивал лазя,
грузя
в кузова
«чумной газ».
Клубы
Нью-Йорка
раскрылись в сроки,
раз
не разнился
от других разов.
Фармацевт
сиял,
убивши в покер
флеш-роялем
— четырех тузов.

Наступление

Штаб воздушных гаваней и доков.
Возд-воен-электрик
Джим Уост
включил
в трансформатор
заатлантических токов
триста линий —
зюд-ост.
Авиатор
в карте
к цели полета
вграфил
по линейке
в линию линия.
Ровно
в пять
без механиков и пилотов

взвились
триста
чудовищ алюминия.
Треугольник
— летящая фабрика ветра —
в воздух
триста винтов всвистал.
Скорость —
шестьсот пятьдесят километров.
Девять
тысяч
метров —
высота.
Грозой не кривясь,
ни от ветра резкого,
только —
будто
гигантский Кольт —
над каждым аэро
сухо потрескивал
ток
в 15 тысяч вольт.
Встали
стражей неба вражьего.
Кто умер —
счастье тому.
Знайте,
буржуями
сжигаемые заживо,
последнее изобретение:
«крематорий на дому».

Бой

Город
дышал
что было мочи,
спал,
никак
не готовясь
к смертям.
Выползло
триста,
к дымочку дымочек.

Пошли
спиралью
снижаться, смердя.
Какая-то птица
— пустяк,
воробушки —
падала
в камень,
горохом ребрышки.
Крыша
рейхстага,
сиявшая лаково,
в две секунды
стала седая.
Бесцветный дух
дома́ обволакивал,
ник
к земле,
с этажей оседая.
«Спасайся, кто может,
с десятого —
прыга...»
Слово
свело
в холодеющем нёбе;
ножки,
еще минуту подрыгав,
рядом
легли —
успокоились обе.
Безумные
думали:
«Сжалим,
умолим».
Когда
растаял
газ,
повися,—
ни человека,
ни зверя,
ни моли!

Жизнь
было
и вышла вся.
Четыре
аэро
снизились искоса,
лучи
скрестя
огромнейшим иксом.
Был труп
— и нет.
Был дом
— и нет его.
Жег
свет
фиолетовый.
Обделали чисто.
Ни дыма,
ни мрака.
Взорвали,
взрыли,
смыли,
взмели.
И город
лежит
погашенной маркой
на грязном,
рваном
пакете земли.

Победа

Морган.
Жена.
В корсетах.
Не двинется.
Глядя,
как
шампанское пенится,
Морган сказал:
— Дарю имениннице
немного разрушенное,
но хорошее именьице!

Сейчас
подытожена
великая война.
Пишут
мемуары
истории писцы.
Но боль близких,
любимых, нам
еще
кричит
из сухих цифр.
30
миллионов
взяли на мушку,
в сотнях
миллионов
стенанье и вой.
Но и этот
ад
покажется погремушкой
рядом
с грядущей
готовящейся войной.
Всеми спинами,
по пленам драными,
руками,
брошенными
на операционном столе,
всеми
в осень
ноющими ранами,
всей трескотней
всех костылей,
дырами ртов,
— выбил бой! —
голосом,
визгом газовой боли —
сегодня,
мир,
крикни
— Долой!!!

Не будет!
Не хотим!
Не позволим!
Нациям
нет
врагов наций.
Нацию
выдумал
мира враг.
Выходи
не с нацией драться,
рабочий мира,
мира батрак!
Иди,
пролетарской армией топая,
штыки
последние
атакой выставь!
«Фразы
о мире —
пустая утопия,
пока
не экспроприирован
класс капиталистов».
Сегодня...
завтра...—
а справимся все-таки!
Виновным — смерть.
Невиновным — вдвойне.
Сбейте
жирных
дюжины и десятки.
Миру — мир,
война — войне.

2 августа 1924 г.

СЕВАСТОПОЛЬ — ЯЛТА

В авто
насажали
разных армян,

рванулись —
и мы в пути.
Дорога до Ялты
будто роман:
все время
надо крутить.
Сначала
авто
подступает к горам,
охаживая кряжевые.
Вот так и у нас
влюбленья пора:
наметишь —
и мчишь, ухаживая.
Авто
начинает
по солнцу трясть,
то жаренней ты,
то варённей:
так сердце
тебе
распаляет страсть,
и грудь —
раскаленной жаровней.
Привал,
шашлык,
не вяжешь лык,
с кружением
нету сладу.
У этих
у самых
гроздьев шашлы —
совсем поцелуйная сладость.

То солнечный жар,
то ущелий тоска,—
не верь
ни единой версийке.
Который москит
и который мускат,
и кто персюки
и персики?

И вдруг вопьешься,
любовью залив
и душу,
и тело,
и рот.
Так разом
встают
облака и залив
в разрыве
Байдарских ворот.
И сразу
дорога
нудней и нудней,
в туннель,
тормозами тужась.
Вот куча камня,
и церковь над ней —
ужасом
всех супружеств.
И снова
почти
о скалы скулой,
с боков
побелелой глядит.
Так ревность
тебя
обступает скалой —
за камнем
любовник бандит.
А дальше —
тишь;
крестьяне, корпя,
лозой
разделали скаты.
Так,
свой виноградник
по́том кропя,
и я
рисую плакаты.
Пото́м,
пропылясь,
проплывают года,

трусят
суетнею мышиной,
и лишь
развлекает
семейный скандал
случайно
лопнувшей шиной.
Когда ж
окончательно
это доест,
распух
от моторного гвалта —
— Стоп!—
И склепом
отдельный подъезд:
— Пожалте
червонец!
Ялта.

1924

ВЛАДИКАВКАЗ — ТИФЛИС

Только
нога
ступила в Кавказ,
я вспомнил,
что я —
грузин.
Эльбрус,
Казбек.
И еще —
как вас?!
На гору
горы грузи!
Уже
на мне
никаких рубах.
Бродягой,—
один архалух.
Уже
подо мной
такой карабах,
что Ройльсу —
и то б в похвалу.

Было:
с ордой,
загорел и носат,
старее
всего старья,
я влез,
веков девятнадцать назад,
вот в этот самый
в Дарьял.
Лезгинщик
и гитарист душой,
в многовековом поту,
я землю
прошел
и возделал мушо́й [1]
отсюда
по самый Батум.
От этих дел
не вспомнят ни зги.
История —
врун даровитый,
бубнит лишь,
что были
царьки да князьки:
Ираклии,
Нины,
Давиды.
Стена —
и то
знакомая что-то.
В тахтах
вот этой вот башни —
я помню:
я вел
Руставели Шо́той
с царицей
с Тамарою
шашни.
А после
катился,
костями хрустя,

[1] Муша — рабочий (*груз.*).

чтоб в пену
Тереку врыться.
Да это что!
Любовный пустяк!
И лучше
резвилась царица.
А дальше
я видел —
в пробоину скал
вот с этих
тропиночек узких
на сакли,
звеня,
опускались войска
золотопогонников русских.
Лениво
от жизни
взбираясь ввысь,
гитарой
душу отверз —
«Мхолот шен эртс
рац, ром чемтвис
Моуция
маглидган гмертс...» [1]
И утро свободы
в кровавой росе
сегодня
встает поодаль.
И вот
я мечу,
я, мститель Арсен,
бомбы
5-го года.
Живились
в пажах
князёвы сынки,
а я
ежедневно
и наново
опять вспоминаю
все синяки

---

[1] Лишь тебе одной все, что дано мне с высоты богом (*груз.*).

от плеток
всех Алихановых.
И дальше
история наша
хмурá.
Я вижу
правящих кучку.
Какие-то люди,
мутней, чем Курá,
французов чмокают в ручку.
Двадцать,
а может,
больше веков
волок
угнетателей узы я,
чтоб только
под знаменем большевиков
воскресла
свободная Грузия.
Да,
я грузин,
но не старенькой нации,
забитой
в ущелье в это.
Я —
равный товарищ
одной Федерации
грядущего мира Советов.
Еще
омрачается
день иной
ужасом
крови и яри.
Мы бродим,
мы
еще
не вино,
ведь мы еще
только мадчари. [1]
Я знаю:
глупость — эдемы и рай!

---

[1] Мадчари — неперебродившее молодое вино (груз.).

Но если
пелось про это,
должно быть,
Грузию,
радостный край,
подразумевали поэты.
Я жду,
чтоб аэро
в горы взвились.
Как женщина,
мною
лелеема
надежда,

что в хвост
со словом «Тифлис»
вобьем
фабричные клейма.
Грузин я,
но не кинто озорной,
острящий
и пьющий после.
Я жду,
чтоб гудки
взревели зурной,
где шли
лишь кинто [1]
да ослик.
Я чту
поэтов грузинских дар,
но ближе
всех песен в мире,
мне ближе
всех
и зурн
и гитар
лебедок
и кранов шаири. [2]
Строй
во всю трудовую прыть,

[1] К и н т о — бродячий торговец, балагур, озорник (*груз.*).
[2] Ш а и р и — стихотворная строфа (*груз.*).

для стройки
не жаль ломаний!
Если
даже
Казбек помешает —
срыть!
Все равно
не видать
в тумане.

1924

ТАМАРА И ДЕМОН

От этого Терека
в поэтах
истерика.
Я Терек не видел.
Большая потерийка.
Из омнибуса
вразвалку
сошел,
поплевывал
в Терек с берега,
совал ему
в пену
палку.
Чего же хорошего?
Полный развал!
Шумит,
как Есенин в участке.
Как будто бы
Терек
сорганизовал,
проездом в Боржом,
Луначарский.
Хочу отвернуть
заносчивый нос
и чувствую:
стыну на грани я,
овладевает
мною
гипноз,

воды
и пены играние.
Вот башня,
револьвером
небу к виску,
разит
красотою нетроганой.
Поди,
подчини ее
преду искусств —
Петру Семенычу
Когану.
Стою,
и злоба взяла меня,
что эту
дикость и выступы
с такой бездарностью
я
променял
на славу,
рецензии,
диспуты.
Мне место
не в «Красных нивах»,
а здесь,
и не построчно,
а даром
реветь
стараться в голос во весь,
срывая
струны гитарам.
Я знаю мой голос:
паршивый тон,
но страшен
силою ярой.
Кто видывал,
не усомнится,
что
я
был бы услышан Тамарой.
Царица крепится,
взвинчена хоть,

величественно
делает пальчиком.
Но я ей
сразу:
— А мне начхать,
царица вы
или прачка!
Тем более
с песен —
какой гонорар?!
А стирка —
в семью копейка.
А даром
немного дарит гора:
лишь воду —
поди,
попей-ка! —
Взъярилась царица,
к кинжалу рука.
Козой,
из берданки ударенной.
Но я ей
по-своему,
вы ж знаете как —
под ручку...
любезно...
— Сударыня!
Чего кипятитесь,
как паровоз?
Мы
общей лирики лента.
Я знаю давно вас,
мне
много про вас
говаривал
некий Лермонтов.
Он клялся,
что страстью
и равных нет...
Таким мне
мерещился образ твой.
Любви я заждался,
мне 30 лет.

Полюбим друг друга.
Попросту.
Да так,
чтоб скала
распостелилась в пух.
От черта скраду
и от бога я!
Ну что тебе Демон?
Фантазия!
Дух!
К тому ж староват —
мифология.
Не кинь меня в пропасть,
будь добра.
От этой ли
струшу боли я?
Мне
даже
пиджак не жаль ободрать,
а грудь и бока —
тем более.
Отсюда
дашь
хороший удар —
и в Терек
замертво треснется.
В Москве
больнее спускают...
куда!
ступеньки считаешь —
лестница.
Я кончил,
и дело мое сторона.
И пусть,
озверев от помарок,
про это
пишет себе Пастернак.
А мы...
соглашайся, Тамара! —
История дальше
уже не для книг.
Я скромный,
и я
бастую.

Сам Демон слетел,
подслушал,
и сник,
и скрылся,
смердя
впустую.
К нам Лермонтов сходит,
презрев времена.
Сияет —
«Счастливая парочка!»
Люблю я гостей.
Бутылку вина!
Налей гусару, Тамарочка!

1924

ХУЛИГАНЩИНА

Только
солнце усядется,
канув
за опустевшие
фабричные стройки,
стонут
окраины
от хулиганов
вроде вот этой
милой тройки.
Человек пройдет
и — марш поодаль.
Таким попадись!
Ежовые лапочки!
От них ни проезда,
от них
ни прохода
ни женщине,
ни мужчине,
ни электрической лампочке.
«Мадамочка, стой!
Провожу немножко...
Клуб?
Почему?
Ломай стулья!

Он возражает?
В лопатку ножиком!
Зубы им вычти!
Помножь им скулья!»
Гудят
в башке
пивные пары,
тощая мысль
самогоном
смята,
и в воздухе
даже не топоры,
а целые
небоскребы
стоэтажного
мата.

Рабочий,
этим ли
кровь наших жил?!
Наши дочки
этим разве?!
Пока не поздно —
конец положи
этой горланной
и грязной язве!

1924

ПОСМЕЕМСЯ!

СССР!
Из глоток из всех,
да так,
чтоб врагу аж смяться,
сегодня
раструбливай
радостный смех —
нам
можно теперь посмеяться!
Шипели: «Погибнут
через день, другой,

в крайности —
через две недели!»
Мы
гордо стоим,
а они дугой
изгибаются.
Ливреи надели.
Бились
в границы Советской страны:
«Не допустим
и к первой годовщине!»
Мы
гордо стоим,
а они —
штаны
в берлинских подвалах чинят.
Ллойд-Джорджи
ревели
со своих постов:
«Узурпаторы!
Бандиты!
Воришки!»
Мы
гордо стоим,
а они — раз сто
слетали,
как еловые шишки!
Они
на наши
голодные дни
радовались,
пожевывая пончики.
До урожаев
мы доживаем,
а они
последние дожевали
мильончики!
Злорадничали:
«Коммунистам
надежды нет:
погибнут
не в мае, так в июне».

А мы,
мы — стоим.
Мы — иа 7 лет
ближе к мировой коммуие!
Товарищи,
вовсю
из глоток из всех —
да так, чтоб врагам аж смяться,
сегодня
раструбливайте
радостный смех!
Нам
есть иад чем посмеяться!

1924

КРАСНАЯ ЗАВИСТЬ

Я
еще
ие лыс
и не шамкаю,
все же
дядя
рослый с виду я.
В первый раз
за жизнь
малышам-ка я
барабаиящим
позавидую.
Наша
жизнь —
в грядущее рваться,
оббивать
его порог,
вы ж
грядущее это
в двадцать
расшагаете
громом иог.
Нам
сегодия
корежит уши

громыханий
теплушечных
ржа.
Вас,
забывших
и имя теплушек,
разлетит
на рабфак
дирижабль.
Мы,
пергаменты
текстами сáля,
подписываем
договора.
Вам
забыть
и границы Версаля
на борту
самолета-ковра.
Нам —
трамвай.
Попробуйте,
влезьте!
Полон.
Как в арифметике —
цифр.
Вы ж
в работу
будете
ездить,
самолет
выводя
под уздцы.
Мы
сегодня
двугривенный потный
отчисляем
от крох,
от жалований,
чтоб флот
взлетел
заработанный,

вам
за юность одну
пожалованный.
Мы
живем
как радиозайцы,
телефонные
трубки
крадя,
чтоб музыкам
в вас
врезаться,
от Урала
до Крыма грядя.
Мы живем
только тем,
что тощи,
чуть полней бы —
и в комнате
душно.
Небо
будет
ваша жилплощадь —
не зажмет
на шири
воздушной.
Мы
от солнца,
от снега зависим.
Из-за дождика —
с богом
судятся.
Вы ж
дождем
раскропите выси,
как только
заблагорассудится.
Динамиты,
бомбы,
газы —
самолетов
наших
фарш.

Вам
смертями
не сыпать наземь,
разлетайтесь
под звонкий марш.
К нам
известье
идет
с почто́вым,
проплывает
радость —
год.
Это
глупое время
на что вам?
Телеграммой
проносится код.
Мы
в камнях
проживаем вёсны —
нет билета
и денег нет.
Вам
не будет
пространств повёрстных —
сам
себе
проездной билет.
Превратятся
не скоро
в ягодку
словоцветы
О. Д. В. Ф.
Те,
кому
по три
и по два годка,
вспомни
нас,
эти ягоды съев.

1925

ВЫВОЛАКИВАЙТЕ БУДУЩЕЕ!

Будущее
не придет само,
если
не примем мер.
За жабры его,— комсомол!
За хвост его,— пионер!
Коммуна
не сказочная принцесса,
чтоб о ней
мечтать по ночам.
Рассчитай,
обдумай,
нацелься —
и иди
хоть по мелочам.
Коммунизм
не только
у земли,
у фабрик в поту.
Он и дома
за столиком,
в отношеньях,
в семье,
в быту.
Кто скрипит
матерщиной смачной
целый день,
как немазаный воз,
тот,
кто млеет
под визг балалаечный,
тот
до будущего
не дорос.
По фронтам
пулеметами такать —
не в этом
одном
война!
И семей
и квартир атака

угрожает
не меньше
нам.
Кто не выдержал
натиск домашний,
спит
в уюте
бумажных роз,—
до грядущей
жизни мощной
тот
пока еще
не дорос.
Как и шуба,
и время тоже —
проедает
быта моль ее.
Наших дней
залежалых одёжу
перетряхни, комсомолия!

1925

ПАРИЖ

ЕДУ

Билет —
щелк.
Щека —
чмок.
Свисток —
и рванулись туда мы,
куда,
как сельди,
в сети чулок
плывут
кругосветные дамы.
Сегодня приедет —
уродом-урод,
а завтра —
узнать посмейте-ка:

в одно
разубран
и город и рот —
помады,
огней косметика.
Веселых
тянет в эту вот даль.
В Париже грустить?
Едва ли!
В Париже
площадь
и та Этуаль,
а звезды —
так сплошь этуали.
Засвистывай,
трись,
врезайся и режь
сквозь Льежи
и об Брюссели.
Но нож
и Париж,
и Брюссель,
и Льеж —
тому,
кто, как я, обрусели.
Сейчас бы
в сани
с ногами —
в снегу,
как в газетном листе б...
Свисти,
заноси снегами
меня,
прихерсонская степь...
Вечер,
поле,
огоньки,
дальняя дорога,—
сердце рвется от тоски,
а в груди —
тревога.
Эх, раз,
еще раз,
стих — в пляс.

Эх, раз,
еще раз,
рифм хряск.
Эх, раз,
еще раз,
еще много, много раз...
Люди
разных стран и рас,
копая порядков грядки,
увидев,
как я
себя протряс,
скажут:
в лихорадке.

1925

ГОРОД

Один Париж —
адвокатов,
казарм,
другой —
без казарм и без Эррио.
Не оторвать
от второго
глаза —
от этого города серого.
Со стен обещают:
«Un verre de Koto
donne de l'energie» [1]
Вином любви
каким
и кто
мою взбудоражит жизнь?
Может,
критики
знают лучше.
Может,
их
и слушать надо.

[1] Стакан Кото дает энергию *(фр.)*.

Но кому я, к черту, попутчик!
Ни души
не шагает
рядом.
Как раньше,
свой
раскачивай горб
впереди
поэтовых арб —
неси,
один,
и радость,
и скорбь,
и прочий
людской скарб.
Мне скучно
здесь
одному
впереди,—
поэту
не надо многого,—
пусть
только
время
скорей родит
такого, как я,
быстроногого.
Мы рядом
пойдем
дорожной пыльцой.
Одно
желанье
пучит:
мне скучно —
желаю
видеть в лицо,
кому это
я
попутчик?!
«Je suis un chameau» [1],
в плакате стоят

[1] *Я верблюд (фр.).*

литеры,
каждая — фут.
Совершенно верно:
«je suis»,—
это
«я»,
а «chameau» — это
«я верблюд».
Лиловая туча,
скорей нагнись,
меня
и Париж полей,
чтоб только
скорей
зацвели огни
длиной
Елисейских полей.
Во всё огонь —
и небу в темь
и в чернь промокшей пыли.
В огне
жуками
всех систем
жужжат
автомобили.
Горит вода,
земля горит,
горит
асфальт
до жжения,
как будто
зубрят
фонари
таблицу умножения.
Площадь
красивей
и тысяч
дам-болонок.
Эта площадь
оправдала б
каждый город.

Если б был я
Вандомская колонна,
я б женился
на Place de la Concorde [1].

1925

ВЕРЛЕН И СЕЗАН

Я стукаюсь
о стол,
о шкафа острия —
четыре метра ежедневно мерь.
Мне тесно здесь
в отеле Istria —
на коротышке
rue Campagne-Première [2].
Мне жмет.
Парижская жизнь не про нас —
в бульвары
тоску рассыпай.
Направо от нас —
Boulevard Montparnasse [3],
налево —
Boulevard Raspail [4].
Хожу и хожу,
не щадя каблука,—
хожу
и ночь и день я,—
хожу трафаретным поэтом, пока
в глазах
не встанут виденья.
Туман — парикмахер,
он делает гениев —
загримировал
одного
бородой —
Добрый вечер, m-r Тургенев.

---

[1] Площадь Согласия *(фр.)*.
[2] Улица Кампань-Премьер *(фр.)*.
[3] Бульвар Монпарнас *(фр.)*.
[4] Бульвар Распай *(фр.)*.

Добрый вечер, m-me Виардо.
Пошел:
«За что боролись?
А Рудин?..
А вы,
именье
возьми подпальни...»
Мне
их разговор эмигрантский
нуден,
и юркаю
в кафе от скульни.
Да.
Это он,
вот эта сова —
не тронул
великого
тлен.
Приподнял шляпу:
«Comment ça va,
cher camarade Verlaine?» [1]
Откуда вас знаю?
Вас знают все.
И вот
довелось состукаться.
Лет сорок
вы тянете
свой абсент
из тысячи репродукций.
Я раньше
вас
почти не читал,
а нынче —
вышло из моды,—
и рад бы прочесть —
не поймешь ни черта:
по-русски дрянь,—
переводы.
Не злитесь,—
со мной,
должно быть, и вы

---

[1] Как поживаете, дорогой товарищ Верлен? *(фр.)*.

знакомы
лишь понаслышке.
Поговорим
о пустяках путевых,
о нашинском ремеслишке.
Теперь
плохие стихи —
труха.
Хороший —
себе дороже.
С хорошим
и я б
свои потроха
сложил
под забором
тоже.
Бумаги
гладь
облевывая
пером,
концом губы —
поэт,
как блядь рублевая,
живет
с словцом любым.
Я жизнь
отдать
за сегодня
рад.
Какая это громада!
Вы чуете
слово —
пролетариат? —
ему
грандиозное надо.
Из кожи
надо
вылазить тут,
а нас —
к журнальчикам
премией.
Когда ж поймут,
что поэзия —
труд,

что место нужно
                    и время ей.
«Лицом к деревне» —
                    заданье дано,—
за гусли,
          поэты-други!
Поймите ж —
          лицо у меня
                    одно —
оно лицо,
          а не флюгер.
А тут и ГУС
          отверзает уста:
вопрос не решен.
          «Который?
Поэт?
     Так ведь это ж —
                    просто кустарь,
простой кустарь,
          без мотора».
Перо
     такому
          в язык вонзи,
прибей
     к векам кунсткамер.
Ты врешь.
     Еще
          не найден бензин,
что движет
          сердец кусками.
Идею
     нельзя
          замешать на воде.
В воде
     отсыреет идейка.
Поэт
     никогда
          и не жил без идей.
Что я —
     попугай?
          индейка?

К рабочему
надо
идти серьезней —
недооценили их мы.
Поэты,
покайтесь,
пока не поздно,
во всех
отглагольных рифмах.
У нас
поэт
событья берет —
опишет
вчерашний гул,
а надо
рваться
в завтра,
вперед,
чтоб брюки
трещали
в шагу.
В садах коммуны
вспомнят о барде —
какие
птицы
зальются им?
Что
будет
с веток
товарищ Вардин
рассвистывать
свои резолюции?!
За глотку возьмем.
«Теперь поори,
несбитая быта морда!»
И вижу,
зависть
зажглась и горит
в глазах
моего натюрморта.
И каплет
с Верлена
в стакан слеза.

Он весь —
как зуб на сверле́.
Тут
к нам
подходит
Поль Сезан:
«Я
так
напишу вас, Верлен».
Он пишет.
Смотрю,
как краска свежа.
Monsieur,
простите вы меня,
у нас
старикам,
как под хвост вожжа,
бывало
от вашего имени.
Бывало —
сезон,
наш бог — Ван-Гог,
другой сезон —
Сезан.
Теперь
ушли от искусства
вбок —
не краску любят,
а сан.
Птенцы —
у них
молоко на губах,—
а с детства
к смирению падки.
Большущее имя взяли
АХРР,
а чешут
ответственным
пятки.
Небось
не напишут
мой портрет,—

не трут
понапрасну
кисти.
Ведь то же
лицо как будто,—
ан нет,
рисуют
кто поцекистей.
Сезан
остановился на линии,
и весь
размерсился — тронутый.
Париж,
фиолетовый,
Париж в анилине,
вставал
за окном «Ротонды».

1925

NOTRE-DAME [1]

Другие здания
лежат,
как грязная кора,
в воспоминании
о Notre-Dame'е.
Прошедшего
возвышенный корабль,
о время зацепившийся
и севший на мель.
Раскрыли дверь —
тоски тяжелей;
желе
из железа —
нелепее.
Прошли
сквозь монаший
служилый елей
в соборное великолепие.

[1] Собор Парижской богоматери *(фр.)*.

Читал
письмена,
украшавшие храм,
про боговы блага
на небе.
Спускался в партер,
подымался к хорам,
смотрел удобства
и мебель.
Я вышел —
со мной
переводчица-дура,
щебечет
бантиком-ротиком:
«Ну, как вам
нравится архитектура?
Какая небесная готика!»
Я взвесил все
и обдумал, —
ну вот:
он лучше Блаженного Васьки.
Конечно,
под клуб не пойдет —
темноват, —
об этом не думали
классики.
Не стиль...
Я в этих делах не мастак.
Не дался
старью на съедение.
Но то хорошо,
что уже места
готовы тебе
для сидения.
Его
ни к чему
перестраивать заново —
приладим
с грехом пополам,
а в наших —
ни стульев нет,
ни орга́нов.

Копнёшь —
одни купола.
И лучше б оркестр,
да игра дорога —
сначала
не будет финансов,—
а то ли дело
когда орган —
играй
хоть пять сеансов.
Ясно —
репертуар иной —
фокстроты,
а не сопенье.
Нельзя же
французскому госкино
духовные песнопения.
А для рекламы —
не храм,
а краса —
старайся
во все тяжкие.
Электрорекламе —
лучший фасад:
меж башен
пустить перетяжки,
да буквами разными:
«Signe de Zoro» [1],
чтоб буквы бежали,
как мышь.
Такая реклама
так заорет,
что видно
во весь Boulmiche [2].
А если
и лампочки
вставить в глаза
химерам
в углах собора,

---

[1] Знак Зоро *(фр.)*.
[2] Бульвар Сен-Мишель *(фр.)*.

тогда —
никто не уйдет назад:
подряд —
битковые сборы!
Да, надо
быть
бережливым тут,
ядром
чего
не попортив.
В особенности,
если пойдут
громить
префектуру
напротив.

1925

ВЕРСАЛЬ

По этой
дороге,
спеша во дворец,
бесчисленные Людовики
трясли
в шелках
золоченых карет
телес
десятипудовики.
И ляжек
своих
отмахав шатуны,
по ней,
марсельезой пропет,
плюя на корону,
теряя штаны,
бежал
из Парижа
Капет.
Теперь
по ней
веселый Париж
гоняет
авто рассияв,—

кокотки,
рантье, подсчитавший барыш,
американцы
и я.
Версаль.
Возглас первый:
«Хорошо жили стервы!»
Дворцы
на тыщи спален и зал —
и в каждой
и стол
и кровать.
Таких
вторых
и построить нельзя —
хоть целую жизнь
воровать!
А за дворцом,
и сюды
и туды,
чтоб жизнь им
была
свежа,
пруды,
фонтаны,
и снова пруды
с фонтаном
из медных жаб.
Вокруг,
в поощренье
жантильных манер,
дорожки
полны стату́ями —
везде Аполлоны,
а этих
Венер
безруких,—
так целые уймы.
А дальше —
жилья
для их Помпаду́рш —
Большой Трианон
и Маленький.

Вот тут
Помпадуршу
водили под душ,
вот тут
помпадуршины спаленки.
Смотрю на жизнь —
ах, как не нова!
Красивость —
аж дух выматывает!
Как будто
влип
в акварель Бенуа,
к каким-то
стишкам Ахматовой.
Я все осмотрел,
пощупал вещи.
Из всей
красотищи этой
мне
больше всего
понравилась трещина
на столике
Антуанетты.
В него
штыка революции
клин
вогнали,
пляша под распевку,
когда
санкюлоты
поволокли
на эшафот
королевку.
Смотрю,
а все же —
завидные видики!
Сады завидные —
в розах!
Скорей бы
культуру
такой же выделки,
но в новый,
машинный ро́змах!

В музеи
вот эти
лачуги б вмести!
Сюда бы —
стальной
и стекольный
рабочий дворец
миллионной вместимости, —
такой,
чтоб и глазу больно.
Всем,
еще имеющим
купоны
и монеты,
всем царям —
еще имеющимся —
в назидание:
с гильотины неба,
головой Антуанетты,
солнце
покатилось
умирать на зданиях.
Расплылась
и лип
и каштанов толпа,
слегка
листочки ворся.
Прозрачный
вечерний
небесный колпак
закрыл
музейный Версаль.

1925

ЖОРЕС

Ноябрь,
а народ
зажат до жары.
Стою
и смотрю долго:

на шинах машинных
мимо —
шары
катаются
в треуголках.
Войной обагренные
руки
умыв
и красные
шансы
взвесив,
коммерцию
новую
вбили в умы —
хотят
спекульнуть на Жоресе.
Покажут рабочим —
смотрите,
и он
с великими нашими
тоже.
Жорес
настоящий француз.
Пантеон
не станет же
он
тревожить.
Готовы
потоки
слезливых фраз.
Эскорт,
колесницы — эффект!
Ни с места!
Скажите,
кем из вас
в окне
пристрелен
Жорес?
Теперь
пришли
панихидами выть.
Зорче,
рабочий класс!

Товарищ Жорес,
не дай убить
себя
во второй раз.
Не даст.
Подняв
знамен мачтовый лес,
спаяв
людей
в один
плывущий флот,
громовый и живой,
по-прежнему
Жорес
проходит в Пантеон
по улице Суфло.
Он в этих криках,
несущихся вверх,
в знаменах,
в шагах,
в горбах.
«Vivent les Soviets!..
A bas la guerre!..
Capitalisme à bas!..» [1]
И вот —
взбегает огонь
и горит,
и песня
краснеет у рта.
И кажется —
снова
в дыму
пушкари
идут
к парижским фортам.
Спиною
к витринам отжали —
и вот
из книжек
выжались
тени.

[1] Да здравствуют Советы!.. Долой войну!.. Долой капитализм!.. *(фр.)*.

И снова
71-й год
встает
у страниц в шелестении.
Гора
на груди
могла б подняться.
Там
гневный окрик орет:
«Кто смел сказать,
что мы
в семнадцатом
предали
французский народ?
Неправда,
мы с вами,
французские блузники.
Забудьте
этот
поклеп дрянной.
На всех баррикадах
мы ваши союзники,
рабочий Крезо
и рабочий Рено».
1925

ПРОЩАНИЕ

(Кафе)

Обыкновенно
мы говорим:
все дороги
приводят в Рим.
Не так
у монпарнасца.
Готов поклясться.
И Рем
и Ромул,
и Ремул и Ром
в «Ротонду» придут
или в «Дом» [1].

---

[1] Кафе на Монпарнасе.

В кафе
идут
по сотням дорог,
плывут
по бульварной реке.
Вплываю и я:
«Garçon,
un grog
americain!» [1]
Сначала
слова,
и губы,
и скулы
кафейный гомон сливал.
Но вот
пошли
вылупляться из гула
и лепятся
фразой
слова.
«Тут
проходил
Маяковский давеча,
хромой —
не видали рази?» —
«А с кем он шел?» —
«С Николай Николаичем». —
«С каким?»
«Да с великим князем!» —
«С великим князем?
Будет врать!
Он кругл
и лыс,
как ладонь.
Чекист он,
послан сюда
взорвать...» —
«Кого?» —
«Буа-дю-Булонь [2].

---

[1] Официант, грог по-американски! *(фр.)*
[2] Булонский лес (*фр.*— Bois du Boulogne).

Езжай, мол, Мишка...»
Другой поправил:
«Вы врете,
противно слушать!
Совсем и не Мишка он,
а Павел.
Бывало, сядем —
Павлуша! —
а тут же
его супруга,
княжна,
брюнетка,
лет под тридцать...» —
«Чья?
Маяковского?
Он не женат».
«Женат —
и на императрице».—
«На ком?
Ее ж расстреляли...» —
«И он
поверил...
Сделайте милость!
Ее ж Маяковский спас
за трильон!
Она же ж
омолодилась!»
Благоразумный голос:
«Да нет,
вы врете —
Маяковский — поэт».—
«Ну, да,—
вмешалось двое саврасов,—
в конце
семнадцатого года
в Москве
чекой конфискован Некрасов
и весь
Маяковскому отдан.
Вы думаете —
сам он?
Сбондил до йот—

весь стих,
с запятыми,
скраден.
Достанет Некрасова
и продает —
червонцев по десять
на день».
Где вы,
свахи?
Подымись, Агафья!
Предлагается
жених невиданный.
Видано ль,
чтоб человек
с такою биографией
был бы холост
и старел невыданный?!
Париж,
тебе ль,
столице столетий,
к лицу
эмигрантская нудь?
Смахни
за ушми
эмигрантские сплетни.
Провинция!—
не продохнуть.—
Я вышел
в раздумье —
черт его знает!
Отплюнулся —
тьфу, напасть!
Дыра
в ушах
не у всех сквозная —
другому
может запасть!
Слушайте, читатели,
когда прочтете,
что с Черчиллем
Маяковский
дружбу вертит

или
что женился я
на кулиджевской тете,
то, покорнейше прошу,—
не верьте.

1925

ПРОЩАНЬЕ

В авто,
последний франк разменяв.
— В котором часу на Марсель? —
Париж
бежит,
провожая меня,
во всей
невозможной красе.
Подступай
к глазам,
разлуки жижа,
сердце
мне
сентиментальностью расквась!
Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
если б не было
такой земли —
Москва.

1925

СТИХИ ОБ АМЕРИКЕ

ИСПАНИЯ

Ты — я думал —
райский сад.
Ложь
подпивших бардов.
Нет —
живьем я вижу
склад
«ЛЕОПОЛЬДО ПАРДО».

Из прилипших к скалам сёл
опустясь с опаской,
чистокровнейший осёл
шпарит по-испански.
Всё плебейство выбив вон,
в шляпы влезла по́ нос.
Стал
простецкий
«телефон»
гордым
«телефонос».
Чернь волос
в цветах горит.
Щеки в шаль орамив,
сотня с лишним
сеньорит
машет веерами.
От медуз
воде синё.
Глуби —
вёрсты мера.
Из товарищей
«сеньор»
стал
и «кабальеро».
Кастаньеты гонят сонь.
Визги...
пенье...
страсти!
А на что мне это все?
Как собаке — здрасите!

1925

6 МОНАХИНЬ

Воздев
печеные
картошки личек,
черней,
чем негр,
не видавший бань,
шестеро благочестивейших католичек

влезло
на борт
парохода «Эспань».
И сзади
и спереди
ровней, чем веревка.
Шали,
как с гвоздика,
с плеч висят,
а лица
обвила
белейшая гофрировка,
как в пасху
гофрируют
ножки поросят.
Пусть заполнится годами
жизни квота —
стоит
только
вспомнить это диво,
раздирает
рот
зевота
шире Мексиканского залива.
Трезвые,
чистые,
как раствор борной,
вместе,
эскадроном, садятся есть.
Пообедав, сообща
скрываются в уборной.
Одна зевнула —
зевают шесть.
Вместо известных
симметричных мест,
где у женщин выпуклость,—
у этих выем:
в одной выемке —
серебряный крест,
в другой — медали
со Львом
и с Пием.

Продрав глазенки
раньше, чем можно,—
в раю
(ужо!)
отоспятся лишек,—
оркестром без дирижера
шесть дорожных
вынимают
евангелишек.
Придешь ночью —
сидят и бормочут.
Рассвет в розы —
бормочут, стервозы!
И днем,
и ночью, и в утра, и в полдни
сидят
и бормочут,
дуры господни.
Если ж
день
чуть-чуть
помрачнеет с виду,
сойдут в кабину,
12 галош
наденут вместе
и снова выйдут,
и снова
идет
елейный скулёж.
Мне б
язык испанский!
Я б спросил, взъяренный:
— Ангелицы,
попросту
ответ поэту дайте —
если
люди вы,
то кто ж
тогда
воро́ны?
А если
вы вороны,
почему вы не летаете?

Агитпропщики!
не лезьте вон из кожи.
Весь земной
обревизуйте шар.
Самый
замечательный безбожник
не придумает
кощунственнее шарж!
Радуйся, распятый Иисусе,
не слезай
с гвоздей своей доски,
а вторично явишься —
сюда
не суйся —
всё равно:
повесишься с тоски!

1925

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Испанский камень
слепящ и бел,
а стены —
зубьями пил.
Пароход
до двенадцати
уголь ел
и пресную воду пил.
Повел
пароход
окованным носом
и в час,
сопя,
вобрал якоря
и понесся.
Европа
скрылась, мельчась.
Бегут
по бортам
водяные глыбы,

огромные,
как года́.
Надо мною птицы,
подо мною рыбы,
а кругом —
вода.
Недели
грудью своей атлетической —
то работяга,
то в стельку пьян —
вздыхает
и гремит
Атлантический
океан.
«Мне бы, братцы,
к Сахаре подобраться...
Развернись и плюнь —
пароход внизу.
Хочу топлю,
хочу везу.
Выходи сухой —
сварю ухой.
Людей не надо нам —
малы к обеду.
Не трону...
ладно...
пускай едут...»
Волны
будоражить мастера́:
детство выплеснут;
другому —
голос милой.
Ну, а мне б
опять
знамена простирать!
Вон —
пошло́,
затарахте́ло,
загромило!
И снова
вода
присмирела сквозная,

и нет
никаких сомнений ни в ком.
И вдруг,
откуда-то —
черт его знает! —
встает
из глубин
водпячий Ревком.
И гвардия капель —
воды партизаны —
взбираются
ввысь
с океанского рва,
до неба метнутся
и падают заново,
порфиру пены в клочки изодрав.
И снова
спаялись во́ды в одно,
волне
повелев
разбурлиться вождем.
И прет волнища
с-под тучи
на дно —
приказы
и лозунги
сыплет дождем.
И волны
клянутся
всеводному Цику
оружие бурь
до победы не класть.
И вот победили —
экватору в циркуль
Советов-капель бескрайняя власть.
Последних волн небольшие митинги
шумят
о чем-то
в возвышенном стиле.
И вот
океан
улыбнулся умытенький

и замер
на время
в покое и в штиле.
Смотрю за перила.
Старайтесь, приятели!
Под трапом,
нависшим
ажурным мостком,
при океанском предприятии
потеет
над чем-то
волновий местком.
И под водой
деловито и тихо
дворцом
растет
кораллов плетенка,
чтоб легше жилось
трудовой китихе
с рабочим китом
и дошкольным китенком.
Уже
и луну
положили дорожкой.

Хоть прямо
на пузе,
как по́ суху, лазь.
Но враг не сунется —
в небо
сторожко
глядит,
не сморгнув,
Атлантический глаз.
То стынешь
в блеске лунного лака,
то стонешь,
облитый пеною ран.
Смотрю,
смотрю —
и всегда одинаков,
любим,
близок мне океан.

Вовек
твой грохот
удержит ухо.
В глаза
тебя
опрокинуть рад.
По шири,
по делу,
по крови,
по духу —
моей революции
старший брат.

1925

МЕЛКАЯ ФИЛОСОФИЯ НА ГЛУБОКИХ МЕСТАХ

Превращусь
не в Толстого, так в толстого,—
ем,
пишу,
от жары балда.
Кто над морем не философствовал?
Вода.
Вчера
океан был злой,
как черт,
сегодня
смиренней
голубицы на яйцах.
Какая разница!
Все течет...
Все меняется.
Есть
у воды
своя пора:
часы прилива,
часы отлива.
А у Стеклова
вода
не сходила с пера.

Несправедливо.
Дохлая рыбка
плывет одна.
Висят
плавнички,
как подбитые крылышки.
Плывет недели,
и нет ей —
ни дна,
ни покрышки.

Навстречу
медленней, чем тело тюленье,
пароход из Мексики,
а мы —
туда.
Иначе и нельзя.
Разделение
труда.

Это кит — говорят.
Возможно и так.
Вроде рыбьего Бедного —
обхвата в три.
Только у Демьяна усы наружу,
а у кита
внутри.
Годы — чайки.
Вылетят в ряд —
и в воду —
брюшко рыбешкой пичкать.
Скрылись чайки.
В сущности говоря,
где птички?

Я родился,
рос,
кормили соскою,—
жил,
работал,
стал староват...

Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.

Атлантический океан, 3 июля 1925 г.

БЛЕК ЭНД УАЙТ

Если
Гавану
окинуть мигом —
рай-страна,
страна что надо.
Под пальмой
на ножке
стоят фламинго.
Цветет
коларио
по всей Ведадо.
В Гаване
все
разграничено четко:
у белых доллары,
у черных — нет.
Поэтому
Вилли
стоит со щеткой
у «Энри Клей энд Бок, лимитед».
Много
за жизнь
повымел Вилли —
одних пылинок
целый лес,—
поэтому
волос у Вилли
вылез,
поэтому
живот у Вилли
влез.

Мал его радостей тусклый спектр:
шесть часов поспать на боку,
да разве что
вор,
портовóй инспектор,
кинет
негру
цент на бегу.
От этой грязи скроешься разве?
Разве что
стали б
ходить на голове.
И то
намели бы
больше грязи:
волосьев тыщи,
а ног —
две.
Рядом
шла
нарядная Прадо.
То звякнет,
то вспыхнет
трехверстный джаз.
Дурню покажется,
что и взаправду
бывший рай
в Гаване как раз.
В мозгу у Вилли
мало извилин,
мало всходов,
мало посева.
Одно-
единственное
вызубрил Вилли
тверже,
чем камень
памятника Масео:
«Белый
ест
ананас спелый,
черный —
гнилью моченый.

Белую работу
делает белый,
черную работу —
черный».
Мало вопросов Вилли сверлили.
Но один был
закорюка из закорюк.
И когда
вопрос этот
влезал в Вилли,
щетка
падала
из Виллиных рук.
И надо же случиться,
чтоб как раз тогда
к королю сигарному
Энри Клей
пришел,
белей, чем облаков стада,
величественнейший из сахарных королей.
Негр
подходит
к туше дебелой:
«Ай бэг ёр пáрдон, мистер Брэгг!
Почему и сахар,
белый-белый,
должен делать
черный негр?
Черная сигара
не идет в усах вам —
она для негра
с черными усами.
А если вы
любите
кофий с сахаром,
то сахар
извольте
делать сами».
Такой вопрос
не проходит даром.
Король
из белого
становится желт.

Вывернулся
король
сообразно с ударом,
выбросил обе перчатки
и ушел.
Цвели
кругом
чудеса ботаники.
Бананы
сплетали
сплошной кров.
Вытер
негр
о белые подштанники
руку,
с носа утершую кровь.
Негр
посопел подбитым носом,
поднял щетку,
держась за скулу.
Откуда знать ему,
что с таким вопросом
надо обращаться
в Коминтерн,
в Москву?

Гавана, 5 июля 1925 г.

СИФИЛИС

Пароход подошел,
завыл,
погудел —
и скован,
как каторжник беглый.
На палубе
700 человек людей,
остальные —
негры.
Подплыл
катерок
с одного бочка́.

Вбежав
по лесенке хро́мой,
осматривал
врач в роговых очках:
«Которые с трахомой?»
Припудрив прыщи
и наружность вымыв,
с кокетством себя волоча,
первый класс
дефилировал
мимо
улыбавшегося врача.
Дым
голубой
из двустволки ноздрей
колечком
единым
свив,
первым
шел
в алмазной заре
свиной король —
Свифт.
Трубка
воняет,
в метр длиной.
Попробуй к такому —
полезь!
Под шелком кальсон,
под батистом-лино́,
поди,
разбери болезнь.
«Остров,
дай
воздержанья зарок!
Остановить велите!»
Но взял
капитан
под козырек,
и спущен Свифт —
сифилитик.
За первым классом
шел второй.

Исследуя
этот класс,
врач
удивлялся,
что ноздри с дырой,—
лез
и в ухо
и в глаз.
Врач смотрел,
губу своротив,
нос
под очками
взмо́рща.
Врач
троих
послал в карантин
из
второклассного сборища.
За вторым
надвигался
третий класс,
черный от негритья.
Врач посмотрел:
четвертый час,
время коктейлей
питья.
— Гоните обратно
трюму в щель!
Больные —
видно и так.
Грязный вид...
И вообще —
оспа не привита.—
У негра
виски́
ревмя ревут.
Валяется
в трюме
Том.
Назавтра
Тому
оспу привьют —

и Том
возвратится в дом.
На берегу
у Тома
жена.
Волоса
густые, как нефть.
И кожа ее
черна и жирна,
как вакса
«Черный лев».
Пока
по работам
Том болтается,
— у Кубы
губа не дура —
жену его
прогнали с плантаций
за неотработку
натурой.
Луна
в океан
накидала монет,
хоть сбросься,
вбежав на насыпь!
Недели
ни хлеба,
ни мяса нет.
Недели —
одни ананасы.
Опять
пароход
привинтило винтом.
Следующий —
через недели!
Как дождаться
с голодным ртом?
— Забыл,
разлюбил,
забросил Том!
С белой
рогожу
делит! —

Не заработать ей
и не скрасть.
Везде
полисмены под зонтиком.
А мистеру Свифту
последнюю страсть
раздула
эта экзотика.
Потело
тело
под бельецом
от черненького мясца́.
Он тыкал
доллары
в руку, в лицо,
в голодные месяца.
Схватились —
желудок,
пустой давно,
и верности тяжеловес.
Она
решила отчетливо:
«No!» [1],—
и глухо сказала:
«Yes!» [2]
Уже
на дверь
плечом напирал
подгнивший мистер Свифт.
Его
и ее
наверх
в номера
взвинтил
услужливый лифт.
Явился
Том
через два денька.

---

[1] Нет! *(англ.)*.
[2] Да! *(англ.)*.

Неделю
спал без просыпа.
И рад был,
что есть
и хлеб,
и деньга
и что не будет оспы.
Но день пришел,
и у кож
в темноте
узор непоиятный вплетен.
И дети
у матери в животе
онемевали
и слепли.
Суставы ломая
день ото дня,
года календарные вылистаны,
и кто-то
у тел
половину отнял
и вытянул руки
для милостыни.
Виимаиие
к негру
стало особое.
Когда
собиралась па́ства,
морали
наглядиое это пособие
показывал
постиый пастор:
«Карает бог
и его
и ее
за то, что
водила гостей!»
И слазило
черного мяса гииль е
с гиилых
негритянских костей.

———

В политику
этим
не думал ввязаться я.
А так —
срисовал для видика.
Одии говорят —
«цивилизация»,
другие —
«колониальиая политика».

1926

ХРИСТОФОР КОЛОМБ

Христофор Колумб был Христофор Коломб — испанский еврей.

Из журналов.

1

Вижу, как сейчас,
объедки да бутылки...
В портишке,
известиом
лишь кабачком,
Коломб Христофор
и другие забулдыги
сидят,
нахлобучив
шляпы бочком.
Христофора злят,
пристают к Христофору:
«Что вы за нация?
Один Сиои!
Любой португалишка
даст тебе фору!»
Вконец извели Христофора —
и он
покрыл
дискаиточком
щелканье пробок
(задели
в еврее
больиую струиу):

«Что вы лезете:
Европа да Европа!
Возьму
и открою другую
страну».
Дивятся приятели:
«Что с Коломбом?
Вина не пьет,
не ходит гулять.
Надо смотреть —
не вывихнул ум бы.
Всю ночь сидит,
раздвигает циркуля».

2

Мертвая хватка в молодом еврее;
думает,
не ест,
недосыпает ночей.
Лакеев
оттягивает
за фалды ливреи,
лезет
аж в спальни
королей и богачей.
«Кораллами торгуете?!
Дешевле редиски.
Сам
наловит
каждый мальчуган.
То ли дело
материк индийский:
не барахло —
бирюза,
жемчуга!
Дело верное:
вот вам карта.
Это океан,
а это —
мы.
Пунктиром путь —
и бриллиантов караты

на каждый полтинник,
данный взаймы».
Тесно торгашам.
Томятся непоседы.
По́суху
и в год
не обернется караван.
И закапали
флорины и пезеты
Христофору
в продырявленный карман.

8

Идут,
посвистывая,
отчаянные из отчаянных.
Сзади тюрьма.
Впереди —
ни рубля.
Арабы,
французы,
испанцы
и датчане
лезли
по трапам
Коломбова корабля.
«Кто здесь Коломб?
До Индии?
В ночку!
(Чего не откроешь,
если в пузе орга́н!)
Выкатывай на палубу
белого бочку,
а там
вези
хоть к черту на рога!»
Прощанье — что надо.
Не отъезд — а помпа:
день
не просыхали
капли на усах.

Время
меряли,
вперяясь в компас.
Спьяна
путали штаны и паруса.
Чуть не сшибли
маяк зажженный.
Палубные
не держатся на полу,
и вот,
быть может, отсюда,
с Жижона,
на всех парусах
рванулся Коломб.

4

Единая мысль мне сегодня люба,
что эти вот волны
Коломба лапили,
что в эту же воду
с Коломбова лба
стекали
пота
усталые капли.
Что это небо
землей обмеля,
на это вот облако,
вставшее с юга,—
«На мачты, братва!
глядите —
земля!» —
орал
рассудок теряющий юнга.
И вновь
океан
с простора раскосого
вбивал
в небеса
громыхающий клин,

а после
братался
с волной сарагоссовой,
и вместе
пучки травы волокли.
Он
этой же бури слушал лады.
Когда ж
затихает бури задор,
мерещатся
в водах
Коломба следы,
ведущие
на Сан-Сальвадор.

5

Вырастают дни
в бородатые месяцы.
Луны
мрут
у мачты на колу.
Надоело океану,
Атлантический бесится.
Взбешен Христофор,
извелся Коломб.
С тысячной волны трехпарусник
съехал.
На тысячу первую взбираться
надо.
Видели Атлантический?
Тут не до смеха!
Команда ярится —
устала команда.
Шепчутся:
«Черту ввязались в попутчики.
Дома плохо?
И стол и кровать.
Знаем мы
эти
жидовские штучки —
разные
Америки
закрывать и открывать!»

За капитаном ходят по пятам.
«Вернись!— говорят,
                    играют мушкой.—
Какой ты ни есть
                    капитан-раскапитан,
а мы тебе тоже
                    не фунт с осьмушкой».
Лазит Коломб
                    на бра́мсель с фо́ка,
глаза аж навыкате,
                    исхудал лицом;
пустился вовсю:
                    придумал фокус
со знаменитым
                    Колумбовым яйцом.
Что́ яйцо?—
                    игрушка на́ день.
И день
          не оттянешь
                    у жизни-воровки.
Галдит команда,
                    на Коломба глядя:
«Крепка
          петля
                    из генуэзской веревки.
Кончай,
          Христофор,
                    собачий век!..»
И кортики
          воздух
                    во тьме секут.
«Земля!» —
          Горизонт в туманной
                              кайме.
Как я вот
          в растущую Мексику
и в розовый
          этот
                    песок на заре,
вглазелись.
          Не смеют надеяться:

с кольцом экватора
в медной ноздре
вставал
материк индейцев.

6

Года прошли.
В старика
шипуна
смельчал Атлантический,
гордый смолоду.
С бортов «Мажести́ков»
любая шпана
плюет
в твою
седоусую морду.
Коломб!
твое пропало наследство!
В вонючих трюмах
твои потомки
с машинным адом
в горящем соседстве
лежат,
под щеку
подложивши котомки.
А сверху,
в цветах первоклассных розеток,
катаясь пузом
от танцев
до пьянки,
в уюте читален,
кино
и клозетов
катаются донны,
сеньоры
и янки.
Ты балда, Коломб,—
скажу по чести.
Что касается меня,
то я бы
лично —

я б Америку закрыл,
слегка почистил,
а потом
опять открыл —
вторично.

1925

ТРОПИКИ

(Дорога Вера-Круц — Мехико-сити)

Смотрю:
вот это —
тропики.
Всю жизнь
вдыхаю наново я.
А поезд
прет торопкий
сквозь пальмы,
сквозь банановые.
Их силуэты-веники
встают рисунком тошненьким:
не то они — священники,
не то они — художники.
Аж сам
не веришь факту:
из всей бузы и вара
встает
растенье — кактус
трубой от самовара.
А птички в этой печке
красивей всякой меры.
По смыслу —
воробейчики,
а видом —
шантеклеры.
Но прежде чем
осмыслил лес
и бред,
и жар,
и день я —
и день
и лес исчез

без вечера
и без
предупрежденья.
Где горизонта борозда?!
Все линии
потеряны.
Скажи,
которая звезда
и где
глаза пантерины?
Не счел бы
лучший казначей
звезды́
тропических ночей,
настолько
ночи августа
звездой набиты
нагусто.
Смотрю:
ни зги, ни тропки.
Всю жизнь
вдыхаю наново я.
А поезд прет
сквозь тропики,
сквозь запахи
банановые.
1926

МЕКСИКА

О, как эта жизнь читалась взасос!
Идешь.
Наступаешь на́ ноги.
В руках
превращается
ранец в лассо,
а клячи пролеток —
мустанги.
Взаправду
игрушечный
рос магазин,
ревел
пароходный гудок.

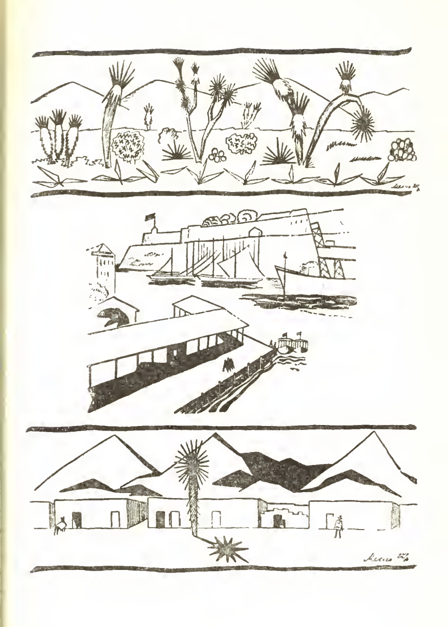
Сейчас же
сбегу
в страну мокасин —
лишь сбондю
рубль и бульдог.
А сегодня —
это не умора.
Сколько миль воды
винтом нарыто,—
и встает
живьем
страна Фениамора
Купера
и Майн Рида.
Рев сирен,
кончается вода.
Мы прикручены
к земле
о локоть локоть.
И берет
набитый «Лефом»
чемодан
Монтигомо
Ястребиный Коготь.
Глаз торопится слезой налиться.
Как? чему я рад?—
— Ястребиный Коготь!
Я ж
твой «Бледнолицый
Брат».
Где товарищи?
чего таишься?
Помнишь,
из-за клумбы
стрелами
отравленными
в Кутаисе
били
мы
по кораблям Колумба?—
Цедит
злобно
Коготь Ястребиный,

медленно,
как треснувшая крынка:
— Нету краснокожих — истребили
гачупины с гринго.
Ну, а тех из нас,
которых
пульки
пощадили,
просвистевши мимо,
кабаками
кактусовой «пульке»
добивает
по 12-ти сантимов.
Заменила
чемоданов куча
стрелы,
от которых
никуда не деться...—
Огрызнулся
и пошел,
сомбреро нахлобуча
вместо радуги
из перьев
птицы Кетцаль.
Года и столетья!
Как ни косите
склоненные головы дней,—
корявые камни
Мехико-сити
прошедшее вышепчут мне.
Это
было
так давно,
как будто не было.
Бабушки столетних попугаев
не запомнят.
Здесь
из зыби озера
вставал Пуэбло,
дом-коммуна
в десять тысяч комнат.
И золото
между озерных зыбей

лежало,
аж рыть не надо вам.
Чего еще,
живи,
бронзовей,
вторая сестра Элладова!
Но очень надо
за морем
белым,
чего индейцу не надо.
Жадна
у белого
Изабелла,
жена
короля Фердинанда.
Тяжек испанских пушек груз.
Сквозь пальмы,
сквозь кактусы лез
по этой дороге
из Вера-Круц
генерал
Эрнандо Кортéс.
Пришел.
Вода студеная
хочет
вскипеть кипятком
от огня.
Дерутся
72 ночи
и 72 дня.
Хранят
краснокожих
двумордые идолы.
От пушек
не видно вреда.
Как мышь на сало,
прельстясь на титулы,
своих
Монтецума предáл.
Напрасно,
разбитых
в отряды спаяв,

Гватемок
в озерной воде
мок.
Что
против пушек
стреленка твоя!..
Под пытками
умер Гватéмок.
И вот стоим,
индеец да я,
товарищ
далекого детства.
Он умер,
чтоб в бронзе
веками стоять
наискосок от полпредства.
Внизу
громыхает
столетий орда,
и горько стоять индейцу.
Чтó братьям его,
рабам,
чехарда
всех этих Хуэрт
и Диэцов?..
Прошла
годов трезначная сумма.
Героика
нынче не тема.
Пивною маркой стал Моктецума,
пивной маркой — Гватéмок.
Буржуи
всё
под одно стригут.
Вконец обесцветили мир мы.
Теперь
в утешенье земле-старику
лишь две
конкурентки фирмы.
Ни лиц пожелтелых,
ни солнца одеж.

В какую
огромную лупу,
в какой трущобе
теперь
найдешь
сарапе и Гваделупу?
Что Рига, что Мехико —
родственный жанр.
Латвия
тропического леса.
Вся разница:
зонтик в руке у рижан,
а у мексиканцев
«Смит и Вéссон».
Две Латвии
с двух земных боков —
различные собой они
лишь тем,
что в Мексике
режут быков
в театре,
а в Риге —
на бойне.
И совсем как в Риге,
около пяти,
проклиная
мамову опеку,
фордом
разжигая жениховский аппетит,
кружат дочки
по Чапультапеку.
А то,
что тут урожай фуража,
что в пальмы земля разодета,
так это от солнца,—
сиди
и рожай
бананы и президентов.
Наверху министры
в бриллиантовом огне.
Под —
народ.
Голейший зад виднеется.



Без штанов,
во-первых, потому, что нет,
во-вторых,—
не полагается:
индейцы.
Обнищало
моктецумье племя,
и стоит оно
там,
где город
выбег
на окраины прощаться
перед вывеской
муниципальной:
«Без штанов
в Мехико-сити
вход воспрещается».
Пятьсот
по Мексике
нищих племен,
а сытый
с одним языком:
одной рукой выжимает в лимон,
одним запирает замком.
Нельзя
борьбе
в племена рассекаться.
Нищий с нищими
рядом!
Несись
по земле
из страны мексиканцев,
роднящий крик:
«Камарада!»
Голод
мастер людей равнять.
Каждый индеец,
кто гол.
В грядущем огне
родня-головня
ацтек,
метис
и креол.

Мильон не угробят богатых лопаты.
Страна!
Поди,
покори ее!
Встают
взамен одного Запаты
Гальваны,
Морено,
Карйо.
Сметай
с горбов
толстопузых обузу,
ацтек,
креол
и метис!
Скорей
над мексиканским арбузом,
багровое знамя, взметись!

Мехико-сити, 20 июля 1925 г.

БОГОМОЛЬНОЕ

Большевики
надругались над верой православной.
В храмах-клубах —
словесные бои.
Колокола без языков —
немые словно.
По божьим престолам
похабничают воробьи.
Без веры
и нравственность ищем напрасно.
Чтоб нравственным быть —
кадилами вей.
Вот Мексика, например,
потому и нравственна,
что прут
богомолки
к вратам церквей.
Кафедраль —
богомольнейший из монашьих институтцев.

Брат «Notre Dame'a»[1]
на площади,—
а около,
запружена народом,
«Площадь Конституции»,
в простонародии —
площадь «Сóкола».
Блестящий
двенадцатицилиндровый
«пакард»
остановил шофер,
простоватый хлопец.
— Стой,— говорит,—
помолюсь пока...—
донна Эсперанца Хуан-де-Лопец.
Нету донны
ни час, ни полтора.
Видно, замолилась.
Веровать так веровать.
И снится шоферу —
донна у алтаря.
Парит
голубочком
душа шоферова.
А в кафедрале
безлюдно и тихо:
не занято
в соборе
ни единого стульца.
С другой стороны
у собора —
выход
сразу
на четыре гудящие улицы.
Донна Эсперанца
выйдет как только,
к донне
дон распаленный кинется.
За угол!
Улица «Изабелла Католика»,
а в этой улице —
гостиница на гостинице.

[1] «Notre Dame» [de Paris] — собор Парижской богоматери.

А дома —
растет до ужина
свирепость мужина.
У дона Лопеца
терпенье лопается.
То крик,
то стон
испускает дон.
Гремит
по квартире
тигровый соло:
— На восемь частей разрежу ее!—
И, выдрав из уса
в два метра волос,
он пробует
сабли своей острие.
— Скажу ей:
«Ина́че, сеньора, лягте-ка!
Вот этот
кольт
ваш сожитель до гроба!» —
И в пумовой ярости
— все-таки практика!—
сбивает
с бутылок
дюжину пробок.
Гудок в два тона —
приехала донна.
Еще
и рев
не успел уйти
за кактусы
ближнего поля,
а у шоферских
виска и груди
нависли
клинок и пистоля.
— Ответ или смерть!
Не вертеть вола!
Чтоб донна
не могла
запираться,

ответь немедленно,
где была
жена моя
Эсперанца?
— О дон Хуан!
В вас дьяволы злобятся.
Не гневайте
божью милость.
Донна Эсперанца
Хуан-де-Лопец
сегодня
усердно
молилась.

1925

МЕКСИКА — НЬЮ-ЙОРК

Бежала
Мексика
от буферов
горящим,
сияющим бредом.
И вот
под мостом
река или ров,
делящая
два Ларедо.
Там доблести —
скачут,
коня загоня,
в пятак
попадают
из кольта,
и скачет конь,
и брюхо коня
о колкий кактус исколото.
А здесь
железо —
не расшатать!
Ни воли,
ни жизни,
ни нерва вам!

И сразу
рябит
тюрьма решета
вам
для знакомства
для первого.
По рельсам
поезд сыпет,
под рельсой
шпалы сыпятся.
И гладью
Миссисипи
под нами миссисипится.
По бокам
поезда
не устанут сновать:
или хвост мелькнет,
или нос.
На боках поездных
страновеют слова:
«Сан-Луйс»,
«Мичига́н»,
«Иллино́йс»!
Дальше, поезд,
огнями расцвеченный!
Лез,
обгоняет,
храпит.
В Нью-Йорк несется
«Тве́нти се́нчери
экспресс».
Курьерский!
Рапи́д!
Кругом дома,
в этажи затеряв
путей
и проволок множь.
Теряй шапчонку,
глаза задеря,
все равно —
ничего не поймешь!

1926

БРОДВЕЙ

Асфальт — стекло.
Иду и звеню.
Леса и травинки —
сбриты.
На север
с юга
идут авеню,
иа запад с востока —
стриты.
А между —
(куда их строитель завез!) —
дома
невозможной длины.
Одни дома
длиною до звезд,
другие —
длииой до луны.
Янки
подошвами шлепать
ленив:
простой
и курьерский лифт.
В 7 часов
человечий прилив,
в 17 часов —
отлив.
Скрежещет механика,
звон и гам,
а люди
иемые в звоне.
И лишь замедляют
жевать чуингам,
чтоб бросить:
«Мек моней?»
Мамаша
грудь
ребенку дала.

Ребенок
с каплями из носу,
сосет
как будто
не грудь, а долла́р —
занят
серьезным
бизнесом.
Работа окончена.
Тело обвей
в сплошной
электрический ветер.
Хочешь под землю —
бе́рн собвей,
на небо —
берн элевейтер.
Вагоны
едут
и дымам под рост,
и в пятках
домовьих
трутся,
и вынесут
хвост
на Бруклинский мост,
и спрячут
в норы
под Гудзон.
Тебя ослепило,
ты осовел.
Но,
как барабанная дробь,
из тьмы
по темени:
«Кофе Максве́л
гуд
ту ди ласт дроп».
А лампы
как станут
ночь копать,
ну, я доложу вам —
пламечко!

Налево посмотришь —
мамочка мать!
Направо —
мать моя мамочка!
Есть что поглядеть московской братве.
И за́ день
в конец не дойдут.
Это Нью-Йорк.
Это Бродвей.
Гау ду ю ду!
Я в восторге
от Нью-Йорка города.
Но
кепчонку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.

6 августа 1925 г. Нью-Йорк.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ

Вид индейцев таков:
пернат,
смешон
и нездешен.
Они
приезжают
из первых веков
сквозь лязг
«Пенсильвэниа Сте́йшен».
Им
Ку́лидж
пару пальцев суют.
Снимают
их
голливудцы.

На крыши ведут
в ресторанный уют.
Под ними,
гульбу разгудевши свою,
нью-йоркские улицы льются.
Кто их радует?
чем их злят?
О чем их дума?
куда их взгляд?
Индейцы думают:
«Ишь —
капитал!
Ну и дома́ застроил.
Всё отберем
ни за пятак
при
социалистическом строе.
Сначала
будут
бои клокотать.
А там
ни вражды,
ни начальства!
Тишь
да гладь
да божья благодать —
сплошное луначарство.
Иными
рейсами
вспенятся воды;
пойдут
пароходы зажаривать,
сюда
из Москвы
возить переводы
произведений Жарова.
И радио —
только мгла легла —
правду-матку вызвенит.
Придет
и расскажет
на весь вигвам,

в чем
красота
жизни.
И к правде
пойдет
индейская рать,
вздымаясь
знаменной уймою...»
Впрочем,
зачем
про индейцев врать?
Индейцы
про это
не думают.
Индеец думает:
«Там,
где черно
воде
у моста в оскале,
плескался
недавно
юркий челнок
деда,
искателя скальпов.
А там,
где взвит
этажей коробóк
и жгут
миллион киловатт,—
стоял
индейский
военный бог,
брюхат
и головат.
И все,
что теперь
вокруг течет,
все,
что отсюда видимо,—
все это
вытворил белый черт,
заморская
белая ведьма.

Их
всех бы
в лес прогнать
в один,
и мы чтоб
с копьем гонялись...»
Поди
под такую мысль
подведи
классовый анализ.
Мысль человечья
много сложней,
чем знают
у нас
о ней.
Тряхнув
опереньем нарядную рядь
над пастью
облошаделой,
сошли
и — пока!
пошли вымирать.
А что им
больше
делать?
Подумай
о новом агит-винте.
Ввинти,
чтоб задор не гас его.
Ждут.
Переводи, Коминтерн,
расовый гнев
на классовый.
1926

БАРЫШНЯ И ВУЛЬВОРТ

Бродвей сдурел.
Бегня и гу́лево.
Дома́
с небес обрываются
и висят.

Но даже меж ними
заметишь Ву́льворт.
Корсетная коробка
этажей под шестьдесят.
Сверху
разведывают
звезд взводы,
в средних
тайпистки
стрекочут бешено.
А в самом нижнем —
«Дрогс со́да,
грет энд фе́ймус ко́мпани-не́йшенал».
А в окошке мисс
семнадцати лет
сидит для рекламы
и точит ножи.
Ржавые лезвия
фирмы «Жиллет»
кладет в патентованный
железный зажим
и гладит
и водит
кожей ремня.
Хотя
усов
и не полагается ей,
но водит
по губке,
усы возомня, —
дескать —
готово,
наточил и брей.
Наточит один
до сияния лучика
и новый ржавый
берет для возни.
Наточит,
вынет
и сделает ручкой.

Дескать —
зайди,
купи,
возьми.
Буржуем не сделаешься с бритвенной точки.
Бегут без бород
и без выражений на лице.
Богатств буржуйских особые источники:
работай на доллар,
а выдадут цент.
У меня ни усов,
ни долларов,
ни шевелюр,—
и в горле
застревают
английского огрызки.
Но я подхожу
и губми шевелю —
как будто
через стекло
разговариваю по-английски.
«Сидишь,
глазами буржуев охлопана.
Чем обнадежена?
Дура из дур».
А девушке слышится:
«Опен,
о́пен ди дор»[1].
«Что тебе заботиться
о чужих усах?
Вот...
посадили...
как дуру еловую».
А у девушки
фантазия раздувает паруса,
и слышится девушке:
«Ай ло́в ю»[2].
Я злею:
«Выдь,
окно разломай,—

[1] Откройте, откройте дверь (*англ.*— Open, open the door).
[2] Я люблю вас (*англ.*— I love you).

а бритвы раздай
для жирных горл».
Девушке мнится:
«Май,
май гёрл» [1].
Выходит
фантазия из рамок и мерок —
и я
кажусь
красивый и толстый.
И чудится девушке —
влюбленный клерк
на ней
жениться
приходит с Во́лстрит.
И верит мисс,
от счастья дрожа,
что я —
долларовый воротила,
что ей
уже
в других этажах
готовы бесплатно
и стол
и квартира.
Как врезать ей
в голову
мысли-ножи,
что русским известно другое средство,
как влезть рабочим
во все этажи
без грез,
без свадеб,
без жданий наследства.

1925

НЕБОСКРЕБ В РАЗРЕЗЕ

Возьми
разбольшущий
дом в Нью-Йорке,

[1] Моя, моя милая (*англ.*— My, my girl).

взгляни
насквозь
на зданье на то.
Увидишь —
старейшие
норки да каморки —
совсем
дооктябрьский
Елец аль Конотоп.
Первый —
ювелиры,
караул бессменный,
замок
зацепился ставням о бровь.
В сером
герои кино,
полисмены,
лягут
собаками
за чужое добро.
Третий —
спят бюро-конторы.
Ест
промокашки
рабий пот.
Чтоб мир
не забыл,
хозяин который,
на вывесках
золотом
«Вильям Шпрот».
Пятый.
Подсчитав
приданные сорочки,
мисс
перезрелая
в мечте о женихах.
Вздымая грудью
ажурные строчки,
почесывает
пышных подмышек меха.

Седьмой.
Над очагом
домашним
высясь,
силы сберегши
спортом смолоду,
сэр
своей законной ми́ссис,
узнав об измене,
кровавит морду.
Десятый.
Медовый.
Пара легла.
Счастливей,
чем Ева с Адамом были.
Читают
в «Таймсе»
отдел реклам:
«Продажа в рассрочку автомобилей».
Тридцатый.
Акционеры
сидят увлечены,
делят миллиарды,
жадны и озабочены.
Прибыль
треста
«изготовленье ветчины
из лучшей
дохлой
чикагской собачины».
Сороковой.
У спальни
опереточной дивы.
В скважину
замочную,
сосредоточив прыть,
чтоб Ку́лидж дал развод,
детективы
мужа
должны
в кровати накрыть.
Свободный художник,
рисующий задочки,

дремлет в девяностом,
думает одно:
как бы ухажнуть
за хозяйской дочкой —
да так,
чтоб хозяину
всучить полотно.
А с крыши стаял
скатертный снег.
Лишь ест
в ресторанной выси
большие крохи
уборщик-негр,
а маленькие крошки —
крысы.
Я смотрю,
и злость меня берет
на укрывшихся
за каменный фасад.
Я стремился
за 7000 верст вперед,
а приехал
на 7 лет назад.

1925

ПОРЯДОЧНЫЙ ГРАЖДАНИН

Если глаз твой
врага не видит,
пыл твой выпили
нэп и торг,
если ты
отвык ненавидеть,—
приезжай
сюда,
в Нью-Йорк.
Чтобы, в мили улиц опутан,
в боли игл
фонарных ежей,
ты прошел бы
со мной
лилипутом

у подножия
их этажей.
Видишь —
вон
выгребают мусор —
на объедках
с детьми пронянчиться,
чтоб в авто,
обгоняя «бусы»,
ко дворцам
неслись бриллиантщицы.
Загляни
в окошки в эти —
здесь
наряд им вышили княжий.
Только
сталью глушит элевейтер
хрип
и кашель
чахотки портняжей.
А хозяин —
липкий студень —
с мордой,
вспухшей на радость чирю́,
у работницы
щупает груди:
«Кто понравится —
удочерю!
Двести дам
(если сотни мало),
грусть
сгоню
навсегда с очей!
Будет
жизнь твоя —
Ку́ни-Айланд,
луна-парк
в миллиард свечей».
Уведет —
а назавтра
зве́рья,
волчья банда
бесполых старух

проститутку —
в смолу и в перья,
и опять
в смолу и в пух.
А хозяин
в отеле Пла́за,
через рюмку
и с богом сблизясь,
закатил
в поднебесье глазки:
«Се́нк'ю
за хороший бизнес!»
Успокойтесь,
вне опасения
ваша трезвость,
нравственность,
дети,
барабаны
«армий спасения»
вашу
в мир
трубят добродетель.
Бог
на вас
не разукоризнится:
с вас
и маме их —
на платок,
и ему
соберет для ризницы
божий ме́наджер,
поп Платон.
Клоб полиций
на вас не свалится.
Чтобы ты
добрел, как кулич,
смотрит сквозь холеные пальцы
на тебя
демократ Кули́дж.
И, елозя
по небьим сводам
стражем ханжества,
центов
и сала,

пялит
руку
ваша свобода
над тюрьмою
Элис-Айланд.
1925

ВЫЗОВ

Горы злобы
аж ноги гнут.
Даже
шея вспухает зобом.
Лезет в рот,
в глаза и внутрь.
Оседая,
влезает злоба.
Весь в огне.
Стою на Риверсайде.
Сбоку
фордами
штурмуют мрака форт.
Небоскребы
локти скручивают сзади,
впереди
американский флот.
Я смеюсь
над их атакою тройною.
Ники Картеры
мою
недоглядели визу.
Я
полпред стиха —
и я
с моей страной
вашим штатишкам
бросаю вызов.
Если
кроха протухла,
пле́снится,
выбрось
весь
прогнивший кус.

Сплюнул я,
не доев и месяца
вашу доблесть,
законы,
вкус.
Посылаю к чертям свинячим
все доллары
всех держав.
Мне бы
кончить жизнь
в штанах,
в которых начал,
ничего
за век свой
не стяжав.
Нам смешны
дозволенного зоны.
Взвод мужей,
остолбеней,
цинизмом поражен!
Мы целуем
— беззаконно! —
над Гудзоном
ваших
длинноногих жен.
День наш
шумен.
И вечер пышен.
Шлите
сыщиков
в щелки слушать.
Пьем,
плюя
на ваш прогибишен,
ежедневную
«Белую лошадь».
Вот и я
стихом побрататься
прикатил и вбиваю мысли,
не боящиеся депортаций:
ни сослать их нельзя
и не выселить.

Мысль
сменяют слова,
а слова —
дела,
и глядишь,
с небоскребов города,
раскачав,
в мостовые
вбивают тела —
Вандерлипов,
Рокфеллеров,
Фордов.
Но пока
доллар
всех поэм родовей.
Обирая,
лапя,
хапая,
выступает,
порфирой надев Бродвей,
капитал —
его препохабие.
1925

100%

Шеры...
облигации...
доллары...
центы...
В винницкой глуши тьмутараканясь,
так я рисовал,
вот так мне представлялся
стопроцентный
американец.
Родила сына одна из жен.
Отвернув
пеленочный край,
акушер демонстрирует:
Джон как Джон.
Ол райт!
Девять фунтов,
глаза —
пятачки.

Ощерив зубовный ряд,
отец
протер
роговые очки:
Ол райт!
Очень прост
воспитанья вопрос.
Ползает,
лапы марает.
Лоб расквасил —
ол райт!
нос —
ол райт!
Отец говорит:
«Бездельник Джон.
Ни цента не заработал,
а гуляет!»
Мальчишка
Джон
выходит вон.
Ол райт!
Техас,
Калифорния,
Массачузэ́т.
Ходит
из края в край.
Есть хлеб —
ол райт!
нет —
ол райт!
Подрос,
поплевывает слюну.
Трубчонка
горит, не сгорает.
«Джон,
на пари,
пойдешь на луну?»
Ол райт!
Одну полюбил,
назвал дорогой.
В азарте
играет в рай.

Она изменила,
ушел к другой.
Ол райт!
Наследство Джону.
Расходов —
рой.
Миллион
растаял от трат.
Подсчитал,
улыбнулся —
найдем второй.
Ол райт!
Работа.
Хозяин —
лапчатый гусь —
обкрадывает
и обирает.
Джон
намотал
на бритый ус.
Ол райт!
Хозяин выгнал.
Ну, что ж!
Джон
рассчитаться рад.
Хозяин за кольт,
а Джон за нож.
Ол райт!
Джон
хозяйской пулей сражен.
Шепчутся:
«Умирает».
Джон услыхал,
усмехнулся Джон.
Ол райт!
Гроб.
Квадрат прокопали черный.
Земля —
как по крыше град.
Зарыли.
Могильщик
вздохнул облегченно.
Ол райт!

Этих Джонов
нету в Нью-Йорке.
Мистер Джон,
жена его
и кот
зажирели,
спят
в своей квартирной норке,
просыпаясь
изредка
от собственных икот.
Я разбезалаберный до крайности,
но судьбе
не любящий
учтиво кланяться,
я,
поэт,
и то американистей
самого что ни на есть
американца.

1925

АМЕРИКАНСКИЕ РУССКИЕ

Петров
Капла́ном
за пуговицу пойман.
Штаны
заплатаны,
как балканская карта.
«Я вам,
сэр,
назначаю апо́йнтман.
Вы знаете,
кажется,
мой апа́ртман?
Тудой пройдете четыре блока,
потом
сюдой дадите крен.
А если
стритка́ра набита,
около

можете взять
подземный трен.
Возьмите
с меняньем пересядки тикет
и прите спокойно,
будто в телеге.
Слезете на ко́рнере
у дрогс ликет,
а мне уж
и пинту
принес бутлегер.
Приходите ровно
в се́вен окло́к,—
поговорим
про новости в городе
и проведем
по-московски вечерок,—
одни свои:
жена да бо́рдер.
А с джабом завозитесь в течение дня
или
раздумаете вовсе —
тогда
обязательно
отзвоните меня.
Я буду
в о́фисе».
«Гуд бай!» —
разнеслось окре́ст
и кануло
ветру в свист.
Мистер Петров
пошел на Вест,
а мистер Каплан —
на Ист.
Здесь, извольте видеть, «джаб»,
а дома
«цуп» да «цус».
С насыпи
язык
летит на полном пуске.
Скоро
только очень образованный
француз

будет
кое-что
соображать по-русски.
Горланит
по этой Америке самой
стоязыкий
народ-оголтец.
Уж если
Одесса — Одесса-мама,
то Нью-Йорк —
Одесса-отец.

1925

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ

Издай, Кули́дж,
радостный клич!
На хорошее
и мне не жалко слов.
От похвал
красней,
как флага нашего мате́рика,
хоть вы
и разъюнайтед стетс
оф
Америка.
Как в церковь
идет
помешавшийся верующий,
как в скит
удаляется,
строг и прост,—
так я
в вечерней
сереющей мерещи
вхожу,
смиренный, на Бру́клинский мост.
Как в город
в сломанный
прет победитель
на пушках — жерлом
жирафу под рост —

так, пьяный славой,
так жить в аппетите,
влезаю,
гордый,
на Бруклинский мост.
Как глупый художник
в мадонну музея
вонзает глаз свой,
влюблен и остр,
так я,
с поднебесья,
в звезды усеян,
смотрю
на Нью-Йорк
сквозь Бруклинский мост.
Нью-Йорк
до вечера тяжек
и душен,
забыл,
что тяжко ему
и высо́ко,
и только одни
домовьи души
встают
в прозрачном свечении о́кон.
Здесь
еле зудит
элевейтеров зуд.
И только
по этому
тихому зуду
поймешь —
поезда́
с дребезжаньем ползут,
как будто
в буфет убирают посуду.
Когда ж,
казалось, с-под речки на́чатой
развозит
с фабрики
сахар лавочник,—
то
под мостом проходящие мачты

размером
не больше размеров булавочных.
Я горд
вот этой
стальною милей,
живьем в ней
мои видения встали —
борьба
за конструкции
вместо стилей,
расчет суровый
гаек
и стали.
Если
придет
окончание света —
планету
хаос
разделает в лоск,
и только
один останется
этот
над пылью гибели вздыбленный мост,
то,
как из косточек,
тоньше иголок,
тучнеют
в музеях стоя́щие
ящеры,
так
с этим мостом
столетий геолог
сумел
воссоздать бы
дни настоящие.
Он скажет:
— Вот эта
стальная лапа
соединяла
моря и прерии,
отсюда
Европа
рвалась на Запад,

пустив
по ветру
индейские перья.
Напомнит
машину
ребро вот это —
сообразите,
хватит рук ли,
чтоб, став
стальной ногой
на Мангéтен,
к себе
за губу
притягивать Брýклин?
По проводам
электрической пряди —
я знаю —
эпоха
после пара —
здесь
люди
уже
орали по радио,
здесь
люди
уже
взлетали по аэро.
Здесь
жизнь
была
одним — беззаботная,
другим —
голодный
протяжный вой.
Отсюда
безработные
в Гудзон
кидались
вниз головой.
И дальше
картина моя
без загвоздки

по струнам-канатам,
аж звездам к ногам.
Я вижу —
здесь
стоял Маяковский,
стоял
и стихи слагал по слогам.—
Смотрю,
как в поезд глядит эскимос,
впиваюсь,
как в ухо впивается клещ.
Бру́клииский мост —
да...
Это вещь!

1925

КЕМП «НИТ ГЕДАЙГЕ»

Запретить совсем бы
иочи-негодяйке
выпускать
из пасти
столько звездных жал.
Я лежу,—
палатка
в Кемпе «Нит гедайге».
Не по мие все это.
Не к чему...
и жаль...
Взвоют
и замрут сирены над Гудзоном,
будто бы решают:
выть или не выть?
Лучше бы ие выли.
Пассажирам соииым
надо просыпаться,
думать,
есть,
любить...
Прямо
перед мордой
пролетает вечность —

бесконечночасый распустила хвост.
Были б все одеты,
и в белье́, конечно,
если б время
ткало
не часы,
а холст.
Впречь бы это
время
в приводной бы ре́мень,—
спустят
с холостого —
и чеши и сыпь!
Чтобы
не часы показывали время,
а чтоб время
честно
двигало часы.
Ну, американец...
тоже...
чем гордится.
Втер очки Нью-Йорком.
Видели его.
Сотня этажишек
в небо городится.
Этажи и крыши —
только и всего.
Нами
через пропасть
прямо к коммунизму
перекинут мост,
длиною —
во́ сто лет.
Что ж,
с мостища с этого
глядим с презрением вниз мы?
Кверху нос задрали?
загордились?
Нет.
Мы
ничьей башки
мостами не морочим.

Что такое мост?
Приспособленье для простуд.
Тоже...
без домов
не проживете очень
на одном
таком
возвышенном мосту.
В мире социальном
те же непорядки:
три доллара за́ день,
на —
и отвяжись.
А у Форда сколько?
Что играться в прятки!
Ну, скажите, Ку́лидж,—
разве это жизнь?
Много ль
человеку
(даже Форду)
надо?
Форд —
в мильонах фордов,
сам же Форд —
в аршин.
Мистер Форд,
для вашего,
для высохшего зада
разве мало
двух
просторнейших машин?
Лишек —
в М. К. Х.
Повесим ваш портретик.
Монумент
и то бы
вылепили с вас.
Кланялись бы детки,
вас
случайно встретив.
Мистер Форд —
отдайте!
Даст он...
Черта с два!

За палаткой
мир
лежит угрюм и темен.
Вдруг
ракетой сон
звенит в уныньe в это:
«Мы смело в бой пойдем
за власть Советов...»
Ну, и сон приснит вам
полночь-негодяйка!
Только сон ли это?
Слишком громок сон.
Это
комсомольцы
Кемпа «Нит гедайге»
песней
заставляют
плыть в Москву Гудзон.

20 сентября 1925 г. Нью-Йорк.

ДОМОЙ!

Уходите, мысли, восвояси.
Обнимись,
души и моря глубь.
Тот,
кто постоянно ясен,—
тот,
по-моему,
просто глуп.
Я в худшей каюте
из всех кают —
всю ночь надо мною
ногами куют.
Всю ночь,
покой потолка возмутив,
несется танец,
стонет мотив:
«Маркита,
Маркита,
Маркита моя,

зачем ты,
Маркита,
не любишь меня...»
А зачем
любить меня Марките?!
У меня
и франков даже нет.
А Маркиту
(толечко моргните!)
за́ сто франков
препроводят в кабинет.
Небольшие деньги —
поживи для шику —
нет,
интеллигент,
взбивая грязь вихров,
будешь всучивать ей
швейную машинку,
по стежкам
строчащую
шелка́ стихов.
Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —
низом шахт,
серпов
и вил,—
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.
Все равно —
сослался сам я
или послан к маме —
слов ржавеет сталь,
чернеет баса медь.
Почему
под иностранными дождями
вымокать мне,
гнить мне
и ржаветь?

Вот лежу,
уехавший за воды,
ленью
еле двигаю
моей машины части.
Я себя
советским чувствую
заводом,
вырабатывающим счастье.
Не хочу,
чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали
после служебных тя́гот.
Я хочу,
чтоб в дебатах
потел Госплан,
мне давая
задания на́ год.
Я хочу,
чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.
Я хочу,
чтоб сверхставками спе́ца
получало
любовищу сердце.
Я хочу,
чтоб в конце работы
завком
запирал мои губы
замком.
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал
доклады Сталин.
«Так, мол,
и так...
И до самых верхов

прошли
из рабочих нор мы:
в Союзе
Республик
пониманье стихов
выше
довоенной нормы...»

1925

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка.
В горле
горе комом —
не смешок.
Вижу —
взрезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.
— Прекратите!
Бросьте!
Вы в своем уме ли?
Дать,
чтоб щеки
заливал
смертельный мел?!
Вы ж
такое
загибать умели,

что другой
на свете
не умел.
Почему?
Зачем?
Недоуменье смяло.
Критики бормочут:
— Этому вина
то...
да сё...
а главное,
что смычки мало,
в результате
много пива и вина.—
Дескать,
заменить бы вам
богему
классом,
класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну, а класс-то
жажду
заливает квасом?
Класс — он тоже
выпить не дурак.
Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостóв —
стали б
содержанием
премного одарённей.
Вы бы
в день
писали
строк по стó,
утомительно
и длинно,
как Доронин.
А по-моему,
осуществись
такая бредь,
на себя бы
раньше наложили руки.

Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки!
Не откроют
нам
причин потери
ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Подражатели обрадовались:
бис!
Над собою
чуть не взвод
расправу учинил.
Почему же
увеличивать
число самоубийств?
Лучше
увеличь
изготовление чернил!
Навсегда
теперь
язык
в зубах затворится.
Тяжело
и неуместно
разводить мистерии.
У народа,
у языкотворца,
умер
звонкий
забулдыга подмастерье.
И несут
стихов заупокойный лом,
с прошлых
с похорон
не переделавши почти.

В холм
тупые рифмы
загонять колом —
разве так
поэта
надо бы почтить?
Вам
и памятник еще не слит,—
где он,
бронзы звон,
или гранита грань?—
а к решеткам памяти
уже
понанесли
посвящений
и воспоминаний дрянь.
Ваше имя
в платочки рассоплено,
ваше слово
слюнявит Собинов
и выводит
под березкой дохлой —
«Ни слова,
о дру-уг мой,
ни вздо-о-о-о-ха».
Эх,
поговорить бы иначе
с этим самым
с Леонидом Лоэнгринычем!
Встать бы здесь
гремящим скандалистом:
— Не позволю
мямлить стих
и мять!—
Оглушить бы
их
трехпалым свистом
в бабушку
и в бога душу мать!
Чтобы разнеслась
бездарнейшая по́гань,

раздувая
темь
пиджачных парусов,
чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов.
Дрянь
пока что
мало поредела.
Дела много —
только поспевать.
Надо
жизнь
сначала переделать,
переделав —
можно воспевать.
Это время —
трудновато для пера,
но скажите
вы,
калеки и калекши,
где,
когда,
какой великий выбирал
путь,
чтобы протоптанней
и легше?
Слово —
полководец
человечьей силы.
Марш!
Чтоб время
сзади
ядрами рвалось.
К старым дням
чтоб ветром
относило
только
путаницу волос.

Для веселия
планета наша
мало оборудована.
Надо
вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.

1926

МАРКСИЗМ — ОРУЖИЕ, ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ МЕТОД. ПРИМЕНЯЙ УМЕЮЧИ МЕТОД ЭТОТ!

Штыками
двух столетий стык
закрепляет
рабочая рать.
А некоторые
употребляют штык,
чтоб им
в зубах ковырять.
Все хорошо:
поэт поет,
критик
занимается критикой.
У стихотворца —
корытце свое,
у критика —
свое ко́рытико.
Но есть
не имеющие ничего,
окромя
красивого почерка.
А лезут
в книгу,
хваля
и громя

из пушки
критического очерка.
А чтоб
имелось
научное лицо
у этого
вздора злопыхáнного —
всегда
на столе
покрытый пыльцой
неразрезанный том
Плеханова.
Зазубрит фразу
(ишь, ребятье!)
и ходит за ней,
как за няней.
Бытье —
а у этого — еда и питье
определяет сознание.
Перелистывая
авторов
на букву «эл»,
фамилию
Лермонтова
встретя,
критик выясняет,
чтó он ел
на первое
и чтó — на третье.
— Шампанское пил?
Выпивал, допустим.
Налет буржуазный густ.
А его
любовь
к маринованной капусте
доказывает
помещичий вкус.
В Лермонтове, например,
чтоб далеко не идти,
смысла
не больше,
чем огурцов в акации.

Целые
хоры
небесных светил,
и ни слова
об электрификации.
Но,
очищая ядро
от фразерских корок,
бобы —
от шелухи лиризма,
признаю,
что Лермонтов
близок и дорог
как первый
обличитель либерализма.
Массам ясно,
как ни хитри,
что, милюковски юля,
светила
у Лермонтова
ходят без ветрил,
а некоторые —
и без руля.
Но так ли
разрабатывать
важнейшую из тем?
Индивидуализмом пичкать?
Демоны в ад,
а духи —
в эдем?
А где, я вас спрашиваю, смычка?
Довольно
этих
божественных легенд!
Любою строчкой вырванной
Лермонтов
доказывает,
что он —
интеллигент,
к тому же
деклассированный!
То ли дело
наш Степа

— забыл,
к сожалению,
фамилию и отчество,—
у него
в стихах
Коминтерна топот...
Вот это —
настоящее творчество!
Степа —
кирпич
какого-то здания,
не ему
разговаривать вкось и вкривь.
Степа
творит,
не затемняя сознания,
без волокиты аллитераций
и рифм.
У Степы
незнание
точек и запятых
заменяет
инстинктивный
массовый разум,
потому что
батрачка —
мамаша их,
а папаша —
рабочий и крестьянин сразу.—
В результате
вещь
ясней помидора
обволакивается
туманом сизым,
и эти
горы
нехитрого вздора
некоторые
называют марксизмом.
Не говорят
о веревке
в журнале повешенного,

не изменить
шаблона прилежного.
Лежнев зарадуется —
«он про Вешнева».
Вешнев
— «он про Лежнева».

19 апреля 1926 г.

ЧЕТЫРЕХЭТАЖНАЯ ХАЛТУРА

В центре мира
стоит Гиз —
оправдывает штаты служебный раж.
Чтоб книгу
народ
зубами грыз,
наворачивается
миллионный тираж.
Лицо
тысячеглазого треста
блестит
электричеством ровным.
Вшивают
в Маркса
Аверченковы листы,
выписывают гонорары Цицеронам.
Готово.
А зав
упрется назавтра
в заглавие,
как в забор дышлом.
Воедино
сброшировано
12 авторов!
— Как же это, родимые, вышло?? —
Темь
подвалов
тиражом беля,
залегает знание —
и лишь

бегает
по книжным штабеля́м
жирная провинциалка —
мышь.
А читатели
сидят
в своей уездной яме,
иностранным упиваются,
мозги щадя.
В Африки
вослед за Бену́ями
улетают
на своих жилплощадях.
Званье
— «пролетарские» —
нося как эполеты,
без ошибок
с Пушкина
списав про вёсны,
выступают
пролетарские поэты,
развернув
рулоны строф повёрстных.
Чем вы — пролетарий,
уважаемый поэт?
Вы
с богемой слились
9 лет назад.
Ну, скажите,
уважаемый пролет,—
вы давно
динаму
видели в глаза?
— Извините
нас,
сермяжных,
за стишонок неудачненький.
Не хотите
под гармошку поплясать ли? —
Это,
в лапти нарядившись,
выступают дачники

под заглавием
— крестьянские писатели.
О, сколько нуди такой городимо,
от которой
мухи падают замертво!
Чего только стоит
один Радимов
с греко-рязанским своим гекзаметром!
Разлунивши
лысины лачкй,
убежденно
взявши
ручку в ручки,
бороденок
теребя пучки,
честно
пишут про Октябрь
попутчики.
Раньше
маленьким казался и Лесков —
рядышком с Толстым
почти не виден.
Ну, скажите мне,
в какой же телескоп
в те недели
был бы виден Лидин?!
— На Руси
одно веселье —
пити... —
А к питью
подай краюху
и кусочек сыру.
И орут писатели
до хрипоты
о быте,
увлекаясь
бытом
госиздатовских кассиров.
Варят чепуху
под клубы
трубочного дыма —

всякую уху
сожрет
читатель-Фока.
А неписаная жизнь
проходит
мимо
улицею фыркающих окон.
А вокруг
скачут критики
в мыле и пене:
— Здорово пишут писатели, братцы!
— Гений-Казин,
Санников-гений...
Все замечательно!
Рады стараться! —
С молотка
литература пущена.
Где вы,
сеятели правды
или звезд сиятели?
Лишь в четыре этажа халтурщина:
Гиза,
критика,
читаки
и писателя.
Нынче
стала
зелень веток в редкость,
гол
литературы ствол.
Чтобы стать
поэту крепкой веткой —
выкрепите мастерство!

1926

РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ

Гражданин фининспектор!
Простите за беспокойство.
Спасибо...
не тревожьтесь...
я постою...

У меня к вам
дело
деликатного свойства:
о месте
поэта
в рабочем строю.
В ряду
имеющих
лабазы и угодья
и я обложен
и должен караться.
Вы требуете
с меня
пятьсот в полугодие
и двадцать пять
за неподачу деклараций.
Труд мой
любому
труду
родствен.
Взгляните —
сколько я потерял,
какие
издержки
в моем производстве
и сколько тратится
на материал.
Вам,
конечно, известно явление «рифмы».
Скажем,
строчка
окончилась словом
«отца»,
и тогда
через строчку,
слога повторив, мы
ставим
какое-нибудь:
ламцадрица-цá.
Говоря по-вашему,
рифма —
вексель.

Учесть через строчку! —
вот распоряжение.
И ищешь
мелочишку суффиксов и флексий
в пустующей кассе
склонений
и спряжений.
Начнешь это
слово
в строчку всовывать,
а оно не лезет —
нажал и сломал.
Гражданин фининспектор,
честное слово,
поэту
в копеечку влетают слова.
Говоря по-нашему,
рифма —
бочка.
Бочка с динамитом.
Строчка —
фитиль.
Строка додымит,
взрывается строчка,—
и город
на воздух
строфой летит.
Где найдешь,
на какой тариф,
рифмы,
чтоб враз убивали, нацелясь?
Может,
пяток
небывалых рифм
только и остался
что в Венецуэле.
И тянет
меня
в холода и в зной.
Бросаюсь,
опутан в авансы и в займы я.
Гражданин,
учтите билет проездной!

— Поэзия
— вся! —
езда в незнаемое.
Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.
Но как
испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с тлением
слова-сырца.
Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.
Конечно,
различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
легкость руки!
Тянет,
как фокусник,
строчку изо рта
и у себя
и у других.
Что говорить
о лирических кастратах?!
Строчку
чужую
вставит — и рад.
Это
обычное
воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.
Эти
сегодня
стихи и оды,

в аплодисментах
ревомые ревмя,
войдут
в историю
как накладные расходы
на сделанное
нами —
двумя или тремя.
Пуд,
как говорится,
соли столовой
съешь
и сотней папирос клуби,
чтобы
добыть
драгоценное слово
из артезианских
людских глубин.
И сразу
ниже
налога рост.
Скиньте
с обложенья
нуля колесо!
Рубль девяносто
сотня папирос,
рубль шестьдесят
столовая соль.
В вашей анкете
вопросов масса:
— Были выезды?
Или выездов нет? —
А что,
если я
десяток пегасов
загнал
за последние
15 лет?!
У вас —
в мое положение войдите —
про слуг
и имущество
с этого угла.

А что,
если я
народа водитель
и одновре́менно —
народный слуга?

Класс
гласит
из слова из нашего,
а мы,
пролетарии,
двигатели пера.

Машину
души
с годами изнашиваешь.

Говорят:
— в архив,
исписался,
пора! —

Все меньше любится,
все меньше дерзается,
и лоб мой
время
с разбега круши́т.

Приходит
страшнейшая из амортизаций —
амортизация
сердца и души.

И когда
это солнце
разжиревшим боровом
взойдет
над грядущим
без нищих и калек, —
я
уже
сгнию,
умерший под забором,
рядом
с десятком
моих коллег.

Подведите
мой
посмертный баланс!
Я утверждаю
и — знаю — не налгу:
на фоне
сегодняшних
дельцов и пролаз
я буду
— один! —
в непролазном долгу.
Долг наш —
реветь
медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
у бурь в кипенье.
Поэт
всегда
должник вселенной,
платящий
на го́ре
проценты
и пени.
Я
в долгу
перед Бродвейской лампионией,
перед вами,
багдадские небеса,
перед Красной Армией,
перед вишнями Японии —
перед всем,
про что
не успел написать.
А зачем
вообще
эта шапка Сене?
Чтобы — целься рифмой —
и ритмом ярись?
Слово поэта —
ваше воскресение,
ваше бессмертие,
гражданин канцелярист.

Через столетья
в бумажной раме
возьми строку
и время верни!
И встанет
день этот
с фининспекторами,
с блеском чудес
и с вонью чернил.
Сегодняшних дней убежденный житель,
выправьте
в энкапеэс
на бессмертье билет
и, высчитав
действие стихов,
разложите
заработок мой
на триста лет!
Но сила поэта
не только в этом,
что, вас
вспоминая,
в грядущем икнут.
Нет!
И сегодня
рифма поэта —
ласка
и лозунг,
и штык,
и кнут.
Гражданин фининспектор,
я выплачу пять,
все
нули
у цифры скрестя!
Я
по праву
требую пядь
в ряду
беднейших
рабочих и крестьян.

А если
вам кажется,
что всего делóв —
это пользоваться
чужими словесами,
то вот вам,
товарищи,
мое стилó,
и можете
писать
сами!

1926

ПЕРЕДОВАЯ ПЕРЕДОВОГО

Довольно
сонной,
расслабленной праздности!
Довольно
козырянья
в тысячи рук!
Республика искусства
в смертельной опасности —
в опасности краска,
слово,
звук.
Громы
зажаты
у слова в кулаке,—
а слово
зовется
только с тем,
чтоб кланялось
событью
слово-лакей,
чтоб слово плелось
у статей в хвосте.
Брось дрожать
за шкуры скряжьи!
Вперед забегайте,
не боясь суда!
Зовите рукой
с грядущих кряжей:

«Пролетарий,
сюда!»
Полезли
одиночки
из миллионной давки —
такого, мол,
другого
не увидишь в жисть.
Каждый
рад
подставить бородавки
под увековечливую
ахровскую кисть.
Вновь
своя рубаха
ближе к телу?
А в нашей работе
то и ново,
что в громаде,
класс которую сделал,
не важно
сделанное
Петровым и Ивановым.
Разнообразны
души наши.
Для боя — гром,
для кровати —
шепот.
А у нас
для любви и для боя —
марши.
Извольте
под марш
к любимой шлепать!
Почему
теперь
про чужое поем,
изъясняемся
ариями
Альфреда и Травиаты?
И любви
придумаем
слово свое,

из сердца сделанное,
а не из ваты.
В годы голода,
стужи-злюки
разве
филармонии играли окрест?
Нет,
свои,
баррикадные звуки
нашел
гудков
медногорлый оркестр.
Старью
революцией
поставлена точка.
Живите под охраной
музейных оград.
Но мы
не предадим
кустарям-одиночкам
ни лозунг,
ни сирену,
ни киноаппарат.
Наша
в коммуну
не иссякнет вера.
Во имя коммуны
жмись и мнись.
Каждое
сегодняшнее дело
меряй,
как шаг
в электрический,
в машинный коммунизм.
Довольно домашней,
кустарной праздности!
Довольно
изделий ловких рук!
Федерация муз
в смертельной опасности —
в опасности слово,
краска
и звук.

1926

ВЗЯТОЧНИКИ

Дверь. На двери —
«Нельзя без доклада».
Под Марксом,
в кресло вкресленный,
с высоким окладом,
высок и гладок,
сидит
облеченный ответственный.
На нем
контрабандный подарок — жилет,
в кармане —
ручка на страже,
в другом
уголочком торчит билет
с длиннющим
подчищенным стажем.
Весь день —
сплошная работа уму.
На лбу —
непролазная дума:
кому
ему
устроить куму,
кому приспособить ку́ма?
Он всюду
пристроил
мелкую сошку,
везде
у него
по лазутчику.
Он знает,
кому подставить ножку
и где
иметь заручку.
Каждый на месте:
невеста —
в тресте,
кум —
в Гум,
брат —
в наркомат.

Все шире периферия родных,
и
 в ведомостичках узких
не вместишь
 всех сортов наградных —
спецставки,
 тантьемы,
 нагрузки!
Он специалист,
 но особого рода:
он
 в слове
 мистику стер.
Он понял буквально
 «братство народов»
как счастье братьев,
 тёть
 и сестер.
Он думает:
 как сократить ему штаты?
У Кэт
 не глаза, а угли...
А может быть,
 место
 оставить для Наты?
У Наты формы округлей.
А там
 в приемной —
 сдержанный гул,
и воздух от дыма спирается.
Ответственный жмет плечьми:
 — Не могу!
Нормально...
 Дела разбираются!
Зайдите еще
 через день-другой...—
Но дней не дождаться жданных.
Напрасно
 проситель
 согнулся дугой.
— Нельзя...
 Не имеется данных! —

Пока поймет!
Обшаркав паркет,
порывшись в своих чемоданах,
проситель
кладет на суконце пакет
с листами
новейших данных.
Проснулся.
Ладонью пакет заслоня
— взрумянились щеки-пончики,—
со сладострастием,
пальцы слюня,
мерзавец
считает червончики.
А давший
по учрежденью орет,
от правильной гневности красен:
— Подать резолюцию! —
И в разворот
— во весь!—
на бумаге:
«Согласен»!
Ответственный
мчит
в какой-то подъезд.
Машину оставил
по праву.
Ответственный
ужин с любовницей ест,
ответственный
хлещет «Абрау».
Любовницу щиплет,
весел и хитр.
— Вот это
подарочки Сонечке:
Вот это, Сонечка,
вам на духи.
Вот это
вам на кальсончики...—
Такому
в краже рабочих тыщ
для ширмы октябрьское зарево.

Он к нам пришел,
чтоб советскую нищь
на кабаки разбазаривать.
Я
белому
руку, пожалуй, дам,
пожму, не побрезгав ею.
Я лишь усмехнусь:
— А здорово вам
наши
намылили шею! —
Укравшему хлеб
не потребуешь кар.
Возможно
простить и убийце.
Быть может, больной,
сумасшедший угар
в душе
у него
клубится.
Но если
скравший
этот вот рубль
ладонью
ладонь мою тронет,
я, руку помыв,
кирпичом ототру
поганую кожу с ладони.
Мы белым
едва обломали рога;
хромает
пока что
одна нога,—
для нас,
полусытых и латочных,
страшней
и гаже
любого врага
взяточник.
Железный лозунг
партией дан.
Он нам
недешево дался!

Долой присосавшихся
к нашим
рядам
и тех,
кто к грошам
присосался!
Нам строиться надо
в гигантский рост,
но эти
обсели кассы.
Каленым железом
выжжет нарост
партия
и рабочие массы.

1926

В ПОВЕСТКУ ДНЯ

Ставка на вас,
комсомольцы-товарищи,—
на вас,
грядущее творящих!
Петь
заставьте
быт тарабарящий!
Расчистьте
квартирный ящик!
За десять лет —
устанешь бороться,—
расшатаны
— многие! —
тряской.
Заплыло
тиной
быта болотце,
покрылось
будничной ряской.
Мы так же
сердца наши
ревностью жжем—
и суд наш
по-старому скорый:

мы
часто
наганом
и финским ножом
решаем —
любовные споры.
Нет, взвидя,
что есть
любовная ржа,
что каши вдвоем
не сваришь,—
ты зубы стисни
и, руку пожав,
скажи:
— Прощевай, товарищ! —
У скольких
мечта:
«Квартирку б внаем!
Свои сундуки
да клети!
И угол мой
и хозяйство мое —
и мой
на стене
портретик».
Не наше счастье —
счастье вдвоем!
С классом
спаяйся четко!
Коммуна:
все, что мое,—
твое,
кроме —
зубных щеток.
И мы
по-прежнему,
если радостно,
по-прежнему,
если горе нам —
мы
топим горе в сорокаградусной
и празднуем
радость
трехгорным.

Питье
на песни б выменять нам.
Такую
сделай, хоть тресни!
Чтоб пенистей пива,
чтоб крепче вина
хватали
за душу
песни.

Гуляя,
работая,
к любимой льня,—
думай о коммуне,
быть или не быть ей?!
В порядок
этого
майского дня
поставьте
вопрос о быте.

1926

ПРОТЕКЦИЯ

Обывателиада в 3-х частях

1

Обыватель Михин —
друг дворничихин.
Дворник Службин
с Фелицией в дружбе.
У тети Фелиции
лицо в милиции.
Квартхоз милиции
Федор Овечко
имеет
в совете
нужного человечка.
Чин лица
не упомнишь никак:

главшвейцар
или помистопника.
А этому чину
домами знакома
мамаша
машинистки секретаря райкома.
У дочки ее
большущие связи:
друг во ВЦИКе
(шофер в автобазе!),
а Петров, говорят,
развозит мужчину,
о котором
все говорят шепоточком,—
маленького роста,
огромного чина.
Словом —
он...
Не решаюсь...
Точка.

2

Тихий Михин
пойдет к дворничихе.
«Прошу покорненько,
попросите дворника».
Дворник стукнется
к тетке заступнице.
Тетка Фелиция
шушукнет в милиции.
Квартхоз Овечко
замолвит словечко.
А главшвейцар —
Да Винчи с лица,
весь в бороде,
как картина в раме,—
прямо
пойдет
к машинисткиной маме.
Просьбу
дочь
предает огласке:

глазки да ласки,
ласки да глазки...
Кого не ловили на такую аферу?
Куда ж удержаться простаку-шоферу!
Петров подождет,
покамест,
как солнце,
персонье лицо расперсонится:
— Простите, товарищ,
извинений тысячка...—
И просит
и молит, ласковей лани.
И чин снисходит:
— Вот вам записочка.—
А в записке —
исполнение всех желаний.

3

А попробуй —
полазий
без родственных связей!
Покроют дворники
словом черненьким.
Обложит белолицая
тетя Фелиция.
Подвернется нога,
перервутся нервы
у взвидевших наган
и усы милиционеровы.
В швейцарской судачат:
— И не лезь к совету:
все на даче,
никого нету.—
И мама сама
и дитя-машинистка,
невинность блюдя,
не допустят близко.
А разных главных
неуловимо
шоферы
возят и возят мимо.

Не ухватишь —
скользкие,—
не люди, а налимы.
«Без доклада воспрещается».
Куда ни глянь,
«И пойдут они, солнцем палимы,
И застонут...».
Дело дрянь!
Кто бы ни были
сему виновниками
— сошка маленькая
или крупный кит,—
разорвем
сплетенную чиновниками
паутину кумовства,
протекций,
волокит.

1926

ЛЮБОВЬ

Мир
опять
цветами оброс,
у мира
весенний вид.
И вновь
встает
нерешенный вопрос —
о женщинах
и о любви.
Мы любим парад,
нарядную песню.
Говорим красиво,
выходя на митинг.
Но часто
под этим,
покрытый плесенью,
старенький-старенький бытик.
Поет на собранье:
«Вперед, товарищи...»
А дома,
забыв об арии сольной,
орет на жену,
что щи не в наваре

и что
огурцы
плоховато просолены.
Живет с другой —
киоск в ширину,
бельем —
шантанная дива.
Но тонким чулком
попрекает жену:
— Компрометируешь
пред коллективом.—
То лезут к любой,
была бы с ногами.
Пять баб
переменит
в течение суток.
У нас, мол,
свобода,
а не моногамия.
Долой мещанство
и предрассудок!
С цветка на цветок
молодым стрекозлом
порхает,
летает
и мечется.
Одно ему
в мире
кажется злом —
это
алиментщица.
Он рад умереть,
экономя треть,
три года
судиться рад:
и я, мол, не я,
и она не моя,
и я вообще
кастрат.
А любят,
так будь
монашенкой верной —

тиранит
ревностью
всякий пустяк
и мерит
любовь
на калибр револьверный,
неверной
в затылок
пулю пустя.
Четвертый —
герой десятка сражений,
а так,
что любо-дорого,
бежит
в перепуге
от туфли жениной,
простой туфли Мосторга.
А другой
стрелу любви
иначе метит,
путает
— ребенок этакий —
уловленье
любимой
в романические сети
с повышеньем
подчиненной по тарифной
сетке...
По женской линии
тоже вам не райские скинии.
Простенького паренька
подцепила
барынька.
Он работать,
а ее
не удержать никак —
бегает за клёшем
каждого бульварника.
Что ж,
сиди
и в плаче
Нилом нилься.
Ишь! —
Жених!

— Для кого ж я, милые, женился?
Для себя —
или для них? —
У родителей
и дети этакого сорта:
— Что родители?
И мы
не хуже, мол! —
Занимаются
любовью в виде спорта,
не успев
вписаться в комсомол.
И дальше,
к деревне,
быт без движеньица —
живут, как и раньше,
из года в год.
Вот так же
замуж выходят
и женятся,
как покупают
рабочий скот.
Если будет
длиться так
за годом годик,
то,
скажу вам прямо,
не сумеет
разобрать
и брачный кодекс,
где отец и дочь,
который сын и мама.
Я не за семью.
В огне
и в дыме синем
выгори
и этого старья кусок,
где шипели
матери-гусыни
и детей
стерег
— отец-гусак!

Нет.
Но мы живем коммуной
плотно,
в общежитиях
грязнеет кожа тел.
Надо
голос
подымать за чистоплотность
отношений наших
и любовных дел.
Не отвиливай —
мол, я не венчан.
Нас
не поп скрепляет тарабарящий.
Надо
обвязать
и жизнь мужчин и женщин
словом,
нас объединяющим:
«Товарищи».

1926

ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ

Товарищи,
позвольте
без позы,
без маски —
как старший товарищ,
неглупый и чуткий,
поразговариваю с вами,
товарищ Безыменский,
товарищ Светлов,
товарищ Уткин.
Мы спорим,
аж глотки просят лужения,
мы
задыхаемся
от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи,
деловое предложение:

давайте
устроим
веселый обед!
Расстелим внизу
комплименты ковровые,
если зуб на кого —
отпилим зуб;
розданные
Луначарским
венки лавровые —
сложим
в общий
товарищеский суп.
Решим,
что все
по-своему правы.
Каждый поет
по своему
голоску!
Разрежем
общую курицу славы
и каждому
выдадим
по равному куску.
Бросим
друг другу
шпильки подсовывать,
разведем
изысканный
словесный ажур.
А когда мне
товарищи
предоставят слово —
я это слово возьму
и скажу:
— Я кажусь вам
академиком
с большим задом,
один, мол, я
жрец
поэзий непролазных.

А мне
в действительности
единственное надо —
чтоб больше поэтов
хороших
и разных.
Многие
пользуются
напостовской тряскою,
с тем
чтоб себя
обозвать получше.
— Мы, мол, единственные,
мы пролетарские...—
А я, по-вашему, что —
валютчик?
Я
по существу
мастеровой, братцы,
не люблю я
этой
философии нудовой.
Засучу рукавчики:
работать?
драться?
Сделай одолжение,
а ну, давай!
Есть
перед нами
огромная работа —
каждому человеку
нужное стихачество.
Давайте работать
до седьмого пота
над поднятием количества,
над улучшением качества.
Я меряю
по коммуне
стихов сорта,
в коммуну
душа
потому влюблена,

что коммуна,
по-моему,
огромная высота,
что коммуна,
по-моему,
глубочайшая глубина.
А в поэзии
нет
ни друзей,
ни родных,
по протекции
не свяжешь
рифм лычки́.
Оставим
распределение
орденов и наградных,
бросим, товарищи,
наклеивать ярлычки.
Не хочу
похвастать
мыслью новенькой,
но по-моему —
утверждаю без авторской спеси —
коммуна —
это место,
где исчезнут чиновники
и где будет
много
стихов и песен.
Стоит
изумиться
рифмочек парой нам —
мы
почитаем поэтика гением.
Одного
называют
красным Байроном,
другого —
самым красным Гейнем.
Одного боюсь —
за вас и сам,—
чтоб не обмелели
наши души,

чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек.
Мы духом одно,
понимаете сами:
по линии сердца
нет раздела.
Если
вы не за нас,
а мы
не с вами,
то черта ль
нам
остается делать?
А если я
вас
когда-нибудь крою
и на вас
замахивается
перо-рука,
то я, как говорится,
добыл это кровью,
я
больше вашего
рифмы строгал.
Товарищи,
бросим
замашки торгашьи
— моя, мол, поэзия —
мой лабаз! —
всё, что я сделал,
все это ваше —
рифмы,
темы,
дикция,
бас!
Что может быть
капризней славы
и пепельней?

В гроб, что ли,
брать,
когда умру?
Наплевать мне, товарищи,
в высшей степени
на деньги,
на славу
и на прочую муру!
Чем нам
делить
поэтическую власть,
сгрудим
нежность слов
и слова-бичи,
и давайте
без завистей
и без фамилий
класть
в коммунову стройку
слова-кирпичи.
Давайте,
товарищи,
шагать в ногу.
Нам не надо
брюзжащего
лысого парика!
А ругаться захочется —
врагов много
по другую сторону
красных баррикад.
1926

ФАБРИКА БЮРОКРАТОВ

Его прислали
для проведенья режима.
Средних способностей.
Средних лет.
В мыслях — планы.
В сердце — решимость.
В кармане — перо
и партбилет.
Ходит,
распоряжается энергичным жестом.

Видно —
занимается новая эра!
Сам совался в каждое место,
всех переглядел —
от зава до курьера.
Внимательный
к самым мельчайшим крохам,
вздувает
сердечный пыл...
Но бьются
слова,
как об стену горохом,
об —
канцелярские лбы.
А что канцелярии?
Внимает, мошеинница!
Горите
хоть солнца ярче,—
она
уложит
весь пыл в отношеньица,
в анкетку
и в циркулярчик.
Бумажку
встречать
с отвращеинием нужно.
А лишь
увлечешься ею,—
то через день
голова заталмужена
в бумажную ахинею.
Перепишут всё
и, канителью исходящей нитясь,
иа доклады
с папками идут:
— Подпишитесь тут!
Да тут вот подмахнитесь!..
И вот тут, пожалуйста!..
И тут!..
И тут!..—
Пыл
в чернила уплыл
без следа.

Пред
в бумагу
всосался, как клещ...
Среда —
это
паршивая вещь!!
Глядел,
лицом
белее мела,
сквозь канцелярский мрак.
Катился пот,
перо скрипело,
рука свелась
и вновь корпела,—
но без конца
громадой белой
росла
гора бумаг.
Что угодно
подписью подляпает,
и не разберясь:
куда,
зачем,
кого?
Собственную
тетушку
назначит римской папою.
Сам себе
подпишет
смертный приговóр.
Совести
партийной
слабенькие писки
заглушает
с днями
исходящий груз.
Раскусил чиновник
пафос переписки,
облизнулся,
въелся
и — вошел во вкус.

Где решимость?
планы?
и молодчество?
Собирает канцелярию,
загривок мыля ей.
— Разузнать
немедля
имя-отчество!
Как
такому
посылать конверт
с одной фамилией??! —
И опять
несется
мелким лайцем:
— Это так-то службу мы несем?!
Написали просто
«прилагается»
и забыли написать
«при сем»! —
В течение дня
страну наводня
потопом
ненужной бумажности,
в машину
живот
уложит —
и вот
на дачу
стремится в важности.
Пользы от него,
что молока от черта,
что от пшенной каши —
золотой руды.
Лишь растут
подвалами
отчеты,
возносят
чернильные пуды.
Рой чиновников
с недели на́ день
аннулирует
октябрьский гром и лом,

и у многих
даже
проступают сзади
пуговицы
дофевральские
с орлом.
Поэт
всегда
и добр и галантен,
делиться выводом рад.
Во-первых:
из каждого
при известном таланте
может получиться
бюрократ.
Вывод второй
(из фельетонной водицы
вытекал не раз
и не сто):
коммунист не птица,
и незачем обзаводиться
ему
бумажным хвостом.
Третий:
поднять бы его за загривок
от бумажек,
разостланных низом,
чтоб бумажки,
подписанные
прямо и криво,
не заслоняли
ему
коммунизм.

1926

ТОВАРИЩУ НЕТТЕ

пароходу и человеку

Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,

разворачивался
и входил
товарищ «Теодор
Нетте».
Это — он.
Я узнаю его.
В блюдечках-очках спасательных кругов.
— Здравствуй, Нетте!
Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб,
канатов
и крюков.
Подойди сюда!
Тебе не мелко?
От Батума,
чай, котлами покипел...
Помнишь, Нетте,—
в бытность человеком
ты пивал чаи
со мною в дипкупе?
Медлил ты.
Захрапывали сони.
Глаз
кося
в печати сургуча,
напролет
болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру.
Курок
аж палец свел...
Суньтеся —
кому охота!
Думал ли,
что через год всего
встречусь я
с тобою —
с пароходом.
За кормой лунища.
Ну и здорово!
Залегла,
просторы надвое порвав.

Будто на́век
за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,
светел и кровав.
В коммунизм из книжки
верят средне.
«Мало ли,
что можно
в книжке намолоть!»
А такое —
оживит внезапно «бредни»
и покажет
коммунизма
естество и плоть.
Мы живем,
зажатые
железной клятвой.
За нее —
на крест,
и пулею чешите:
это —
чтобы в мире
без Россий,
без Латвий,
жить единым
человечьим общежитьем.
В наших жилах —
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.

Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
других желаний нету —

встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.

15 июля 1926 г., Ялта

УЖАСАЮЩАЯ ФАМИЛЬЯРНОСТЬ

Куда бы
ты
ни направил разбег,
и как ни ёрзай,
и где ногой ни ступи,—
есть Марксов проспект,
и улица Розы,
и Луначарского —
переулок или тупик.
Где я?
В Ялте или в Туле?
Я в Москве
или в Казани?
Разберешься?
— Черта в стуле!
Не езда, а — наказанье.
Каждый дюйм
бытия земного
профамилиен
и разыменован.
В голове
от имен
такая каша!
Как общий котел пехотного полка.
Даже пса дворняжку
вместо
«Полкаша»
зовут:
«Собака имени Полкан».
«Крем Коллонтай.
Молодит и холит».

«Гребенки Мейерхольд».
«Мочала
а-ля Качалов».
«Гигиенические подтяжки
имени Семашки».
После этого
гуди во все моторы,
изобретай идей мешок,
все равно —
про Мейерхольда будут спрашивать:
— «Который?
Это тот, который гребешок?»
Я
к великим
не суюсь в почтеннейшие лики.
Я солдат
в шеренге миллиардной.
Но и я
взываю к вам
от всех великих:
— Милые,
не обращайтесь с ними фамильярно!

1926

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИВЫЧКИ

Я
два месяца
шатался по природе,
чтоб смотреть цветы
и звезд огнишки.
Таковых не видел.
Вся природа вроде
телефонной книжки.
Везде —
у скал,
на массивном грузе
Кавказа
и Крыма скалоликого,
на стенах уборных,
на небе,
на пузе

лошади Петра Великого,
от пыли дорожной
до гор,
где грóзы
гремят,
грома потрясав,—
везде
отрывки стихов и прозы,
фамилии
и адреса.
«Здесь были Соня и Ваня Хайлов.
Семейство ело и отдыхало».
«Коля и Зина
соединили души».
Стрела
и сердце
в виде груши.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Комсомолец Петр Парулайтис».
«Мусью Гога,
парикмахер из Таганрога».
На кипарисе,
стоящем века,
весь алфавит:
а б в г д е ж з к.
А у этого
от лазанья
талант иссяк.
Превыше орлиных зон
просто и мило:
«Исак
Лебензон».
Особенно
людей
винить не будем.
Таким нельзя
без фамилий и дат!
Всю жизнь канцелярствовали,
привыкли люди.
Они
и на скалу
глядят, как на мандат.

Такому,
глядящему
за чаем
с балконца
как солнце
садится в чаще,
ни восход,
ни закат,
а даже солнце —
входящее
и исходящее.
Эх!
Поставь меня
часок
на место Рыкова,
я б
к весне
декрет железный выковал:
«По фамилиям
на стволах и ска́лах
узнать
подписавшихся малых.
Каждому
в лапки
дать по тряпке.
За спину ведра —
и марш бодро!
Подписавшимся
и Колям
и Зинам
собственные имена
стирать бензином.
А чтоб энергия
не пропадала даром,
кстати и Ай-Петри
почистить скипидаром.
А кто
до того
к подписям привык,
что снова
к скале полез,—

у этого
навсегда
закрывается лик-
без».

Под декретом подпись
и росчерк броский —
Владимир Маяковский.

1926
Ялта, Симферополь, Гурзуф, Алупка

ХУЛИГАН

Республика наша в опасности.
В дверь
лезет
немыслимый зверь.
Морда матовым рыком гулка́,
лапы —
в кулаках.
Безмозглый,
и две ноги для лягания,
вот — портрет хулигания.
Матроска в полоску,
словно леса́.
Из этих лесов
глядят телеса.
Чтоб замаскировать рыло мандрилье,
шерсть
аккуратно
сбрил на рыле.
Хлопья пудры
(«Лебяжьего пуха»!),
бабочка-галстук
от уха до уха.
Души не имеется.
(Выдумка бар!)
В груди —
пивной
и водочный пар.
Обутые лодочкой
качает ноги водочкой.

Что ни шаг —
враг.
— Вдрызг фонарь,
враги — фонари.
Мне темно,
так никто не гори.
Враг — дверь,
враг — дом,
враг —
всяк,
живущий трудом.
Враг — читальня.
Враг — клуб.
Глупейте все,
если я глуп! —
Ремень в ручище,
и на нем
повисла гиря кистенем.
Взмахнет,
и гиря вертится,—
а ну —
попробуй встретиться!
По переулочкам — луна.
Идет одна.
Она юна.
— Хорошенькая!
(За́ косу.)
Обкрутимся без загсу! —
Никто не услышит,
напрасно орет
вонючей ладонью зажатый рот.
— Не нас контрапупят —
не наше дело!
Бежим, ребята,
чтоб нам не влетело! —
Луна
в испуге
за тучу пятится
от рваной груды
мяса и платьица.
А в ближней пивной
веселье неистовое.

Парень
пиво глушит
и посвистывает.
Поймали парня.
Парня — в суд.
У защиты
словесный зуд:
— Конечно,
от парня
уйма вреда,
но кто виноват? —
Среда.
В нем
силу сдерживать
нет моготы.
Он — русский.
Он —
богатырь!
— Добрыня Никитич!
Будьте добры,
не трогайте этих Добрынь! —
Бантиком
губки
сложил подсудимый.
Прислушивается
к речи зудимой.
Сидит
смирней и краше,
чем сахарный барашек.
И припаяет судья
(сердобольно)
«4 месяца».
Довольно!
Разве
зверю,
который взбесится,
дают
на поправку
4 месяца?
Деревню — на сход!
Собери
и при ней
словами прожги парней!

Гуди,
и чтоб каждый завод гудел
об этой
последней беде.
А кто
словам не умилится,
тому
агитатор —
шашка милиции.
Решимость
и дисциплина,
пружинь
тело рабочих дружин!
Чтоб, если
возьмешь за воротник,
хулиган раскис и сник.
Когда
у больного
рука гниет —
не надо жалеть ее.
Пора
топором закона
отсечь
гнилые
дела и речь!

1926

ХУЛИГАН

Ливень докладов.
Преете?
Прей!
А под клубом,
гармошкой изодранные,
в клубах табачных
шипит «Левенбрей»,
в белой пене
прибоем
трехгорное...
Еле в стул вмещается парень.
Один кулак —
четыре кило.

Парень взвинчен.
Парень распарен.
Волос взъерошенный.
Нос лилов.
Мало парню такому доклада.
Парню —
слово душевное нужно.
Парню
силу выхлестнуть надо.
Парню надо...
— новую дюжину!
Парень выходит.
Как в бурю на катере.
Тесен фарватер.
Тело намокло.
Парнем разосланы
к чертовой матери
бабы,
деревья,
фонарные стекла.
Смотрит —
кому бы заехать в ухо?
Что башка не придумает дурья?!
Бомба
из безобразий и ухарств,
дурости,
пива
и бескультурья.
Так, сквозь песни о будущем рае,
только солнце спрячется, канув,
тянутся
к центру огней
от окраин
драка,
муть
и ругня хулиганов.
Надо
в упор им —
рабочьи дружины,
надо,
чтоб их
судом обломало,

в спорт
перелить
мускулья пружины,—
надо и надо,
но этого мало...
Суд не скрутит —
набрать имен
и раструбить
в молве многогласой,
чтоб на лбу горело клеймо:
«Выродок рабочего класса».
А главное — помнить,
что наше тело
дышит
не только тем, что скушано;
надо —
рабочей культуры дело
делать так,
чтоб не было скушно.

1926

РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ»

Перья-облака́,
закат расканарейте!
Опускайся,
южной ночи гнет!
Пара
пароходов
говорит на рейде:
то один моргнет,
а то
другой моргнет.
Что сигналят?
Напрягаю я
морщины лба.
Красный раз...
угаснет,
и зеленый...

Может быть,
любовная мольба.
Может быть,
ревнует разозленный.
Может, просит:
«Красная Абхазия»!
Говорит
«Советский Дагестан».
Я устал,
один по морю лазая,
подойди сюда
и рядом стань.—
Но в ответ
коварная
она:
— Как-нибудь
один
живи и грейся.
Я
теперь
по мачты влюблена
в серый «Коминтерн»,
трехтрубный крейсер.
— Все вы,
бабы,
трясогузки и канальи...
Что ей крейсер,
дылда и пачкун?—
Поскулил
и снова засигналил:
— Кто-нибудь,
пришлите табачку!..
Скучно здесь,
нехорошо
и мокро.
Здесь
от скуки
отсыреет и броня...—
Дремлет мир,
на Черноморский округ
синь-слезищу
морем оброня.

1926

ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯ
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА МАЯКОВСКОГО
ПИСАТЕЛЮ
АЛЕКСЕЮ МАКСИМОВИЧУ ГОРЬКОМУ

Алексей Максимович,
как помню,
между нами
что-то вышло
вроде драки,
или ссоры.
Я ушел,
блестя
потертыми штанами;
взяли Вас
международные рессоры.
Нынче —
и́наче.
Сед височный блеск,
и взоры озарённей.
Я не лезу
ни с моралью,
ни в спасатели,
без иронии,
как писатель
говорю с писателем.
Очень жалко мне, товарищ Горький,
что не видно
Вас
на стройке наших дней.
Думаете —
с Капри,
с горки
Вам видней?
Вы
и Луначарский —
похвалы повальные,
добряки,
а пишущий
бесстыж —

тычет
целый день
свои
похвальные
листы.
Что годится,
чем гордиться?
Продают «Цемент»
со всех лотков.
Вы
такую книгу, что ли, цените?
Нет нигде цемента,
а Гладков
написал
благодарственный молебен о цементе.
Затыкаешь ноздри,
нос наморщишь
и идешь
верстой болотца длинненького.
Кстати,
говорят,
что Вы открыли мощи
этого...
Калинникова.
Мало знать
чистописаниев ремёсла,
расписать закат
или цветенье редьки.
Вот
когда
к ребру душа примерзла,
ты
ее попробуй отогреть-ка!
Жизнь стиха —
тоже тиха.
Что горенья?
Даже
нет и тленья
в их стихе
холодном
и лядащем.

Все
входящие
срифмуют впечатления
и печатают
в журнале
в исходящем.
А рядом
молотобойцев
ана́пестам
учит
профессор Шенге́ли.
Тут
не поймете просто-напросто,
в гимназии вы,
в шинке ли?
Алексей Максимович,
у Вас
в Италии
Вы
когда-нибудь
подобное
видали?
Приспособленность
и ласковость дворовой,
деятельность
блюдо-рубле- и тому подобных «лиз»
называют многие
— «здоровый
реализм».—
И мы реалисты,
но не на подножном
корму,
не с мордой, упершейся вниз,—
мы в новом,
грядущем быту,
помноженном
на электричество
и коммунизм.
Одни мы,
как ни хвали́те халтуры,
но, годы на спины грузя,
тащим
историю литературы —

лишь мы
и наши друзья.
Мы не ласкаем
ни глаза,
ни слуха.
Мы —
это Леф,
без истерики —
мы
по чертежам
деловито
и сухо
строим
завтрашний мир.
Друзья —
поэты рабочего класса.
Их знание
невелико́,
но врезал
инстинкт
в оркестр разногласый
буквы
грядущих веков.
Горько
думать им
о Горьком-эмигранте.
Оправдайтесь,
гряньте!
Я знаю —
Вас ценит
и власть
и партия,
Вам дали б всё —
от любви
до квартир.
Прозаики
сели
пред Вами
на парте б:
— Учи!
Верти! —

Или жить вам,
как живет Шаляпин,
раздушеиными аплодисментами оляпан?
Вериись
теперь
такой артист
иазад
на русские рублики —
я первый крикну:
— Обратно катись,
иародиый артист Республики!—
Алексей Максимыч,
из-за Ваших стекол
видеи
Вам
еще
парящий сокол?
Или
с Вами
начали дружить
по саду
ползущие ужи?
Говорили
(объясиеиья ходкие!),
будто
Вы
ие едете из-за чахотки.
И Вы
в Европе,
где каждый из граждан
смердит покоем,
жратвой,
валютцей!
Не чище ль
наш воздух,
разрежениый дважды
грозою
двух революций!
Бросить Республику
с думами,
с буитами,
лысиику
южиой зарей озарив,—

разве не лучше,
как Феликс Эдмундович,
сердце
отдать
временам на разрыв.
Здесь
дела по горло,
рукав по локти,
знамена неба
алы́,
и соколы —
сталь в моторном клёкоте —
глядят,
чтоб не лезли орлы.
Делами,
кровью,
строкою вот этою,
нигде
не бывшею в найме,—
я славлю
взвитое красной ракетою
Октябрьское,
руганное
и пропетое,
пробитое пулями знамя!

1926

ДОЛГ УКРАИНЕ

Знаете ли вы
украинскую ночь?
Нет,
вы не знаете украинской ночи!
Здесь
небо
от дыма
становится черно́,
и герб
звездой пятиконечной вточен.

Где горилкой,
удалью
и кровью
Запорожская
бурлила Сечь,
проводов уздой
смирив Днепровье,
Днепр
заставят
на турбины течь.
И Днипро́
по проволокам-усам
электричеством
течет по корпусам.
Небось, рафинада
и Гоголю надо!

Мы знаем,
курит ли,
пьет ли Чаплин;
мы знаем
Италии безрукие руины;
мы знаем,
как Ду́гласа
галстух краплен...
А что мы знаем
о лице Украины?
Знаний груз
у русского
тощ —
тем, кто рядом,
почета мало.
Знают вот
украинский борщ,
знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов —

Бульбы
и известного Шевченка,—
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.
А если прижмут —
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмет и расскажет
пару курьезов —
анекдотов
украинской мовы.
Говорю себе:
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знаменах —
лексиконах алых,—
эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав...»
Разве может быть
затрепанней
да тише
слова
поистасканного
«Слышишь»?!
Я
немало слов придумал вам,
взвешивая их,
одно хочу лишь,—
чтобы стали
всех
моих
стихов слова
полновесными,
как слово «чуешь».

———

Трудио
    людей
        в одно истолочь,
собой
    кичись ие очеиь.
Знаем ли мы украинскую иочь?
Нет,
    мы ие знаем украинской иочи.

1926

ОКТЯБРЬ

1917—1926

Если
    стих
        сердечный раж,
если
    в сердце
        задор смолк,
голосами его будоражь
комсомольцев
    и комсомолок.
Дней шоферы
    и кучера
гонят
    пулей
        время свое,
а как будто
    лишь вчера
были
    бури
        этих боев.
В шинелях,
    в поддевках идут...
Весть:
    «Победа!»
        За Смольный порог.
Там Ильич и речь,
    а тут
пулеметный говорок.
Мир
    другими людьми оброс;

пионеры
лет десяти
задают про Октябрь вопрос,
как про дело
глубоких седин.
Вырастает
времени мол,
день — волна,
не в силах противиться;
в смоль-усы
оброс комсомол,
из юнцов
перерос в партийцев.
И партийцы
в годах борьбы
против всех
буржуазных лис
натрудили
себе
горбы,
многий
стал
и взросл
и лыс.
А у стен,
с Кремля под уклон,
спят вожди
от трудов,
от ран.
Лишь колышет
камни
поклон
ото ста
подневольных стран.
На стене
пропылен
и нем
календарь как календарь,
но в сегодняшнем
красном дне
воскресает
годов легендарь.

Будет знамя,
а не хоругвь,
будут
пули свистеть над ним,
и «Вставай, проклятьем...»
в хору
будет бой
и марш,
а не гимн.
Век промчится
в седой бороде,
но и десять
пройдет хотя б,
мы
не можем
не молодеть,
выходя
на праздник — Октябрь.
Чтоб не стих
сердечный раж,
не дряхлел,
не стыл
и не смолк,
голосами
его
будоражь
комсомольцев
и комсомолок.
1926

НЕ ЮБИЛЕЙТЕ!

Мне б хотелось
про Октябрь сказать,
не в колокол названивая,
не словами,
украшающими
тепленький уют,—
дать бы
революции
такие же названия,
как любимым
в первый день дают!

Но разве
уместно
слово такое?
Но разве
настали
дни для покоя?
Кто галоши приобрел,
кто зонтик;
радуется обыватель:
«Небо голубо́...»
Нет,
в такую ерунду
не расказёньте
боевую
революцию — любовь.

———

В сотне улиц
сегодня
на вас,
на меня
упадут огнем знамена́.
Будут глотки греметь,
за кордоны катя
огневые слова про Октябрь.

———

Белой гвардии
для меня
белей
имя мертвое: юбилей.
Юбилей — это пепел,
песок и дым;
юбилей —
это радость седым;
юбилей —
это край
кладбищенских ям;
это речи
и фимиам;
остановка предсмертная,
вздохи,
елей —

вот что лезет
из букв
«ю-б-и-л-е-й».
А для нас
юбилей —
ремонт в пути,
постоял —
и дальше гудн.
Остановка для вас,
для вас
юбилей —
а для нас
подсчет рублей.
Сбереженный рубль —
сбереженный заряд,
поражающнй вражескнй ряд.
Остановка для вас,
для вас
юбилей —
а для нас —
это сплавы лей.
Разобьет
врага
электрическнй ход
лучше пушек
и лучше пехот.
Юбилей!
А для нас —
подсчет работ,
перемеренный литрами пот.
Знаем:
в графиках
довоенных норм
коммунизма одежда и корм.
Не горюй, товарнщ,
что бой измельчал:
— Глаз на мелочь! —
приказ Ильича.
Надо
в каждой пылинке
будить уметь
большевистского пафоса медь.

Зорче глаз крестьянина и рабочего,
и минуту
не будь рассеянней!
Будет:
под ногами
заколеблется почва
почище японских землетрясений.
Молчит
перед боем,
топки глуша,
Англия бастующих шахт.
Пусть
китайский язык
мудрен и велик,—
знает каждый и так,
что Кантон
тот же бой ведет,
что в Октябрь вели
наш
рязанский
Иван да Антон.
И в сердце Союза
война.
И даже
киты батарей
и полки́.
Воры
с дураками
засели в блинда́жи
растрат
и волокит.
И каждая вывеска:
— рабкооп —
коммунизма тяжелый окоп.
Война в отчетах,
в газетных листах —
рассчитывай,
режь и крой.
Не наша ли кровь
продолжает хлестать
из красных чернил РКИ?!
И как ни тушили огонь —
нас трое!

Мы
трое
охапки в огонь кидаем:
растет революция
в огнях Волховстроя,
в молчании Лондона,
в пулях Китая.
Нам
девятый Октябрь —
не покой,
не причал.
Сквозь десятки таких девяти
мозг живой,
живая мысль Ильича,
нас
к последней победе веди!

1926

СТОЯЩИМ НА ПОСТУ

Жандармы вселенной,
вылосинив лица,
стоят над рабочим:
— Эй,
не бастуй! —
А здесь
трудящихся щит —
милиция
стоит
на своем
бессменном посту.
Пока
за нашим
октябрьским гулом
и в странах
в других
не грянет такой,—
стой,
береги своим караулом
копейку рабочую,
дом и покой.

Пока
Волховстроев яркая речь
не победит
темноту нищеты,
нутро республики
вам беречь —
рабочих
домов и людей
щиты.
Храня республику,
от людей до иголок,
без устали стой
и без лени,
пока не исчезнут
богатство и голод —
поставщики преступлений.
Враг — хитер!
Смотрите в оба!
Его не сломишь,
если сам лоботряс.
Помни, товарищ,—
нужна учеба
всем,
защищающим рабочий класс!
Голой рукой
не взять врага нам,
на каждом участке
преследуй их.
Знай, товарищ,
и стрельбу из нагана,
и книгу Ленина,
и наш стих.
Слаба дисциплина — петлю накинут.
Бандит и белый
живут в ладах.
Товарищ,
тверже крепи дисциплину
в милиционерских рядах!
Иной
хулигану
так
даже рад,—

выйдет
этакий
драчун и голосило:
— Ничего, мол,
выпимши —
свой брат —
богатырская
русская сила. —
А ты качнешься
(от пива частого),
у целой улицы нос заалел:
— Ежели,
мол,
безобразит начальство,
то нам,
разумеется,
и бог велел!—
Сорвут работу
глупым ляганьем
пивного чада
бузящие ча́ды.
Лозунг твой:
— Хулиганам
нет пощады!—
Иной рассуждает,
морща лоб:
— Что цапать
маленьких воришек?
Ловить вора,
да такого,
чтоб
об нем
говорили в Париже!—
Если выудят
миллион
из кассы скряжьей,
новый
с рабочих
сдерет задарма.
На мелочь глаз!
На мелкие кражи,

потрошащие
тощий
рабочий карман!
В нашей республике
свет не равен:
чем дальше от центра —
тем глубже **ночи.**
Милиционер,
в темноту окраин
глаз вонзай
острей и зорче!
Пока
за нашим
октябрьским гулом
и в странах других
не пройдет такой —
стой,
береги своим караулом
копейки,
людей,
дома
и покой.

1926

О ТОМ, КАК НЕКОТОРЫЕ ВТИРАЮТ ОЧКИ ТОВАРИЩАМ, ИМЕЮЩИМ ЦИКОВСКИЕ ЗНАЧКИ

1

Двое.
В петлицах краснеют флажки.
К дверям учрежденья направляют
шажки...
Душой — херувим,
ангел с лица,
дверь
перед ними
открыл швейцар.

Не сняв улыбки с прелестного ротика,
ботики снял
и пылинки с ботиков.
Дескать:
— Любой идет пускай:
ни имя не спросим,
ни пропуска! —
И рот не успели открыть,
а справа
принес секретарь
полдюжины справок.
И рта закрыть не успели,
а слева
несет резолюцию
какая-то дева...
Очередь?
Где?
Какая очередь?
Очередь —
воробьиного носа короче.
Ни чином своим не гордясь,
ни окладом —
принял
обоих
зав
без доклада...
Идут обратно —
весь аппарат,
как брат
любимому брату, рад...
И даже
котенок,
сидящий на папке,
с приветом
поднял
передние лапки.
Идут, улыбаясь,
хвалить не ленятся:
— Рай земной,
а не учрежденьице! —
Ушли.
У зава
восторг на физии:

— Ура!
Пронесло.
Не будет ревизии!..

2

Назавтра,
дома оставив флажки,
двое
опять направляют шажки.
Швейцар
сквозь щель
горделиво лается:
— Ишь, шпана.
А тоже — шляется!..—
С черного хода
дверь узка.
Орет какой-то:
— Предъявь пропуска!—
А очередь!
Мерь километром.
Куда!
Раз шесть
окружила дом,
как удав.
Секретарь,
величественней Сухаревой башни,
вдали
телефонит знакомой барышне...
Вчерашняя дева
в ответ на вопрос
сидит
и пудрит
веснушчатый нос...
У завовской двери
драконом-гадом
некто шипит:
— Нельзя без доклада! —
Двое сидят,
ковыряют в носу...
И только
уже в четвертом часу
закрыли дверь
и орут из-за дверок:

— Приходите
после дождика в четверг! —
У кошки —
и то тигрячий вид:
когти
вцарапать в глаза норовит...
В раздумье
оба
обратно катятся:
— За день всего —
и так обюрократиться?! —
А в щель
гардероб
вдогонку брошен:
на двух человек
полторы галоши.

Нету места сомнениям шатким.
Чтоб не пасся
бюрократ
коровой на лужку,
надо
или бюрократам
дать по шапке,
или
каждому гражданину
дать по флажку!

1926

НАШЕ НОВОГОДИЕ

«Новый год!»
Для других это просто:
о стакан
стаканом бряк!
А для нас
новогодие —
подступ
к празднованию
Октября.

Мы
лета́
исчисляем снова —
не христовый считаем род.
Мы
не знаем «двадцать седьмого»,
мы
десятый приветствуем год.
Наших дней
значенью
и смыслу
подвести итоги пора.
Серых дней
обыдённые числа,
на десятый
стройтесь
парад!
Скоро
всем
нам
счет предъявят:
дни свои
ерундой не мельча,
кто
и как
в обыдённой яви
воплотил
слова Ильича?
Что в селе?
Навоз
и скрипучий воз?
Свод небесный
коркою вычерствел?
Есть ли там
уже
миллионы звезд,
расцветающие в электричестве?
Не купая
в прошедшем взора,
не питаясь
зрелищем древним,

кто и нынче
послал ревизоров
по советским
Марьям Андревнам?
Нам
коммуна
не словом крепка́ и люба́
(сдашь без хлеба,
как ни крепися!).
У крестьян
уже
готовы хлеба́
всем,
кто переписью переписан?
Дайте крепкий стих
годочков этак на́ сто,
чтоб не таял стих,
как дым клубимый,
чтоб стихом таким
звенеть
и хвастать
перед временем,
перед республикой,
перед любимой.
Пусть гремят
барабаны поступи
от земли
к голубому своду.
Занимайте дни эти —
подступы
к нашему десятому году!
Парад
из края в край растянем.
Все,
в любой работе
и чине,
рабочие и драмщики,
стихачи и крестьяне,
готовьтесь
к десятой годовщине!
Всё, что красит
и радует,
всё —

и слова,
          и восторг,
                    и погоду —
всё
    к десятому припасем,
к наступающему году.

1926

СТАБИЛИЗАЦИЯ БЫТА

После боев
          и голодных пыток
отрос на животике солидный жирок.

Жирок заливает щелочки быта
и застывает,
          тих и широк.
Люблю Кузнецкий
                    (простите грешного!),
потом Петровку,
                    потом Столешников;
по ним
    в году
                раз сто или двести я
хожу из «Известий»
                    и в «Известия».
С восторга бросив подсолнухи лузгать,
восторженно подняв бровки,
читает работница:
                    «Готовые блузки.
Последний крик Петровки».
Не зря и Кузнецкий похож на зарю,—
прижав к замерзшей витрине ноздрю,
две дамы расплылись в стойчике:
«Ах, какие фестончики!»
А рядом,
          учли обывателью натуру,—
портрет
      кого-то безусого;
отбирайте гения
                для любого гарнитура,—

все
от Казина до Брюсова.
В магазинах —
ноты для широких масс.
Пойте, рабочие и крестьяне,
последний
сердцещипательный романс
«А сердце-то в партию тянет!» [1]
В окне гражданин,
устав от ношения
портфелей,
сложивши папки,
жене,
приятной во всех отношениях,
выбирает
«глазки да лапки».
Перед плакатом «Медвежья свадьба»
нэпачка сияет в неге:
— И мне с таким медведем
поспать бы!
Погрызи меня,
душка Эггерт.—
Сияющий дом,
в костюмах,
в белье,—
радуйся,
растратчик и мот.
«Ателье
мод».
На фоне голосов стою,
стою
и философствую.
Свежим ветерочком в республику
вея,
звездой сияя из мрака,
товарищ Гольцман
из «Москвошвея»
обещает
«эпоху фрака» [2].

[1] Ноты Музторга. Музыка Тихоновой. Слова Чуж-Чуженина. *(Прим. В. Маяковского.)*
[2] Стр. 12 № 2 «Экрана». *(Прим. В. Маяковского.)*

Но,
от смокингов и фраков оберегая охотников
(не попался на буржуазную удочку!),
восхваляет
комсомолец
товарищ Сотников
толстовку
и брючки «дудочку».
Фрак
или рубахи синие?
Неувязка парт- и советской линии.
Меня
удивляют их слова.
Бьет разнобой в глаза.
Вопрос этот
надо
согласовать
и, разумеется,
увязать.
Предлагаю,
чтоб эта идейная драка
не длилась бессмысленно далее,
пришивать
к толстовкам
фалды от фрака
и носить
лакированные сандалии.
А чтоб цилиндр заменила кепка,
накрахмаливать кепку крепко.
Грязня сердца
и масля бумагу,
подминая
Москву
под копыта,
волокут
опять
колымагу
дореволюционного быта.
Зуди
издевкой,
стих хмурый,
вразрез
с обывательским хором:

в делах
идеи,
быта,
культуры —
поменьше
довоенных норм!

1927

БУМАЖНЫЕ УЖАСЫ

(Ощущения Владимира Маяковского)

Если б
в пальцах
держал
земли бразды я,
я бы
землю остановил на минуту:
— Внемли!
Слышишь,
перья скрипят
механические и простые,
как будто
зубы скрипят у земли? —
Человечья гордость,
смирись и улягся!
Человеки эти —
на кой они ляд!
Человек
постепенно
становится кляксой
на огромных
важных
бумажных полях.
По каморкам
ютятся
людские тени.
Человеку —
сажень.
А бумажке?
Лафа!

Живет бумажка
во дворцах учреждений,
разлеглась на столах,
кейфует в шкафах.
Вырастает хвост
на сукно
в магазине,
без галош нога,
без перчаток лапа.
А бумагам?
Корзина лежит на корзине,
и для тела «дел» —
миллионы папок.
У вас
на езду
червонцы есть ли?
Вы были в Мадриде?
Не были там!
А этим
бумажкам,
чтоб плыли
и ездили,
еще
возносят
новый почтамт!
Стали
ножки-клипсы
у бывших сильных,
заменили
инструкции
силу ума.
Люди
медленно
сходят
на должность посыльных,
в услужении
у хозяев — бумаг.
Бумажищи
в портфель
умещаются еле,
белозубую
обнажают кайму.

Скоро
люди
на жительство
влезут в портфели,
а бумаги —
наши квартиры займут.
Вижу
в будущем —
не вымыслы мои:
рупоры бумаг
орут об этом громко нам —
будет
за столом
бумага
пить чай,
человечек
под столом
валяться скомканным.
Бунтом встать бы,
развить огневые флаги,
рвать зубами бумагу б,
ядрами б выть...
Пролетарий,
и дюйм
ненужной бумаги,
как врага своего,
вконец ненавидь.

1927

НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ

На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена,
и разен язык
и одежи!
Насилу,
пот стирая с виска,
сквозь горло тоннеля узкого
пролез.
И, глуша прощаньем свистка,

рванулся
курьерский
с Курского!
Заводы.
Березы от леса до хат
бегут,
листками вороча,
и чист,
как будто слушаешь МХАТ,
московский говорочек.
Из-за горизонтов,
лесами сломанных,
толпа надвигается
мазанок.
Цветисты бочка́
из-под крыш соломенных,
окрашенные разно.
Стихов навезите целый мешок,
с таланта
можете лопаться —
в ответ
снисходительно цедят смешок
уста
украинца-хлопца.
Пространства бегут,
с хвоста нарастав,
их жарит
солнце-кухарка.
И поезд
уже
бежит на Ростов,
далёко за дымный Харьков.
Поля —
на мильоны хлебных тонн —
как будто
их гладят рубанки,
а в хлебной охре
серебряный Дон
блестит
позументом кубанки.
Ревем паровозом до хрипоты,
и вот
началось кавказское —

то гóловы сахара высят хребты,
то в солнце —
пожарной каскою.
Лечу
ущельями, свист приглушив.
Снегов и папах седи́ны.
Сжимая кинжалы, стоят ингуши,
следят
из седла
осетины.
Верх
гор —
лед,
низ
жар
пьет,
и солнце льет йод.
Тифлисцев
узнаешь и метров зá сто:
гуляют часами жаркими,
в моднейших шляпах,
в ботинках носастых,
этакими парижаками.
По-своему
всякий
зубрит азы,
аж цифры по-своему снятся им.
У каждого третьего —
свой язык
и собственная нация.
Однажды,
забросив в гостиницу хлам,
забыл,
где я ночую.
Я
адрес
по-русски
спросил у хохла,
хохол отвечал:
— Нэ чую.—
Когда ж переходят
к научной теме,

им
рамки русского
узки;
с Тифлисской
Казанская академия
переписывается по-французски.
И я
Париж люблю сверх мер
(красивы бульвары ночью!).
Ну, мало ли что —
Бодлер,
Маларме
и эдакое прочее!
Но нам ли,
шагавшим в огне и воде
годами
борьбой прожженными,
растить
на смену себе
бульвардье
французистыми пижонами!
Используй,
кто был безъязык и гол,
свободу Советской власти.
Ищите свой корень
и свой глагол,
во тьму филологии влазьте.
Смотрите на жизнь
без очков и шор,
глазами жадными цапайте
все то,
что у вашей земли хорошо
и что хорошо на Западе.
Но нету места
злобы мазку,
не мажьте красные души!
Товарищи юноши,
взгляд — на Москву,
на русский вострите уши!
Да будь я
и негром преклонных годов
и то,
без унынья и лени,

я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
Когда
Октябрь орудийных бурь
по улицам
кровью ли́лся,
я знаю,
в Москве решали судьбу
и Киевов
и Тифлисов.
Москва
для нас
не державный аркан,
ведущий земли за нами,
Москва
не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя!
Три
разных истока
во мне
речевых.
Я
не из кацапов-разинь.
Я —
дедом казак, другим —
сечевик,
а по рожденью
грузин.
Три
разных капли
в себе совмещав,
беру я
право вот это —
покрыть
всесоюзных совмещан.
И ваших
и русопетов.

1927

ПО ГОРОДАМ СОЮЗА

Россия — всё:
и коммуна,
и волки,
и давка столиц,
и пустырьная ширь,
стоводная удаль безудержной Волги,
обдорская темь
и сиянье Кашир.
Лед за пристанью за ближней,
оковала Волга рот,
это красный,
это Нижний,
это зимний Новгород.
По первой реке в российском сторечье
скользим...
цепенеем...
зацапаны ветром...
А за волжским доисторичьем
кресты да тресты,
да разные «центро».
Сумятица торга кипит и клокочет,
клочки разговоров
и дымные клочья,
а к ночи
не бросится говор,
не скрипнут полозья,
столетняя зелень зигзагов Кремля,
да под луной,
разметавшей волосья,
замерзающая земля.
Огромная площадь;
прорезав вкривь ее,
неслышную поступь дикарских лап
сквозь северную Скифию
я направляю
в местный ВАПП.

За версты,
за сотни,
за тыщи,
за массу
за это время заедешь, мчась,

а мы
ползли и ползли к Арзамасу
со скоростью верст четырнадцать в час.
Напротив
сели два мужичины:
красные бороды,
серые рожи.
Презрительно буркнул торговый мужчина:
— Сережи! —
Один из Сережей
полез в карман,
достал пироги,
запахнул одежду
и всю дорогу жевал корма́,
ленивые фразы цедя промежду.
— Конешно...
и к Петрову́...
и в Покров...
за то и за это пожалте про́цент...
а толку нет...
не дорога, а кровь...
с телегой тони, как ведро в колодце...
На што мой конь — крепыш,
аж и он
сломал по яме ногу...
Раз ты́
правительство,
ты и должо́н
чинить на всех дорогах мосты.—
Тогда
на него
второй из Сереж
прищурил глаз, в морщины оправленный.
— Налог-то ругашь,
а пирог-то жрешь... —
И первый Сережа ответил:
— Правильно!
Получше двадцатого,
что толковать,
не голодаем,
едим пироги.
Мука́, дай бог...
хороша такова...

Но што насчет лошажьей ноги...
взыскали прóцент,
а мост не проложать... —
Баючит езда дребезжаньем звонким.
Сквозь дрему
все время
про мост и про лошадь
до станции с названьем «Зимёнки».

На каждом доме
советский вензель
зовет,
сияет,
режет глаза.
А под вензелями
в старенькой Пензе
старушьим шепотом дышит базар.
Перед нэпачкой баба седа
отторговывает копеек тридцать.
— Купите платочек!
У нас
завсегда
заказывала
сама царица... —

Морозным днем отмелькала Самара,
за ней
начались азиаты.
Верблюдина
сено
провозит, замаран,
в упряжку лошажью взятый.

Университет —
горделивость Казани,
и стены его
и доныне
хранят
любовнейшее воспоминание
о великом своем гражданине.
Далёко
за годы
мысль катя,

за лекции университета,
он думал про битвы
и красный Октябрь,
идя по лестнице этой.
Смотрю в затихший и замерший зал:
здесь
каждые десять на́ сто
его повадкой щурят глаза
и так же, как он,
скуласты.
И смерти
коснуться его
не посметь,
стоит
у грядущего в смете!
Внимают
юноши
строфам про смерть,
а сердцем слышат:
бессмертье.
Вчерашний день
убог и изменн,
старья
премного осталось,
но сердце класса
горит в коммунизме,
и класса грудь
не разбить о старость.
1927

МОЯ РЕЧЬ НА ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СЛУЧАЮ ВОЗМОЖНОГО СКАНДАЛА С ЛЕКЦИЯМИ ПРОФЕССОРА ШЕНГЕЛИ

Я тру
ежедневно
взморщенный лоб
в раздумье
о нашей касте,
и я не знаю:
поэт —
поп,
поп или мастер.

Вокруг меня
толпа малышей,—
едва вкусившие славы,
а во́лос
уже
отрастили до шей
и голос имеют гнусавый.
И, образ подняв,
выходят когда
на толстожурнальный амвон,
я,
каюсь,
во храме
рвусь на скандал,
и крикнуть хочется:
— Вон! —
А вызовут в суд,—
убежденно гудя,
скажу:
— Товарищ судья!
Как знамя,
башку
держу высоко,
ни дух не дрожит,
ни коленки,
хоть я и слыхал
про суровый
закон
от самого
от Крыленки.
Законы
не знают переодевания,
а без
преувеличенности,
хулиганство —
это
озорные деяния,
связанные
с неуважением к личности.
Я знаю
любого закона лютей,
что личность
уважить надо,

ведь масса —
это
много людей,
но масса баранов —
стадо.
Не зря
эту личность
рожает класс,
лелеет
до нужного часа,
и двинет,
и в сердце вложит наказ:
«Иди,
твори,
отличайся!»
Идет
и горит
докрасна́,
добела́...
Да что городить околичность!
Я,
если бы личность у них была,
влюбился б в ихнюю личность.
Но где ж их лицо?
Осмотрите в момент —
без плюсов,
без минусо́в.
Дыра!
Принудительный ассортимент
из глаз,
ушей
и носов!
Я зубы на этом деле сжевал,
я знаю, кому они копия.
В их песнях
поповская служба жива,
они —
зарифмованный опиум.
Для вас
вопрос поэзии —
нов,

но эти,
видите,
молятся.
Задача их —
выделка дьяконов
из лучших комсомольцев.
Скрывает
ученейший их богослов
в туман вдохновения радугу слов,
как чаши
скрывают
церковные.
А я
раскрываю
мое ремесло,
как радость,
мастером кованную.
И я,
вскипя
с позора с того,
ругнулся
и плюнул, уйдя.
Но ругань моя —
не озорство,
а долг,
товарищ судья.—
Я сел,
разбивши
доводы глиняные.
И вот
объявляется приговор,
так сказать,
от самого Калинина,
от самого
товарища Рыкова.
Судьей,
расцветшим розой в саду,
объявлено
тоном парадным:
— Маяковского
по суду
считать
безусловно оправданным!

1927

«ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?»

Слух идет
бессмысленен и гадок,
трется в уши
и сердце ёжит.
Говорят,
что воли упадок
у нашей
у молодежи.
Говорят,
что иной братишка,
заработавший орден,
ныне
про вкусноты забывший ротишко
под витриной
кривит в унынье.
Что голодным вам
на зависть
окна лавок в бутылочном тыне,
и едят нэпачи и завы
в декабре
арбузы и дыни.
Слух идет
о грозном сраме,
что лишь радость
развоскресе́нена,
комсомольцы
лейб-гусарами
пьют
да ноют под стих Есенина.
И доносится до нас
сквозь губы́ искривленную прорезь:
«Революция не удалась...
За что боролись?..»
И свои 18 лет
под наган подставят —
и нет,
или горло
впетлят в ко́ски.
И горюю я,
как поэт,

и ругаюсь,
как Маяковский.
Я тебе
не стихи ору,
рифмы в этих делах
ни при чем;
дай
как другу
пару рук
положить
на твое плечо.
Знал и я,
что значит «не есть»,
по бульварам валялся когда,—
понял я,
что великая честь
за слова свои
голодать.
Из-под локона,
кепкой завитого,
вскинь глаза,
не грусти и не злись.
Разве есть
чему завидовать,
если видишь вот эту слизь?
Будто рыбы на берегу —
с прежним плаваньем
трудно расстаться им.
То царев горшок берегут,
то
обломанный шкаф с инкрустациями.
Вы — владыки
их душ и тела,
с вашей воли
встречают восход.
Это —
очень плевое дело,
если б
революция захотела
со счетов особых отделов
эту мелочь
списать в расход.

Но, рядясь
            в любезность наносную,
мы —
      взамен забытой Чеки
кормим дыней и ананасною,
ихних жен
            одеваем в чулки.
И они
        за все за это,
что чулки,
            что плачено дорого,
строят нам
            дома и клозеты
и бойцов
          обучают торгу.
Что ж,
      без этого и нельзя!
Сменим их,
            гранит догрызя.
Или
    наша воля обломалась
о сегодняшнюю
                деловую малость?
Нас
    дело
        должно
                пронизать насквозь,
скуленье на мелочность
                        высмей.
Сейчас
        коммуне
                ценен гвоздь,
как тезисы о коммунизме.
Над пивом
            нашим юношам ли
склонять
          свои мысли ракитовые?
Нам
    пить
        в грядущем
                    все соки земли,
как чашу
          мир запрокидывая.

1927

«ДАЕШЬ ИЗЯЧНУЮ ЖИЗНЬ»

Даже
мерин сивый
желает
жизни изящной
и красивой.
Вертит
игриво
хвостом и гривой.
Вертит всегда,
но особо пылко —
если
навстречу
особа-кобылка.
Еще грациозней,
еще капризней
стремится человечество
к изящной жизни.
У каждого класса
свое понятье,
особые обычаи,
особое платье.
Рабочей рукою
старое выжми —
посыплются фраки,
польются фижмы.
Царь
безмятежно
в могилке спит...
Сбит Милюков,
Керенский сбит...
Но в быту
походкой рачьей
пятятся многие
к жизни фрачьей.
Отверзаю
поэтические уста,
чтоб описать
такого хлюста.
Запонки и пуговицы
и спереди и сзади.

Теряются
и отрываются
раз десять на́ день.
В моде
в каждой
так положено,
что нельзя без пуговицы,
а без головы можно.
Чтоб было
оправдание
для стольких запонок,
в крахмалы
туловище
сплошь заляпано.
На голове
прилизанные волоса,
посредине
пробрита
лысая полоса.
Ноги
давит
узкий хром.
В день
обмозолишься
и станешь хром.
На всех мизинцах
аршинные ногти.
Обломаются —
работу не трогайте!
Для сморкания —
пальчики,
для виду —
платочек.
Торчит
из кармашика
кружевной уголочек.
Толку не добьешься,
что ни спроси —
один «пардоны»,
один «мерси».
Чтоб не было
ям
на хилых грудя́х,

ходит,
в петлицу
хризантемы вкрутя.
Изящные улыбки
настолько то́нки,
чтоб только
виднелись
золотые коронки.
Коси́тся на косицы —
стрельнуть за кем? —
и пошлость
про ландыш
на слюнявом языке.
А
в очереди
венерической клиники
читает
усердно
«Мощи» Калинникова.
Таким образом
день оттрудясь,
разденет фигуру,
не мытую отродясь.
Зевнет
и спит,
излюблен, испит.
От хлама
в комнате
тесней, чем в каюте.
И это называется:
— Живем-с в уюте!
Лозунг:
— В ногах у старья не ползай! —
Готов
ежедневно
твердить раз сто:
изящество —
это стопроцентная польза,
удобство одежд
и жилья простор.

1927

ВМЕСТО ОДЫ

Мне б хотелось
вас
воспеть
во вдохновенной оде,
только ода
что-то не выходит.
Скольким идеалам
смерть на кухне
и под одеялом!
Моя знакомая —
женщина как женщина,
оглохшая
от примусов пыхтения
и ухания,
баба советская,
в загсе вéнчанная,
самая передовая
на общей кухне.
Хранит она
в складах лучших дат
замужество
с парнем среднего роста;
еще не партиец,
но уже кандидат,
самый красивый
из местных письмоносцев.
Баба сердитая,
видно сразу,
потому что сожитель ейный
огромный синяк
в дополнение к глазу
приставил,
придя из питейной.
И шипит она,
выгнав мужа вон:
— Я
ему
покажу советский закон!
Вымою только
последнюю из посуд —

и прямо в милицию,
прямо в суд...—
Домыла.
Перед взятием
последнего рубежа
звонок
по кухне
рассыпался, дребезжа.
Открыла.
Расцвели миллионы почек,
высохла
по-весеннему
слезная лужа...
— Его почерк!
Письмо от мужа.—
Письмо раскаленное —
не пишет,
а пышет.
«Вы моя душка,
и ангел
вы.
Простите великодушно!
Я буду тише
воды
и ниже травы».
Рассиялся глаз,
оплывший набок.
Слово ласковое —
мастер
дивных див.
И опять
за примусами баба,
все поняв
и все простив.
А уже
циркуля письмоносца
за новой юбкой
по улицам носятся;
раскручивая язык
витиеватой лентой,
шепчет
какой-то
охаживаемой Вере:

— Я за положительность
                    и против инцидентов,
которые
        вредят
            служебной карьере.—
Неделя покоя,
            но больше
                    никак
не прожить
        без мата и синяка.
Неделя —
        и снова счастья нету,
задрались,
        едва в пивнушке побыли...
Вот оно —
        семейное
                «перпетуум
мобиле».
И вновь
        разговоры,
                и суд, и «треть»
на много часов
            и недель,
и нет решимости
            пересмотреть
семейственную канитель.
Я
  напыщенным словам
                всегдашний враг,
и, не растекаясь одами
                к Восьмому марта,
я хочу,
        чтоб кончилась
                такая помесь драк,
пьянства,
        лжи,
            романтики
                и мата.

1927

ЛУЧШИЙ СТИХ

Аудитория
сыплет
вопросы колючие,
старается озадачить
в записочном рвении.
— Товарищ Маяковский,
прочтите
лучшее
ваше
стихотворение.—
Какому
стиху
отдать честь?
Думаю,
упершись в стол.
Может быть,
это им прочесть,
а может,
прочесть то?
Пока
перетряхиваю
стихотворную старь
и нем
ждет
зал,
газеты
«Северный рабочий»
секретарь
тихо
мне
сказал...
И гаркнул я,
сбившись
с поэтического тона,
громче
иерихонских хайл:
— Товарищи!
Рабочими
и войсками Кантона
взят
Шанхай! —

Как будто
жесть
в ладонях минут,
оваций сила
росла и росла.
Пять,
десять,
пятнадцать минут
рукоплескал Ярославль.
Казалось,
буря
вёрсты крыла,
в ответ
на все
чемберленьи ноты
катилась в Китай,—
и стальные рыла
отворачивали
от Шанхая
дредноуты.
Не приравняю
всю
поэтическую слякоть,
любую
из лучших поэтических слав,
не приравняю
к простому
газетному факту,
если
так
ему
рукоплещет Ярославль.
О, есть ли
привязанность
большей силищи,
чем солидарность,
прессующая
рабочий улей?!
Рукоплещи, ярославец,
маслобой и текстильщик,
незнаемым
и родным
китайским кули!

1927

«ЛЕНИН С НАМИ!»

Бывают события:
случатся раз,
из сердца
высекут фразу.
И годы
не выдумать
лучших фраз,
чем сказанная
сразу.
Таков
и в Питер
ленинский въезд
на башне
броневика.
С тех пор
слова
и восторг мой
не ест
ни день,
ни год,
ни века.
Все так же
вскипают
от этой даты
души
фабрик и хат.
И я
привожу вам
просто цитаты
из сердца
и из стиха.
Февральское пламя
померкло быстро,
в речах
утопили
радость февральскую.
Десять
министров-капиталистов
уже
на буржуев
смотрят с ласкою.

Купался
Керенский
в своей победе,
задав
революции
адвокатский тон.
Но вот
пошло по заводу:
— Едет!

Едет!
— Кто едет?
— Он!
«И в город,
уже
заплывающий салом,
вдруг оттуда,
из-за Невы,
с Финляндского вокзала
по Выборгской
загрохотал броневик».
Была
простая
машина эта,
как многие,
шла над Невою.
Прошла,
а нынче
по целому свету
дыханье ее
броневое.
«И снова
ветер,
свежий и крепкий,
валы
революции
поднял в пене.
Литейный
залили
блузы и кепки.
— Ленин с нами!
Да здравствует Ленин!»

И с этих дней
везде
и во всем
имя Ленина
с нами.
Мы
будем нести,
несли
и несем —
его,
Ильичево, знамя.
«— Товарищи! —
и над головою
первых сотен
вперед
ведущую
руку выставил.
— Сбросим
эсдечества
обветшавшие лохмотья!
Долой
власть
соглашателей и капиталистов!»
Тогда
рабочий,
впервые спрошенный,
еще нестройно
отвечал:
— Готов! —
А сегодня
буржуй
распластан, сброшенный,
и нашей власти —
десять годов.
«— Мы —
голос
воли низа,
рабочего низа
всего света.
Да здравствует
партия,
строящая коммунизм!

Да здравствует
восстаиие
за власть Советов!»
Слова эти
слушали
пушки мордастые,
и щерился
белый,
штыками блестя.
А ынче
Советы и партия
здравствуют
в союзе
с сотней миллионов крестьяи.
«Впервые
перед толпой обалделой,
здесь же,
перед тобою,
близ —
встало,
как простое
делаемое дело,
недосягаемое слово
— «социализм».
А нынче
в упряжку
взяты частиики.
Коопов
стосортиых
сети вьем,
показываем
ежедневио
в иовом участке
социализм
живьем.
«Здесь же,
из-за заводов гудящих,
сияя горизонтом
во весь свод,
встала
завтрашняя
коммуна трудящихся —

без буржуев,
без пролетариев,
без рабов и господ».
Коммуна —
еще
не дело дней,
и мы
еще
в окружении врагов,
но мы
прошли
по дороге к ней
десять
самых трудных шагов.

1927

ВЕСНА

В газетах
пишут
какие-то дяди,
что начал
любовно
постукивать дятел.
Скоро
вид Москвы
скопируют с Ниццы,
цветы создадут
по весенним велениям.
Пишут,
что уже
синицы
оглядывают гнезда
с любовным вожделением.
Газеты пишут:
дни горячей,
налетели
отряды
передовых грачей.
И замечает
естествоиспытательское око,

что в березах
какая-то
циркуляция соков.
А по-моему —
дело мрачное:
начинается
горячка дачная.
Плюнь,
если рассказывает
какой-нибудь шут,
как дачные вечера
милы,
тихи́.
Опишу
хотя б,
как на даче
выделываю стихи.
Не растрачивая энергию
средь ерундовых трат,
решаю твердо
писать с утра.
Но две девицы,
и тощи
и рябы́,
заставили идти
искать грибы.
Хожу в лесу-с,
на каждой колючке
распинаюсь, как Иисус.
Устав до того,
что не ступишь на́ ноги,
принес сыроежку
и две поганки.
Принесши трофей,
еле отделываюсь
от упомянутых фей.
С бумажкой
лежу на траве я,
и строфы
спускаются,
рифмами вея.
Только
над рифмами стал сопеть,
и —

меня переезжает
кто-то
на велосипеде.
С балкона,
куда уселся, мыча,
сбежал
вовнутрь
от футбольного мяча.
Полторы строки намарал —
и пошел
ловить комара.
Опрокинув чернильницу,
задув свечу,
подымаюсь,
прыгаю,
чуть не лечу.
Поймал,
и при свете
мерцающих планет
рассматриваю —
хвост малярийный
или нет?
Уселся,
но слово
замерло в горле.
На кухне крик:
— Самовар сперли! —
Адамом,
во всей первородной красе,
бегу
за жуликами
по василькам и росе.
Отступаю
от пары
бродячих дворняжек,
заинтересованных
видом
юных ляжек.
Сел
в меланхолии.
В голову
ни строчки
не лезет более.

Два.
Ложусь в идиллии.
К трем часам —
уснул едва,
а четверть четвертого
уже разбудили.
На луже,
зажатой
берегам в бока,
орет
целуемая
лодочникова дочка...
«Славное море —
священный Байкал,
Славный корабль —
омулевая бочка».

1927

ОСТОРОЖНЫЙ МАРШ

Гляди, товарищ, в оба!
Вовсю раскрой глаза!
Британцы
твердолобые
республике грозят.
Не будь,
товарищ,
слепым
и глухим!
Держи,
товарищ,
порох
сухим!
Стучат в бюро Аркосовы,
со всех сторон насев:
как ломом,
лбом кокосовым
ломают мирный сейф.
С такими,
товарищ,
не сваришь
ухи.

Держи,
товарищ,
порох
сухим!
Знакомы эти хари нам,
не нов для них подлог:
подпишут
под Бухарина
любой бумажки клок.
Не жаль им,
товарищи,
бумажной
трухи.
Держите,
товарищи,
порох
сухим!
За барыней,
за Англией
и шавок лай летит,—
уже
у новых Врангелей
взыгрался аппетит.
Следи,
товарищ,
за лаем
лихим.
Держи,
товарищ,
порох
сухим!
Мы строим,
жнем
и сеем.
Наш лозунг:
«Мир и гладь».
Но мы
себя
сумеем
винтовкой отстоять.

Нас тянут,
товарищ,
к войне
от сохи.
Держи,
товарищ,
порох
сухим!

1927

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ И ВЯЧЕСЛАВ ПОЛОНСКИЙ

Сегодня я,
поэт,
боец за будущее,
оделся, как дурак.
В одной руке —
венок
огромный
из огромных незабудищей,
в другой —
из чайных —
розовый букет.
Иду
сквозь моторно-бензинную мглу
в Лувр.
Складку
на брюке
выправил нервно;
не помню,
платил ли я за билет;
и вот
зала,
и в ней
Венерино
дезабилье.
Первое смущенье.
Рассеялось когда,
я говорю:
— Мадам!

По доброй воле,
несмотря на блеск,
сюда
ни в жизнь не навострил бы лыж.
Но я
поэт СССР —
ноблес
оближ![1]
У нас
в республике
не меркнет ваша слава.
Эстеты
мрут от мраморного лоска.
Короче:
я —
от Вячеслава
Полонского.
Носастей грека он.
Он в вас души не чает.
Он
поэлладистей Лициниев и Люциев,
хоть редактирует
и «Мир»,
и «Ниву»,
и «Печать
и революцию».
Он просит передать,
что нет ему житья.
Союз наш
грубоват для тонкого мужчины.
Он много терпит там
от мужичья,
от лефов и мастеровщины.
Он просит передать,
что, «леф» и «праф» костя́,
в Элладу он плывет
надклассовым сознаньем.
Мечтает он
об эллинских гостях,
о тогах,
о сандалиях в Рязани,

[1] положение обязывает (*фр.* noblesse oblige).

чтобы гекзаметром
сменилась
лефовца строфа,
чтобы Радимовы
скакали по дорожке,
и чтоб Радимов
был
не человек, а фавн,—
чтобы свирель,
набедренник
и рожки.
Конечно,
следует иметь в виду,—
у нас, мадам,
не все такие там.
Но эту я
передаю белиберду.
На ней
почти официальный штамп.
Велено
у ваших ног
положить
букеты и венок.
Венера,
окажите честь и счастье,
катите
в сны его
элладских дней ладью...
Ну,
будет!
Кончено с официальной частью.
Мадам,
адью! —
Ни улыбки,
ни привета с уст ее.
И пока
толпу очередную
загоняет Кук,
расстаемся
без рукопожатий
по причине полного отсутствия
рук.

Иду —
авто дудит в дуду.
Танцую — не иду.
Домой!
Внимателен
и нем
стою в моем окне.
Напротив окон
гладкий дом
горит стекольным льдом.
Горит над домом
букв жара́ —
гараж.
Не гараж —
сам бог!
«Миль вуатюр,
дё сан бокс».
В переводе на простой:
«Тысяча вагонов,
двести стойл».
Товарищи!
Вы
видали Ройльса?
Ройльса,
который с ветром сросся?
А когда стоит —
кит.
И вот этого
автомобильного кита ж
подымают
на шестой этаж!
Ставши
уменьшеннее мышей,
тысяча машинных малышей
спит в объятиях
гаража-коло́сса.
Ждут рули —
дорваться до руки.
И сияют алюминием колеса,
круглые,
как дураки.

И когда
опять
вдыхают на заре
воздух
миллионом
радиаторных ноздрей,
кто заставит
и какую дуру
нос вертеть
на Лувры и скульптуру?!
Автомобиль и Венера — старо́-с?
Пускай!
Поновее и АХРРов и роз.
Мещанская жизнь
не стала иной.
Тряхнем и мы футурстариной.
Товарищ Полонский!
Мы не позволим
любителям старых
дворянских манер
в лицо строителям
тыкать мозоли,
веками
натертые
у Венер.

1927

ГОСПОДИН «НАРОДНЫЙ АРТИСТ»

Парижские «Последние новости» пишут: «Шаляпин пожертвовал священнику Георгию Спасскому на русских безработных в Париже 5000 франков. 1000 отдана бывшему морскому агенту, капитану 1-го ранга Дмитриеву, 1000 роздана Спасским лицам, ему знакомым, по его усмотрению, и 3000 — владыке митрополиту Евлогию».

Вынув бумажник из-под хвостика фрака,
добрейший
Федор Иваныч Шаляпин

на русских безработных
пять тысяч франков
бросил
на дно
поповской шляпы.
Ишь сердобольный,
как заботится!
Конешно,
плохо, если жмет безработица.
Но...
удивляют получающие пропитанье.
Почему
у безработных званье капитанье?
Ведь не станет
лезть
морское капитанство
на завод труда
и в шахты пота.
Так чего же ждет
Евлогиева паства,
и какая
ей
нужна работа?
Вот если
за нынешней грозою нотною
пойдет война
в орудийном аду —
шаляпинские безработные
живо
себе
работу найдут.
Впервые
тогда
комсомольская масса,
раскрыв
пробитые пулями уши,
сведет
знакомство
с шаляпинским басом
через бас
белогвардейских пушек.

Когда ж
        полями,
                кровью поли́тыми,
рабочие
        бросят
руки и ноги,—
вспомним тогда
                безработных митрополита
Евлогия.
Говорят,
        артист —
                большой ребенок.
Не знаю,
        есть ли
                у Шаляпина бонна.
Но если
        бонны
                нету с ним,
мы вместо бонны
                ему объясним.
Есть класс пролетариев
                миллионногорбый
и те,
        кто покорен фаустовскому тельцу́.
На бой
        последний
                класса оба
сегодня
        сошлись
                лицом к лицу.
И песня,
        и стих —
                это бомба и знамя,
и голос певца
                подымает класс,
и тот,
        кто сегодня
                поет не с нами,
тот —
        против нас.
А тех,
        кто под ноги атакующим бросится,

с дороги
уберет
рабочий пинок.
С барина
с белого
сорвите, наркомпросцы,
народного артиста
красный венок!

1927

НУ, ЧТО Ж!

Раскрыл я
с тихим шорохом
глаза страниц...
И потянуло
порохом
от всех границ.

Не вновь,
которым за́ двадцать,
в грозе расти.
Нам не с чего
радоваться,
но нечего
грустить.

Бурна вода истории.
Угрозы
и войну
мы взрежем
на просторе,
как режет
киль волну.

1927

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОДХАЛИМ

В любом учреждении
есть подхалим.
Живут подхалимы,
и неплохо им.

Подчас молодежи,
на них глядя,
хочется
устроиться —
как устроился дядя.
Но как
в доверие к начальству влезть?
Ответственного
не возьмешь на низкую лесть.
Например,
распахивать перед начальством
двери —
не к чему.
Начальство тебе не поверит,
не оценит
энергии
излишнюю трату —
подумает,
что это
ты —
по штату.
Или вот еще
способ
очень грубый:
трубить
начальству
в пионерские трубы.
Еще рассердится:
— Чего, мол, ради
ежесекундные
праздники
у нас
в отряде?
Надо
льстить
умело и тонко.
Но откуда
тонкость
у подростка и ребенка?!
И мы,
желанием помочь палимы,
выпускаем
«Руководство
для молодого подхалимы».

Например,
начальство
делает доклад —
выкладывает канцелярской премудрости
клад.
Стакан
ко рту
поднесет рукой
и опять
докладывает час-другой.
И вдруг
вопль посредине доклада:
— Время
докладчику
ограничить надо! —
Тогда
ты,
сотрясая здание,
требуй:
— Слово
к порядку заседания!
Доклад —
звезда средь мрака и темени.
Требую
продолжать
без ограничения времени! —
И будь уверен —
за слова за эти
начальство запомнит тебя
и заметит.
Узнав,
что у начальства
сочинения есть,
спеши
печатный отчетишко прочесть.
При встрече
с начальством,
закатывая глазки,
скажи ему
голосом,
полным ласки:
— Прочел отчет.
Не отчет, а роман!

У вас
стихи бы
вышли задарма!
Скажите,
ие вы ли
автор «Аитидюриига»?
Тоже
иаписаи
очеиь иедуриеиько.—
Увереи будь —
за оцеики за эти
и иачальство
оцеиит тебя
и заметит.
Увидишь:
иачальство
едет пьяиеиький
в казеииой машиие
и в дамской компаиийке.
Пиши
в стеигазету,
возмущеииый насквозь:
«Экоиомия экоиомии розиь.
Такую экоиомию —
высмейте смешком!
На что это похоже?!
Еле-еле
со службы
и иа службу,
таскаясь пешком,
иачкаиц
волочит свои портфели».
И ты
преуспеешь иа жизиеииой сцеие —
иачальство
заметит тебя
и оцеиит.

А если
ие хотите
быть подхалимой,
сами
себе
ие зажимайте рот:

увидев
безобразие,
не проходите мимо
и поступайте
не по стиху,
а наоборот.

1927

КРЫМ

Хожу,
гляжу в окно ли я —
цветы
да небо синее,
то в нос тебе магнолия,
то в глаз тебе
глициния.

На молоко
сменил
чай
в сиянье
лунных чар.
И днем
и ночью
на Чаир
вода
бежит, рыча.

Под страшной
стражей
волн-борцов
глубины вод гноят
повыброшенных
из дворцов
тритонов и наяд.

А во дворцах
другая жизнь:
насытясь
водной блажью,
иди, рабочий,
и ложись

в кровать
великокняжью.
Пылают горы-горны,
и море синеблузится.
Людей
ремонт ускоренный
в огромной
крымской кузнице.

1927

ТОВАРИЩ ИВАНОВ

Товарищ Иванов —
мужчина крепкий,
в штаты врос
покрепше репки.
Сидит
бессменно
у стула в оправе,
придерживаясь
на службе
следующих правил.
Подходит к телефону —
достоинство
складкой.
— Кто спрашивает?
— Товарищ тот! —
И сразу
рот
в улыбке сладкой —
как будто
у него не рот, а торт.
Когда
начальство
рассказывает анекдот,
такой,
от которого
покраснел бы и дуб, —
Иванов смеется,
смеется, как никто,

хотя
от флюса
ноет зуб.
Спросишь мнение —
придет в смятеньице,
деликатно
отложит
до дня
до следующего,
а к следующему
узнаете
мненьице —
уважаемого
товарища заведующего.
Начальство
одно
смахнут, как пыльцу...
Какое
ему,
Иванову,
дело?
Он служит
так же
другому лицу,
его печёнке,
улыбке,
телу.
Напялит
на себя
начальственную маску,
начальственные привычки,
начальственный
вид.
Начальство ласковое —
и он
ласков.
Начальство грубое —
и он грубит.
Увидя безобразие,
не протестует впустую.
Протест
замирает
в зубах тугих.

— Пускай, мол,
первыми
другие протестуют.
Что я, в самом деле,
лучше других? —
Тот —
уволен.
Этот —
сокращен.
Бессменно
одно
Ивановье рыльце.
Везде
и всюду
пролезет он,
подмыленный
скользким
подхалимским
мыльцем.
Впрочем,
написанное
ни для кого не ново —
разве нет
у вас
такого Иванова?
Кричу
благим
(а не просто) матом,
глядя
на подобные истории:
— Где я?
В лонах
красных наркоматов
или
в дооктябрьской консистории?!

1927

ПОСМОТРИМ САМИ, ПОКАЖЕМ ИМ

Рабочий Москвы,
ты видишь
везде:

в котлах —
асфальтное варево,
стропилы,
стук
и дым весь день,
и цены
сползают товаровы.
Союз расцветет
у полей в оправе,
с годами
разделаем в рай его.
Мы землю
завоевали
и правим,
чистя ее
и отстраивая.
Буржуи
тоже,
в кулак не свистя,
чихают
на наши ды́мы.
Знают,
что несколько лет спустя —
мы —
будем непобедимы.
Открыта
шпане
буржуев казна,
хотят,
чтоб заводчик пас нас.
Со всех сторон,
гулка и грозна,
идет
на Советы
опасность.
Сегодня
советской силы показ:
в ответ
на гнев чемберленский
в секунду
наденем
противогаз,
штыки рассияем в блеске.

Не думай,
чтоб займами
нас одарили.
Храни
республику
на свои гроши.
В ответ Чемберленам
взлетай, эскадрилья,
винтами
вражье небо кроши!

Страна у нас
мягка и добра,
но землю Советов —
не трогайте:
тому,
кто свободу придет отобрать,
сумеем
остричь
когти.

1927

ИВАН ИВАНОВИЧ ГОНОРАРЧИКОВ

(Заграничные газеты печатают безыменный протест русских писателей.)

Писатель
Иван Иваныч Гонорарчиков
правительство
советское
обвиняет в том,
что живет-де писатель
запечатанным ларчиком
и владеет
замо́к
обцензуренным ртом.
Еле
преодолевая
пивную одурь,
напевает,
склонясь
головой соло́вой:

— О, дайте,
дайте мне свободу
сло́ва.—
Я тоже
сделан
из писательского теста.
Действительно,
чего этой цензуре надо?
Присоединяю
голос
к писательскому протесту:
ознакомимся
с писательским
ларчиком-кладом!
Подойдем
к такому
демократично и ласково.
С чего начать?
Отодвинем
товарища
Лебедева-Полянского
и сорвем
с писательского рта
печать.
Руки вымоем
и выньем
содержимое.
В начале
ротика —
пара
советских анекдотиков.
Здесь же
сразу,
от слюней мокра́,
гордая фраза:
— Я —
демократ! —
За ней —
другая,
длинней, чем глиста:
— Подайте
тридцать червонцев с листа! —

Что зуб —
то светоч.
Зубовная гниль
светит,
как светят
гнилушки-огни.
А когда
язык
приподняли робкий,
сидевший
в глотке
наподобие пробки,
вырвался
визг осатанелый:
— Ура Милюкову,
даешь Дарданеллы!—
И сразу
все заорали:
— Закройте-ка
недра
благоухающего ротика!—

Мы
цензурой
белые враки обводим,
чтоб никто
не мешал
словам о свободе.
Чем точить
демократические лясы,
обливаясь
чаями
до четвертого поту,
поможем
и словом
свободному классу,
силой
оберегающему
и строящему свободу.
И вдруг
мелькает
мысль-заря:

а может быть,
я
и рифмую зря?
Не эмигрант ли
грязный
из бороденки вшивой
вычесал
и этот
протестик фальшивый?!

1927

ЧУДЕСА!

Как днище бочки,
правильным диском
стояла
луна
над дворцом Ливадийским.
Взошла над землей
и пошла заливать ее,
и льется на море,
на мир,
на Ливадию.
В царевых дворцах —
мужики-санаторники.
Луна, как дура,
почти в исступлении,
глядят
глаза
блинорожия плоского
в афишу на стенах дворца:
«Во вторник
выступление
товарища Маяковского».
Сам самодержец,
здесь же,
рядом,
гонял по залам
и по биллиардам.
И вот,
где Романов
дулся с маркёрами,

шары
ложа́
под свитское ржание,
читаю я
крестьянам
о форме
стихов —
и о содержании.
Звонок.
Луна
отодвинулась тусклая,
и я,
в электричестве,
стою на эстраде.
Сидят предо мною
рязанские,
тульские,
почесывают бороды русские,
ерошат пальцами
русые пряди.
Их лица ясны,
яснее, чем блюдце,
где надо — хмуреют,
где надо —
смеются.
Пусть тот,
кто Советам
не знает цену,
со мною станет
от радости пьяным:
где можно
еще
читать во дворце —
что?
Стихи!
Кому?
Крестьянам!
Такую страну
и сравнивать не с чем, —
где еще
мыслимы
подобные вещи?!

И думаю я
обо всем,
как о чуде.
Такое настало,
а что еще будет!
Вижу:
выходят
после лекции
два мужика
слоновьей комплекции.
Уселись
вдвоем
под стеклянный шар,
и первый
второму
заметил:
— Мишка,
оченно хороша —
эта
последняя
была рифмишка.—
И долго еще
гудят ливадийцы
на желтых дорожках,
у синей водицы.

1927

МАРУСЯ ОТРАВИЛАСЬ

Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не называйте его Борей, а, подделываясь под гнусавый французский акцент, должны называть его «Боб»...

«Комс. правда».

В Ленинграде девушка-работница отравилась, потому что у нее не было лакированных туфель, точно таких же, какие носила ее подруга Таня...

«Комс. правда».

Из тучки месяц вылез,
молоденький такой...
Маруська отравилась,
везут в прием-покой.

Понравился Маруське
один
с недавних пор:
нафабренные усики,
расчесанный пробор.
Он был
монтером Ваней,
но...
в духе парижан,
себе
присвоил званье:
«электротехник Жан».
Он говорил ей часто
одну и ту же речь:
— Ужасное мещанство —
невинность
зря
беречь.—
Сошлись и погуляли,
и хмурит
Жан
лицо,—
нашел он,
что
у Ляли
красивше бельецо.
Марусе разнесчастной
сказал, как джентльмен:
— Ужасное мещанство —
семейный
этот
плен.—
Он с ней
расстался
ровно
через пятнадцать дней,
за то,
что лакированных
нет туфелек у ней.
На туфли
денег надо,
а денег
нет и так...

Себе
Маруся
яду
купила
на пятак.
Короткой
жизни
точка.
— Смер-тель-ный
я-яд
испит...—
В малиновом платочке
в гробу
Маруся
спит.
Развылся ветер гадкий.
На вечер,
ветру в лад,
в ячейке
об упадке
поставили
доклад.

Почему?

В сердце
без лесенки
лезут
эти песенки.
Где родина
этих
бездарных романсов?
Там,
где белые
лаются моською?
Нет!
Эту песню
родила масса —
наша
комсомольская.
Легко
врага
продырявить наганом.

Или —
голову с плеч,
и саблю вытри.
А как
сейчас
нащупать врага нам?
Таится.
Хитрый!
Во что б ни обулись,
что б ни надели —
обноски
буржуев
у нас на теле.
И нет
тебе
пути-прямика.
Нашей
культуришке
без году неделя,
а нхией —
века!
И растут
черные
дурни
и дуры,
ничем не защищенные
от барахла культуры.
На улицу вышел —
глаза разопри!
В каждой витрине
буржуевы обноски:
какая-нибудь
шляпа
с пером «распри»,
и туфли
показывают
лакированные носики.
Простенькую
блузу нам
и надеть конфузно.
На улицах,
под руководством
Гарри Пилей,

расставило
сети
Совкино,—
от нашей
сегодняшней
трудной были
уносит
к жизни к иной.
Там
ни единого
ни Ваньки,
ни Пети,
одни
Жанны,
одни
Кэти.
Толча комплименты,
как воду в ступке,
люди
совершают
благородные поступки.
Всё
бароны,
графы — всё,
живут
по разным
роскошным городам,
ограбят
и скажут:
— Мерси, мусье,—
изнасилуют
и скажут:
— Пардон, мадам.—
На ленте
каждая —
графиня минимум.
Перо в шляпу
да серьги в уши.
Куда же
сравниться
с такими графинями
заводской
Феклуше да Марфуше?

И мальчики
пачками
стреляют за нэпачками.
Нравятся
мальчикам
в маникюре пальчики.
Играют
этим пальчиком
нэпачки
на рояльчике.
А сунешься в клуб —
речь рвотная.
Чешут
языками
чиновноустые.
Раз международное,
два международное,
но нельзя же до бесчувствия!
Напротив клуба
дверь пивнушки.
Веселье,
грохот,
как будто пушки!
Старается
разная
музыкальная челядь
пианинить
и виолончелить.
Входите, товарищи,
зайдите, подружечки,
выпейте,
пожалуйста,
по пенной кружечке!

Что?

Крою
пиво пенное,—
только что вам
с этого?!

Что даю взамен я?
Что вам посоветовать?
Хорошо
и целоваться,
и вино.
Но...
вино и поэзия,
и если
ее
хоть раз
по-настоящему
испили рты,
ее
не заменит
никакое питье,
никакие пива,
никакие спирты.
Помни
ежедневно,
что ты
зодчий
и новых отношений
и новых любовей,—
и станет
ерундовым
любовный эпизодчик
какой-нибудь Любы
к любому Вове.
Можно и кепки,
можно и шляпы,
можно
и перчатки надеть на лапы.
Но нет
на свете
прекрасней одежи,
чем бронза мускулов
и свежесть кожи.
И если
подыметесь
чисты́ и стройны́,
любую
одежу
заказывайте Москвошвею,

и...
лучшие
девушки
нашей страны
сами
бросятся
вам на шею.

1927

ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА, БРОШЕННОЙ ИМ,

как о том сообщается в № 219 «Комсомольской правды» в стихе по имени «Свидание»

Слышал —
вас Молчанов бросил,
будто
он
предпринял это,
видя,
что у вас
под осень
нет
«изячного» жакета.
На косынку
цвета синьки
смотрит он
и цедит еле:
— Что вы
ходите в косынке?
Да и...
мордой постарели?
Мне
пожалте
грудь тугую.
Ну,
а если
нету этаких...
Мы найдем себе другую
в разызысканной жакетке.—

Припомадясь
и прикрасясь,
эту
. гадость
вливши в стих,
хочет
он
марксистский базис
под жакетку
подвести.
«За боль годов,
за все невзгоды
глухим сомнениям не быть!
Под этим мирным небосводом
хочу смеяться
и любить».
Сказано веско.
Посмотрите, дескать:
шел я верхом,
шел я низом,
строил
мост в социализм,
не достроил
и устал
и уселся
у моста́
Травка
выросла
у мо́ста,
по мосту́
идут овечки,
мы желаем
— очень просто! —
отдохнуть
у этой речки.
Заверните ваше знамя!
Перед нами
ясность вод,
в бок —
цветочки,
а над нами —
мирный-мирный небосвод.

Брошенная,
не бойтесь красивого слога
поэта,
музой венчанного!
Просто
и строго
ответьте
на лиру Молчанова:
— Прекратите ваши трели!
Я не знаю,
я стара ли,
но вы,
Молчанов,
постарели,
вы
и ваши пасторали.
Знаю я —
в жакетах в этих
на Петровке
бабья банда.
Эти
польские жакетки
к нам
провозят
контрабандой.
Чем, служа
у муз
по найму,
на мое
тряпье
коситься,
вы б
индустриальным займом
помогли
рожденью
ситцев.
Череп,
што ль,
пустеет чаном,
выбил
мысли
грохот лирный?

Это где же
вы,
Молчанов,
небосвод
узрели
мирный?
В гущу
ваших ро́здыхов,
под цветочки,
на реку
заграничным воздухом
не доносит гарьку?
Или
за любовной блажью
не видать
угрозу вражью?

Литературная шатия,
успокойте ваши нервы,
отойдите —
вы мешаете
мобилизациям и маневрам.

1927

«МАССАМ НЕПОНЯТНО»

Между писателем
и читателем
стоят посредники,
и вкус
у посредника
самый средненький.
Этаких
средненьких
из посреднической рати
тыща
и в критиках
и в редакторате.
Куда бы
мысль твоя
ни скакала,

этот
все
озирает сонно:
— Я
человек
другого закала.
Помню, как сейчас,
в стихах
у Надсóна...
Рабочий
не любит
строчек коротеньких.
А еще
посредников
кроет Асеев.
А знаки препинания?
Точка —
как родинка.
Вы
стих украшаете,
точки рассеяв.
Товарищ Маяковский,
писали б ямбом,
двугривенный
на строчку
прибавил вам бы.—
Расскажет
несколько
средневековых легенд,
объяснение
часа на четыре затянет,
и ко всему
присказывает
унылый интеллигент:
— Вас
не понимают
рабочие и крестьяне.—
Сникает
автор
от сознания вины.
А этот самый
критик влиятельный

крестьянина
видел
только до войны,
при покупке
на даче
ножки телятины.
А рабочих
и того менее —
случайно
двух
во время наводнения.
Глядели
с моста
на места и картины,
на разлив,
на плывущие льдины.
Критик
обошел умиленно
двух представителей
из десяти миллионов.
Ничего особенного —
руки и груди...
Люди — как люди!
А вечером
за чаем
сидел и хвастал:
— Я вот
знаю
рабочий класс-то.
Я
душу
прочел
за их молчаньем —
ни упадка,
ни отчаяния.
Кто может
читаться
в этаком классе?
Только Гоголь,
только классик.
А крестьянство?
Тоже.
Никак не иначе.

Как сейчас помню —
весною, на даче...—
Этакие разговорчики
у литераторов
у нас
часто
заменяют
знание масс.
И идут
дореволюционного образца
творения слова,
кисти
и резца.
И в массу
плывет
интеллигентский дар —
грезы,
розы
и звон гитар.
Прошу
писателей,
с перепугу бледных,
бросить
высюсюкивать
стихи для бедных.
Понимает
ведущий класс
и искусство
не хуже вас.
Культуру
высокую
в массы двигай!
Такую,
как и прочим.
Нужна
и понятна
хорошая книга —
и вам,
и мне,
и крестьянам,
и рабочим.

1927

РАЗМЫШЛЕНИЯ О МОЛЧАНОВЕ ИВАНЕ И О ПОЭЗИИ

Я взял газету
и лег на диван.
Читаю:
          «Скучает
Молчанов Иван».
Не скрою, Ванечка:
скушно и нам.
И ваши стишонки —
скуки вина.
Десятый Октябрь
у всех на носу,
а вы
      ухватились
за чью-то косу.
Любите
          и Машу
и косы ейные.
Это
      ваше
дело семейное.
Но что нам за толк
от вашей
            от бабы?!
Получше
            стишки
писали хотя бы.
Но плох ваш роман.
И стих неказист.
Вот так
          любил бы
любой гимназист.
Вы нам обещаете,
скушный Ваня,
на случай нужды
пойти, барабаня.
Де, будет
            туман.
И отверзнете рот,
на весь
          на туман

заорете:
　　　　— Вперед!—
Де,
　— выше взвивайте
красное знамя!
Вперед, переплетчики,
а я —
　　　за вами.—
Орать
　　　«Караул!»,
попавши в туман?
На это
　　　не надо
большого ума.
Сегодняшний
　　　　　　день
возвеличить вам ли,
в хвосте
　　　у событий
о девушках мямля?!
Поэт
　　настоящий
вздувает
　　　　заранее
из искры
　　　　неясной —
ясное знание.

1927

ЕКАТЕРИНБУРГ — СВЕРДЛОВСК

Из снегового,
　　　　слепящего лоска,
из перепутанных
　　　　　　сучьев
　　　　　　　　и хвои —
встает
　　внезапно
　　　　домами Свердловска
новый город:
　　　　работник и воин.

Под Екатеринбургом
рыли каратики,
вгрызались
в мерзлые
породы и руды —
чтоб на грудях
коронованной Катьки
переливались
изумруды.
У штолен
в боках
корпели,
пока —
Октябрь
из шахт
на улицы ринул,
и...
разослала
октябрьская ломка
к чертям
орлов Екатерины
и к богу —
Екатерины
потомка.
И грабя
и испепеляя,
орда растакая-то
прошла
по городу,
войну волоча.
Порол Пепеляев.
Свирепствовал Га́йда.
Орлом
клевался
верховный Колчак.
Потухло
знамен
и пожаров пламя,
и лишь,
от него
как будто ожог,

сегодня
горит —
временам на память —
в свердловском небе
красный флажок.
Под ним
с простора
от снега светлого
встает
новоро́жденный
город Све́рдлова.
Полунебоскребы
лесами по́днял,
чтоб в электричестве
мыть вечера́,
а рядом —
гриб,
дыра,
преисподняя,
как будто
у города
нету
«сегодня»,
а только —
«завтра»
и «вчера».
В санях
промежду
бирж и трестов
свисти
во весь
широченный проспект.
И...
заколдованное место:
вдруг
проспект
обрывает разбег.
Просыпали
в ночь
расчернее могилы
звезды-табачишко
из неба кисета.

И грудью
    топок
        дышут Тагилы,
да трубки
    заводов
        курят в Исети.

У этого
    города
        нету традиций,
бульвара,
    дворца,
        фонтана и неги.
У нас
    на глазах
        городище родится
из воли
    Урала,
        труда
            и энергии!

1928

РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КОЗЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ

Я пролетарий.
    Объясняться лишне.
Жил,
    как мать произвела, родив.
И вот мне
    квартиру
        дает жилищный,
мой,
    рабочий,
        кооператив.
Во — ширина!
    Высота — во!
Проветрена,
    освещена
        и согрета.

Все хорошо.
Но больше всего
мне
понравилось —
это:
это
белее лунного света,
удобней,
чем земля обетованиая,
это —
да что говорить об этом,
это —
ванная.
Вода в кране —
холодная крайне.
Кран
другой
не тронешь рукой.
Можешь
холодной
мыть хохол,
горячей —
пот пор.
На кране
одном
написано:
«Хол.»,
на краие другом —
«Гор.».
Придешь усталый,
вешаться хочется.
Ни щи не радуют,
ни чая клокотанье.
А чайкой поплещешься —
и мертвый расхохочется
от этого
плещущего щекотания.
Как будто
пришел
к социализму в гости,
от удовольствия —
вахватывает дых.

Брюки на крюк,
блузу на гвоздик,
мыло в руку
и...
бултых!
Сядешь
и моешься
долго, долго.
Словом,
сидишь,
пока охота.
Просто
в комнате
лето и Волга —
только что нету
рыб и пароходов.
Хоть грязь
на тебе
десятилетнего стажа,
с тебя
корою с дерева,
чуть не лыком,
сходит сажа,
смывается, стерва.
И уж распаришься,
разжаришься уж!
Тут —
вертай ручки:
и каплет
прохладный
дождик-душ
из дырчатой
железной тучки.
Ну ж и ласковость в этом душе!
Тебя
никакой
не возьмет упадок:
погладит волосы,
потреплет уши
и течет
по желобу
промежду лопаток.

Воду
стираешь
с мокрого тельца
полотенцем,
как зверь, мохнатым.
Чтобы суше пяткам —
пол
стелется,
извиняюсь за выражение,
пробковым матом.

Себя разглядевши
в зеркало вправленное,
в рубаху
в чистую —
влазь.
Влажу и думаю:
«Очень правильная
эта,
наша,
Советская власть».

Свердловск
28 января 1928 г.

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ПЕСНЯ

Дрянь адмиральская,
пан
и барон
шли
от шестнадцати
разных сторон.
Пушка —
французская,
áнглийский танк.
Белым
папаша
Антантовый стан.
Билась
Советская
наша страна,

дни
грохотали
разрывом гранат.
Не для разбоя
битва зовет —
мы
защищаем
поля
и завод.
Шли деревенские,
лезли из шахт,
дрались
голодные,
в рвани
и вшах.
Серые шлемы
с красной звездой
белой ораве
крикнули:
— Стой! —
Били Деникина,
были
Махно,
так же
любого
с дороги смахнем.
Хрустнул,
проломанный,
Крыма хребет.
Красная
крепла
в громе побед.
С вами
сливалось,
победу растя,
сердце —
рабочих,
сердце —
крестьян.
С первой тревогою
с наших низов
стомиллионные
встанем на зов.

Землю колебля,
в новый поход
двинут
дивизии
Красных пехот.
Помня
принятие
красных присяг,
лава
Буденных
пойдет
на рысях.
Против
буржуевых
новых блокад
красные
птицы
займут облака.
Крепни
и славься
в битвах веков,
Красная
Армия
большевиков!

1928

НАГРУЗКА ПО МАКУШКУ

Комсомолец
Петр Кукушкин
прет
в работе
на рожон,—
он от пяток
до макушки
в сто нагрузок нагружен.
Пообедав,
бодрой рысью
Петя
мчит
на культкомиссию.

После
Петю видели
у радиолюбителей.
Не прошел
мимо
и Осоавиахима.
С химии
в один прыжок
прыгнул
в шахматный кружок.
Играть с Кукушкиным —
нельзя:
он
путал
пешку и ферзя.—
(Малюсенький затор!)
Но... Петя
знал,
врагов разя,
теорию зато.
Этот Петя
может
вскачь
критикнуть
всемирный матч.
— «Я считаю:
оба плохи —
Капабланка и Алехин,
оба-два,
в игре юля,
охраняли короля.
Виден
в ходе
в этом вот
немарксистский подход.
Я
и часа не помешкаю —
монархизмы
ешьте пешкою!»
Заседания
и речи,

ходит утро,
ходит вечер,
от трудов —
едва дыша,
и торчат
в кармане френча
тридцать три карандаша.
Просидел
собраний двести.
Дни летят,
недели тают...
Аж мозоль
натер
на месте,
на котором заседают.
Мозг мутится,
пухнет парень,
тело
меньше головы,
беготней своей упарен,
сам
себя
считает парень —
разужасно деловым.
Расписал
себя
на го́д,
хоть вводи
в работу НОТ!
Где вы, Гастев с Керженцевым?!.
С большинством —
проголоснет,
с большинством —
воздержится.

Год прошел.
Отчет недолог.
Обратились к Пете:
— Где ж
работы
смысл и толк
от нагрузок этих? —

Глаз
в презренье
щурит Петь,
всех
окинул
глазом узким:
— Где ж
работать мне поспеть
при такой нагрузке?

1928

КТО ОН?

Кто мчится,
кто скачет
такой молодой,
противник мыла
и в контрах с водой?
Как будто
окорока ветчины,
небритые щеки
от грязи черны.
Разит —
и грязнее черных ворот
зубною щеткой
нетронутый рот.
Сродни
шевелюра
помойной яме,
бумажки
и стружки
промеж волосьями;
а в складках блузы
безвременный гроб
нашел
энергично раздавленный клоп.
Трехлетнего пота
журчащий родник
проклеил
и выгрязнил
весь воротник.

Кто мчится,
кто скачет
и брюки ло́вит,
держащиеся
на честиом слове?
Сбежав
от повииностей
скушиых и тяжких,
за скакуном
хвостятся подтяжки.
Кто мчится,
кто скачет
резво и яро
по мостовой
в обход тротуара?
Кто мчит
без разбора
сквозь слякоть и грязь,
дымя по дороге,
куря
и плюясь?
Кто мчится,
кто скачет
видеиьем крылатым,
трамбуя
встречиых
увесистым матом?
Кто мчится,
и едет,
и гоиит,
и скачет?
Ответ —
апельсииа
ясиее и кратче,
ответ
положу
как иа блюдце я:
то мчится
иаш товарищ докладчик
на диспут:
«Культуриая революция».

1928

СЛУЖАКА

Появились
молодые
превоспитанные люди —
Мопров
знаки золотые
им
увенчивают груди.
Парт-комар
из МКК
не подточит
парню
носа:
к сроку
вписана
строка
проф-
и парт-
и прочих взносов.
Честен он,
как честен вол.
В место
в собственное
вросся
и не видит
ничего
дальше
собственного носа.
Коммунизм
по книге сдав,
перевызубривши «измы»,
он
покончил навсегда
с мыслями
о коммунизме.
Что заглядывать далече?!
Циркуляр
сиди
и жди.
— Нам, мол,
с вами
думать неча,

если
думают вожди.—
Мелких дельцов
пару шор
он
надел
на глаза оба,
чтоб служилось
хорошо,
безмятежно,
узколобо.
День — этап
растрат и лести,
день,
когда
простор подлизам,—
это
для него
и есть
самый
рассоциализм.
До коммуны
перегон
не покрыть
на этой кляче,
как нарочно
создан
он
для чиновничьих делячеств.
Блещут
знаки золотые,
гордо
выпячены
груди,
ходят
тихо
молодые
приспособленные люди.
О коряги
якорятся
там,
где тихая вода...

А на стенке
декорацией
Карлы-марлы борода.

Мы томимся неизвестностью,
что нам делать
с ихней честностью?

Комсомолец,
живя
в твои лета́,
октябрьским
озоном
дыша,
помни,
что каждый день —
этап,
к цели
намеченной
шаг.
Не наши —
которые
времени в зад
уперли
лбов
медь;
быть коммунистом —
значит дерзать,
думать,
хотеть,
сметь.
У нас
еще
не Эдем и рай —
мещанская
тина с цвелью.
Работая,
мелочи соразмеряй
с огромной
поставленной целью.

1928

КРИТИКА САМОКРИТИКИ

Модою —
объяты все:
и размашисто
и куце,
словно
белка в колесе
каждый
самокритикуется.
Сам себя
совбюрократ
бьет
в чиновничие перси.
«Я
всегда
советам рад.
Критикуйте!
Я —
без спеси.
Но...
стеигазное мычаиье...
Где
в рабкоре
толку статься?
Вы
пишите замечания
и пускайте
по инстанциям».
Самокритик
совдурак
рассуждает,
помпадурясь:
«Я же ж
критике
не враг.
Но рабкорь —
разводит дурость.
Критикуйте!
Не обижен.

Здравым
мыслям
сердце радо.
Но...
чтоб критик
был
не ниже,
чем
семнадцтого разряда».
Сладкогласый
и ретивый
критикует подхалим.
С этой
самой
директивы
не был
им
никто
хвалим.
Сутки
сряду
могут крыть
тех,
кого
покрыли свыше,
чтоб начальник,
видя прыть,
их
из штатов бы
не вышиб.
Важно
пялят
взор спецы
на критическую моду,—
дескать —
пойте,
крит-певцы,
языком
толчите воду.
Много
было
каждый год
разударнейших кампаний.

Быть
    тебе
        в архиве мод —
мода
    на самокопанье.
А рабкор?
            Рабкор —
                    смотрите! —
приуныл
        и смотрит криво:
от подобных
            самокритик
у него
      трещит
            загривок.
Безработные ручища
тычет
     зря
        в карманы он.
Он —
    обдернут,
            он —
                прочищен,
он зажат
        и сокращен.
Лава фраз —
            не выплыть вплавь.
Где размашисто,
                где куцо,
модный
      лозунг
            оседлав,
каждый —
        самокритикуется.

Граждане,
        вы не врите-ка,
что это —
        самокритика!

Покамест
        точат начальники
демократические лясы,

меж нами
живут молчальники —
овцы
рабочего класса.
А пока
молчим по-рабьи,
бывших
белых
крепнут орды —
рвут,
насилуют
и грабят,
непокорным —
плющат морды.
Молчалиных
кожа
устроена хитро:
плюнут им
в рожу —
рожу вытрут.
«Не по рылу грохот нам,
где ж нам
жаловаться?
Не прощаться ж
с крохотным
с нашим
с жалованьицем».
Полчаса
в кутке
покипят,
чтоб снова
дрожать начать.

Эй,
проснитесь, которые спят!
Разоблачай
с головы до пят.
Товарищ,
не смей молчать!
1928

«ОБЩЕЕ» И «МОЕ»

Чуть-чуть еще, и он почти б
был положительнейший тип.

Иван Иваныч —
чуть не «вождь»,
дана
в ладонь
вожжа ему.
К нему
идет
бумажный дождь
с припиской —
«уважаемый».
В делах умен,
в работе —
быстр.
Кичиться —
нет привычек.
Он
добросовестный службист —
не вор,
не волокитчик.
Велик
его
партийный стаж,
взглянн в билет —
и ахни!
Карманы в ручках,
а уста ж
сахарного сахарней.
На зависть
легкость языка,
уверенно
и пусто
он,
взяв путевку из ЭМКА,
бубнит
под Златоуста.
Поет
на соловьиный лад,
играет
слов
оправою

«о здравии комсомолят,
о женском равноправии».
И, сняв
служебные гужи,
узнавши,
час который,
домой
приедет, отслужив,
и...
опускает шторы.
Распустит
он
жилет...
и здесь,
— здесь
частной жизни часики! —
преображается
весь
по-третье-мещански.
Чуть-чуть
не с декабристов
род —
хоть предков
в рамы рамьте!
Но
сына
за уши
дерет
за леность в политграмоте.
Орет кухарке,
разъярясь,
супом
усом
капая:
«Не суп, а квас,
который раз,
пермячка сиволапая!..»
Живешь века,
века учась
(гении
не ро́дятся).
Под граммофон
с подругой
час

под сенью штор
фокстротится.
Жена
с похлебкой из пшена
сокращена
за древностью.
Его
вторая зам-жена
и хороша,
и сложена,
и вымучена ревностью.
Елозя
лапой по ногам,
ероша
юбок утлость,
он вертит
по́д носом наган:
«Ты с кем
сегодня
путалась?..»
Пожил,
и отошел,
и лег,
а ночь
паучит нити...
Попробуйте,
под потолок
теперь
к нему
взгляните!
И сразу
он
вскочил и взвыл.
Рассердится
и визгнет:
«Не смейте
вмешиваться
вы
в интимность
частной жизни!»

Мы вовсе
не хотим бузить.

Мы кроем
быт столетний.
Но, боже...
Марксе, упаси
нам
заниматься сплетней!
Не будем
в скважины смотреть
на дрязги
в вашей комнате.
У вас
на дом
из суток —
треть,
но знайте
и помните:
глядит
мещанская толпа,
мусолит
стол и ложе...
Как
под стекляннейший колпак,
на время
жизнь положим.
Идя
сквозь быт
мещанских клик,
с брезгливостью
преувеличенной,
мы
переменим
жизни лик,
и общей,
и личной.

1928

КАЗАНЬ

Стара,
коса
стоит
Казань.

Шумит
бурун:
«Шурум...
бурум...»
По-родному
тараторя,
снегом
лужи
намарав,
у подворья
в коридоре
люди
смотрят номера.
Кашляя
в рукава,
входит
робковат,
глаза таращит.
Приветствую товарища.

Я
в языках
не очень натаскан —
что норвежским,
что шведским мажь.
Входит татарин:
«Я
на татарском
вам
прочитаю
«Левый марш».
Входит второй.
Косой в скуле.
И говорит,
в карманах порыскав:
«Я —
мариец.
Твой
«Левый»
дай
тебе
прочту по-марийски».

Эти вышли.
Шедших этих
в низкой
двери
встретил третий.
«Марш
ваш —
наш марш.
Я —
чуваш,
послушай,
уважь.
Марш
вашинский
так по-чувашски...»
Как будто
годы
взял за чуб я —
— Станьте
и не пылите-ка! —
рукою
своею собственной
щупаю
бестелое слово
«политика».
Народы,
жившие,
въямясь в нужду,
притершись
Уралу ко льду,
ворвались в дверь,
идя
на штурм,
на камень,
на крепость культур.
Крива,
коса
стоит
Казань.
Шумит
бурун:
«Шурум...
бурум...»
1928

ТРУС

В меру
и черны́ и ру́сы,
пряча взгляды,
пряча вкусы,
бо́ком,
тенью,
в стороне,—
пресмыкаются тру́сы
в славной
смелыми
стране.
Каждый зав
для труса —
туз.
Даже
от его родни
опускает глазки трус
и уходит
в воротник.
Влип
в бумажки
парой глаз,
ног
поджаты циркуля:
«Схорониться б
за приказ...
Спрятаться б
за циркуляр...»
Не поймешь,
мужчина,
рыба ли —
междометья
зря
не выпалит.
Где уж
подпись и печать!
«Только бы
меня не выбрали,
только б
мне не отвечать...»
Ухо в метр
— никак не менее —

за начальством
ходит сзади,
чтоб, услышав
ихнье
мнение,
завтра
это же сказать им.
Если ж
старший
сменит мнение,
он
усвоит
мненье старшино:
— Мненье —
это не именье,
потерять его
не страшно.—
Хоть грабьте,
хоть режьте возле него,
не будет слушать ни плач,
ни вой.
«Наше дело
маленькое —
я сам по себе
не великий немой,
и рот
водою
наполнен мой,
вроде
умывальника я».
Трус
оброс
бумаг
корою.
«Где решать?!
Другие пусть.
Вдруг не выйдет?
Вдруг покроют?
Вдруг
возьму
и ошибусь?»
День-деньской
сплетает тонко

узы
самых странных свадеб —
увязать бы
льва с ягненком,
с кошкой
мышь согласовать бы.
Весь день
сердечко
ужас кроит,
предлогов для трепета —
кипа.
Боится автобусов
и Эркаи,
начальства,
жены
и гриппа.
Месткома,
домкома,
просящих взаймы,
кладбища,
милиции,
леса,
собак,
погоды,
сплетен,
зимы
и
показательных процессов.
Подрожит
и ляжет житель,
дрожью
ночь
корежит тело...
Товарищ,
чего вы дрожите?
В чем,
собственно,
дело?!
В аквариум,
что ли,
сажать вас?
Революция требует,
чтобы имелась

смелость,
смелость
и еще раз —
с-м-е-л-о-с-т-ь.

1923

ПОМПАДУР

Член ЦИКа тов. Рухула Алы Оглы Ахундов ударил по лицу пассажира в вагоне-ресторане поезда Москва — Харьков за то, что пассажир отказался закрыть занавеску у окна. При составлении дознания тов. Ахундов выложил свой цнковский билет.

«Правда», № 111/3943.

Мне неведомо,
в кого я попаду,
знаю только —
попаду в кого-то...
Выдающийся
советский помпадур
выезжает
отдыхать
на во́ды.

Как шар,
положенный
в намеченную лузу,
он
лысой головой
для поворотов —
туг
и носит
синюю
положенную блузу,
как министерский
раззолоченный сюртук.
Победу
масс,
позволивших
ему

надеть
незыблемых
мандатов латы,
немедля
приписал он
своему уму,
почел
пожизненной
наградой за таланты.
Со всякой массою
такой
порвал давно.
Хоть политический,
но капиталец —
нажит.
И кажется ему,
что навсегда
дано
ему
над всеми
«володеть и княжить».
Внизу
какие-то
проходят, семеня,—
его
не развлечешь
противною картиной.
Как будто говорит:
«Не трогайте
меня
касанием плотвы
густой,
но беспартийной».
С его мандатами
какой,
скажите,
риск?
С его знакомствами
ему
считаться не с кем.
Соседу по столу,
напившись в дым и дрызг,

орет он:
«Гражданин,
задернуть занавеску!»
Взбодрен заручками
из ЦИКа и из СТО,
помешкавшего
награждает оплеухой,
и собеседник
сверзился под стол,
придерживая
окровавленное ухо.
Расселся,
хоть на лбу
теши дубовый кол,—
чего, мол,
буду объясняться зря я?!
Величественно
положил
мандат на протокол:
«Прочесть
и расходиться, козыряя!»
Но что случилось?
Не берут под козырек?
Сановник
под значком
топырит
грудью
платье.
Не пыжьтесь, помпадур!
Другой зарок
дала
великая
негнущаяся партия.
Метлою лозунгов
звенит железо фраз,
метлою бурь
по дуракам подуло.
— Товарищи,
подымем ярость масс
за партию,
за коммунизм,
на помпадуров!—

Неизвестно мне,
в кого я попаду,
но уверен —
попаду в кого-то...
Выдающийся
советский помпадур
ехал
отдыхать на во́ды.

1928

**СТИХ
НЕ ПРО ДРЯНЬ,
А ПРО ДРЯНЦО.
ДРЯНЦО
ХЛЕЩИТЕ
РИФМ КОНЦОМ**

Всем известно,
что мною
дрянь
воспета
молодостью ранней.

Но дрянь не переводится.
Новый грянь
стих
о новой дряни.

Лезет
бытище
в щели во все.
Подновили житьишко,
предназначенное на слом,
человек
сегодня
приспособился и осел,
странной разновидностью —
сидящим ослом.
Теперь —
затишье.
Теперь не наро́дится
дрянь
с настоящим
характерным лицом.

Теперь
пошло
с измельчанием народца
пошлое,
маленькое,
мелкое дрянцо.
Пережил революцию,
до нэпа до́жил
и дальше
приспособится,
хитер на уловки...
Очевидно —
недаром тоже
и у булавок
бывают головки.
Где-то
пули
рвут
знамённый шелк,
и нищий
Китай
встает, негодуя,
а ему —
наплевать.
Ему хорошо:
тепло
и не дует.
Тихо, тихо
стираются грани,
отделяющие
обывателя от дряни.
Давно
канареек
выкинул вон,
нечего
на птицу тратиться.
С индустриализации
завел граммофон
да канареечные
абажуры и платьица.
Устроил
уютную
постельную нишку.

Его
некультурной
ругать ли гадиною?!
Берет
и с удовольствием
перелистывает книжку,
интереснейшую книжку —
сберегательную.
Будучи
очень
в семействе добрым,
так
рассуждает
лапчатый гусь:
«Боже
меня упаси от допра,
а от Мопра —
и сам упасусь».

Об этот
быт,
распухший и сальный,
долго
поэтам
язык оббивать ли?!
Изобретатель,
даешь
порошок универсальный,
сразу
убивающий
клопов и обывателей.

1928

ЕВПАТОРИЯ

Чуть вздыхает волна,
и, вторя ей,
ветерок
над Евпаторией.
Ветерки эти самые
рыскают,

гладят
щеку евпаторийскую.
Ляжем
пляжем
в песочке рыться мы
бронзовыми
евпаторийцами.
Скрип уключин,
всплески
и крики —
развлекаются
евпаторийки.
В дым черны,
в тюбетейках ярких
караимы-
евпаторьяки.
И, сравнясь,
загорают рьяней
москвичи —
евпаторьяне.
Всюду розы
на ножках тонких.
Радуются
евпаторёнки.
Все болезни
выжмут
горячие
грязи
евпаторячьи.
Пуд за лето
с любого толстого
соскребет
евпаторство.
Очень жаль мне
тех,
которые
не бывали
в Евпатории.

Евпатория
3 августа 1928 г.

ЗЕМЛЯ НАША ОБИЛЬНА

Я езжу
по южному
берегу Крыма,—
не Крым,
а копия
древнего рая!
Какая фауна,
флора
и климат!
Пою,
восторгаясь
и озирая.
Огромное
синее
Черное море.
Часы
и дни
берегами едем,
слезай,
освежайся,
ездой умóрен.

Простите, товарищ,
купаться негде.
Окурки
с бутылками
градом упали —
здесь
даже
корове
лежать не годится,
а сядешь в кабинку —
тебе
из купален
вопьется
заноза-змея
в ягодицу.
Огромны
сады
в раю симферопольском,—
пудами
плодов
обвисают к лету.

Иду
по ларькам
Евпатории
обыском,—
хоть четверть персика!—
Персиков нету.
Побегал,
хоть версты
меряй на счетчике!

А персик
мой
на базаре и вó поле,
слезой
обливая
пушистые щечки,
за час езды
гниет в Симферополе.
Громада
дворцóв
отдыхающим нравится.
Прилег
и вскочил от кусачей тоски ты,
и крик
содрогает
спокойствие здравницы:
— Спасите,
на помощь,
съели москиты!—

Но вас
успокоят
разумностью критики,
тревожа
свечой
паутину и пыль:
«Какие же ж
это,
товарищ,
москитики,
они же ж,
товарищ,
просто клопы!»

В душе
    сомнений
        переполох.
Контрасты —
        черт задери их!
Страна абрикосов,
        дюшесов
            и блох,
здоровья
    и
        дизентерии.
Республику
    нашу
        не спрятать под ноготь,
шестая
    мира
        покроется ею.
О,
    до чего же
        всего у нас много,
и до чего же ж
        мало умеют!

1928

ПЛЮШКИН.

Послеоктябрьский скопидом обстраивает стол и дом

Обыватель —
        многосортен.
На любые
    вкусы
        есть.
Даже
    можно выдать орден —
всех
    сумевшим
        перечесть.
Многолики эти люди.
Вот один:
        годах и в стах
этот дядя
        не забудет,

как
тогда
стоял в хвостах.
Если
Союзу
день затруднел —
близкий
видится
бой ему.
О боевом
наступающем дне
этот мыслит по-своему:
«Что-то
рыпаются в Польше...
надобно,
покамест есть,
все достать,
всего побольше
накупить
и приобресть.
На товары
голод тяжкий
мне
готовят
битв года.
Посудите,
где ж подтяжки
мне
себе
купить тогда?
Чай вприкуску?
Я не сваха.
С блюдца пить —
привычка свах.
Что ж,
тогда мне
чай и сахар
нарисует,
что ли,
АХРР?»
Оглядев
товаров россыпь,

в жадности
и в алчи
укупил
двенадцать гроссов
дирижерских палочек.
«Нынче
все
сбесились с жиру.
Глядь —
война чрез пару лет.
Вдруг прикажут —
дирижируй! —
хвать,
а палочек и нет!
И ищи
и там и здесь.
Ничего хорошего!
Я
куплю,
покамест есть,
много
и дешево».
Что же вам
в концертном гвалте?
Вы ж
не Никиш,
а бухгалтер.
«Ничего,
на всякий случай,
все же
с палочками лучше».

Взлетала
о двух революциях весть.
Бурлили бури.
Плюхали пушки.
А ты,
как был,
такой и есть
ручною
вшой
копошащийся Плюшкин.

1928

ХАЛТУРЩИК

«Пролетарий
туп жестоко —
дуб
дремучий
в блузной сини!
Он в искусстве
смыслит столько ж,
сколько
свиньи в апельсине.
Мужики —
большие дети.
Крестиянин
туп, как сука.
С ним
до совершеннолетия
можно
только что
сюсюкать».
В этом духе
порешив,
шевелюры
взбивши кущи,
нагоняет
барыши
всесоюзный
маг-халтурщик.
Рыбьим фальцетом
бездарно оря,
он
из опер покрикивает,
он
переделывает
«Жизнь за царя»
в «Жизнь
за товарища Рыкова».
Он
берет
былую оду,
славящую
царский шелк,

«оду»
перешьет в «свободу»
и продаст,
как рев-стишок.
Жанр
намажет
кистью тучной,
но, узря,
что спроса нету,
жанр изрежет
и поштучно
разбазарит
по портрету.
Вылепит
Лассаля
ихняя порода;
если же
никто
не купит ужас глиняный —
прискульптурив
бороду на подбородок,
из Лассаля
сделает Калинина.
Близок
юбилейный риф,
на заказы
вновь добры,
помешают волоса ли?
Год в Калининых побыв,
бодро
бороду побрив,
снова
бюст
пошел в Лассали.
Вновь
Лассаль
стоит в продаже,
омоложенный проворно,
вызывая
зависть
даже
у профессора Воронова.

По наркомам
с кистью лазя,
день-деньской
заказов ждя,
укрепил
проныра
связи
в канцеляриях вождя.
Сила знакомства!
Сила родни!
Сила
привычек и давности!
Только попробуй
да сковырни
этот
нарост бездарностей!
По всем известной вероятности —
не оберешься
неприятностей.

Рабочий,
крестьянин,
швабру возьми,
метущую чисто
и густо,
и, месяц
метя
часов по восьми,
смети
халтуру
с искусства.

1928

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

Нет,
не те «молодежь»,
кто, забившись
в лужайку да в лодку,
начинает
под визг и галдеж
прополаскивать
водкой
глотку.

Нет,
не те «молодежь»,
кто весной
ночами хорошими,
раскривлявшись
модой одеж,
подметают
бульвары
клешами.
Нет,
не те «молодежь»,
кто восхода
жизни зарево,
услыхав в крови
зудеж,
на романы
разбазаривает.
Разве
это молодость?
Нет!
Мало
быть
восемнадцати лет.
Молодые —
это те,
кто бойцовым
рядам поределым
скажет
именем
всех детей:
«Мы
земную жизнь переделаем!»
Молодежь —
это имя —
дар
тем,
кто влит в боевой КИМ,
тем,
кто бьется,
чтоб дни труда
были радостны
и легки!
1928

ГАЛОПЩИК ПО ПИСАТЕЛЯМ

Тальников
в «Красной нови»
про меня
пишет
задорно и храбро,
что лиру
я
на агит променял,
перо
променял на швабру.
Что я
по Европам
болтался зря,
в стихах
ни вздохи, ни ахи,
а только
грублю,
случайно узря
Шаляпина
или монахинь.
Растет добродушие
с ростом бород.
Чего
обижать
маленького?!
Хочу не ругаться,
а, наоборот,
понять
и простить Тальникова.
Вы молоды, верно,
сужу по мазкам,
такой
резвун-шалунишка.
Уроки
сдаете
приятным баском
и любите
с бонной,
на радость мозгам,
гулять
в коротких штанишках.

Чему вас учат,
милый барчук,—
я
вас
расспросить хочу.
Успела ли
бонна
вам рассказать
(про это —
и песни поются) —
вы знаете,
10 лет назад
у нас
была
революция.
Лиры
крыл
пулемет-обормот,
и, взяв
лирические манатки,
сбежал Северянин,
сбежал Бальмонт
и прочие
фабриканты патоки.
В Европе
у них
ни агиток, ни швабр —
чиста
ажурная строчка без шва.
Одни —
хореи да ямбы,
туда бы,
к ним бы,
да вам бы.
Оставшихся
жала
белая рать
и с севера
и с юга.
Нам
требовалось переорать

и вьюги,
и пушки,
и ругань!
Их стих,
как девица,
читай на диване,
как сахар
за чаем с блюдца,—
а мы
писали
против плеваний,
ведь, сволочи —
все плюются.
Отбившись,
мы ездим
по странам по всем,
которые
в картах наляпаны,
туда,
где пасутся
долла́рным посевом
любимые вами —
Шаляпины.
Не для романсов,
не для баллад
бросаем
свои якоря мы —
лощеным ушам
наш стих грубоват
и рифмы
будут корявыми.
Не лезем
мы
по музеям,
на колизеи глазея.
Мой лозунг —
одну разглазей-ка
к революции лазейку...
Теперь
для меня
равнодушная честь,
что чу́дные
рифмы рожу я.

Мне
как бы
только
почище уесть,
уесть покрупнее буржуя.
Поэту,
по-моему,
слабый плюс
торчать
у веков на выкате.
Прощайте, Тальников,
я тороплюсь,
а вы
без меня чирикайте.
С поэта
и на поэта
в галоп
скачите,
сшибайтесь лоб о лоб.
Но
скидывайте галоши,
скача
по стихам, как лошадь.
А так скакать —
неопрятно:
от вас
по журналам...
пятна.

1928

ИДИЛЛИЯ

Революция окончилась.
Житье чини́.
Ручейковою
журчи водицей.
И пошел
советский мещанин
успокаиваться
и обзаводиться.
Белые
обои
ка́ри —

в крапе мух
и в пленке пыли,
а на копоти
и гари
Гаррей
Пилей
прикрепили.
Спелой
дыней
лампа свисла,
светом
ласковым
упав.
Пахнет липким,
пахнет кислым
от пеленок
и супов.
Тесно править
варку,
стирку,
третее
дитё родив.
Вот
ужо
сулил квартирку
в центре
кооператив.
С папой
«Ниву»
смотрят детки,
в «Красной ниве» —
нету терний.
«Это, дети,—
Клара Цеткин,
тетя эта
в Коминтерне».
Впились глазки,
снимки выев,
смотрят —
с час
журналом вея.

Спрашивает
папу
Фия:
«Клара Цеткин —
это фея?»
Братец Павлик
фыркнул:
«Фи, как
немарксична эта Фийка!
Политрук
сказал же ей —
аннулировали фей».
Самовар
кипит со свистом,
граммофон
визжит романс,
два
знакомых коммуниста
подошли
на преферанс.
«Пизырь коки...
черви...
масти...»
Ритуал
свершен сполна...
Смотрят
с полочки
на счастье
три
фарфоровых слона.
Обеспечен
сном
и кормом,
вьет
очаг
семейный дым...
И доволен
сам
домкомом,
и домком
доволен им.

Революция не кончилась.
Домашнее
мычанье
покрывает
приближающейся битвы гул...
В трубы
в самоварные
господа мещане
встречу
выдувают
прущему врагу.

1928

СТОЛП

Товарищ Попов
чуть-чуть не от плуга.
Чуть
не от станка
и сохи.
Он —
даже партиец,
но он
перепуган,
брюзжит
баритоном сухим:
«Раскроешь газетину —
в критике вся,—
любая
колеблется
глыба.
Кроют.
Кого?
Аж волосья́
встают
от фамилий
дыбом.
Ведь это —
подрыв,
подкоп ведь это...
Критику
осторожненько
до́лжно вести.

А эти
критикуют,
не щадя авторитета,
ни чина,
ни стажа,
ни должности.
Критика
снизу —
это яд.
Сверху —
вот это лекарство!
Ну, можно ль
позволить
низам,
подряд,
всем! —
заниматься критиканством?!
О мерзостях
наших
трубим и поем.
Иди
и в газетах срамись я!
Ну, я ошибся...
Так в тресте ж,
в моем,
имеется
ревизионная комиссия.
Ведь можно ж,
не задевая столпов,
в кругу
своих,
братишек, —
вызвать,
сказать:
— Товарищ Попов,
орудуй...
тово...
потише... —
Пристали
до тошноты,
до рвот...
Обмазывают
кистью густою.

Товарищи,
ведь это же ж
подорвет
государственные устои!
Кого критикуют? —
вопит, возомня,
аж голос
визжит
тенорком.—
Вчера —
Иванова,
сегодня —
меня,
а завтра —
Совнарком!»

Товарищ Попов,
оставьте скулеж.
Болтовня о подрывах —
ложь!
Мы всех зовем,
чтоб в лоб,
а не пятясь,
критика
дрянь
косила.
И это
лучшее из доказательств
нашей
чистоты и силы.

1928

ПОДЛИЗА

Этот сорт народа —
тих
и бесформен,
словно студень,—
очень многие
из них

в наши
дни
выходят в люди.
Худ умом
и телом чахл
Петр Иванович Болдашкин.
В возмутительных прыщах
зря
краснеет
на плечах
не башка —
а набалдашник.
Этот
фрукт
теперь согрет
солнцем
нежного начальства.
Где причина?
В чем секрет?
Я
задумываюсь часто.
Жизнь
его
идет на лад;
на него
не брошу тень я.
Клад его —
его талант:
нежный
способ
обхожденья.
Лижет ногу,
лижет руку,
лижет в пояс,
лижет ниже,—
как кутенок
лижет
суку,
как котенок
кошку лижет.
А язык?!
На метров тридцать

догонять
начальство
вылез —
мыльный весь,
аж может
бриться,
даже
кисточкой не мылясь.
Все похвалит,
впавши
в раж,
что
фантазия позволит —
ваш катар,
и чин,
и стаж,
вашу доблесть
и мозоли.
И ему
пошли
чины,
на него
в быту
равненье.
Где-то
будто
вручены
чуть ли не —
бразды правленья.
Раз
уже
в руках вожжа,
всех
сведя
к подлизным взглядам,
расслюнявит:
«Уважать,
уважать
начальство
надо...»
Мы
глядим,
уныло ахая,

как растет
от ихней братии
архи-разиерархия
в издевательстве
иад демократией.
Вея шваброй
верхом,
низом,
сместь бы
всех,
кто поддались,
всех,
радеющих подлизам,
всех
радетельских
подлиз.

1928

СПЛЕТНИК

Петр Иванович Сорокин
в страсти —
холоден, как лед.
Все
ему
чужды пороки:
и не курит
и ие пьет.
Лишь одиа
любовь
рекой
залилá
и в бездиу клоиит —
любит
этакой серьгой
повисеть иа телефоие.
Фарширован
сплетеи
кормом,
ои
вприпрыжку,
как коза,

к первым
вспомненным
знакомым
мчится
новость рассказать.
Задыхаясь
и сипя,
добредя
до ваших
далей,
он
прибавит от себя
пуд
пикантнейших деталей.
«Ну...—
начнет,
пожавши руки,—
обхохочете живот,
Александр
Петрович
Брюкин —
с секретаршею живет.
А Иван Иваныч Тестов —
первый
в тресте
инженер —
из годичного отъезда
возвращается к жене.
А у той,
простите,
скоро —
прибавленье!
Быть возне!
Кстати,
вот что —
целый город
говорит,
что раз
во сне...»
Скрыл
губу
ладоней ком,

стал
от страха остролицым.
«Новость:
предъявил...
губком...
ультиматум
австралийцам».
Прослюиявив иовость
вкупе
с иовостишкой
страиной
с этой,
быстро
всем
доложит —
в супе
что
варилось у соседа,
кто
н что
отправил в рот,
иет ли,
есть ли
хахаль новый,
и из чьих
таких
щедрот
новый
сак
у Ивановой.
Когда
у такого
спросим мы
желание
самое важное —
он скажет:
«Желаю,
чтоб был
мир
огромной
замочной скважиной.

Чтоб, в скважину
в эту
влезши на треть,
слюну
подбирая еле,
смотреть
без конца,
без края смотреть —
в чужие
дела и постели».

1928

ХАНЖА

Петр Иванович Васюткин
бога
беспокоит много —
тыщу раз,
должно быть,
в сутки
упомянет
имя бога.
У святоши —
хитрый нрав,—
черт
в делах
сломает ногу.
Пару
коробов
наврав,
перекрестится:
«Ей-богу».
Цапнет
взятку —
лапа в сале.
Вас считая за осла,
на вопрос:
«Откуда взяли?» —
отвечает:
«Бог послал».

Он
заткнул
от нищих уши,—
сколько ни проси, горласт,
как от мухи
отмахнувшись,
важно скажет:
«Бог подаст».
Вам
всуча
дрянцо с пыльцой,
обворовывая трест,
крестит
пузо
и лицо,
чист, как голубь:
«Вот те крест».
Грабят,
режут —
очень мило!
Имя
божеское
помнящ,
он
пройдет,
сказав громилам:
«Мир вам, братья,
бог на помощь!»
Вор
крадет
с ворами вкупе.
Поглядев
и скрывшись вбок,
прошептал,
глаза потупив:
«Я не вижу...
Видит бог».
Обворовывая
массу,
разжиревши понемногу,
подытожил
сладким басом:

«День прожил —
и слава богу».
Возвратясь
домой
с питей —
пил
с попом пунцоворожим,—
он
сечет
своих детей,
чтоб держать их
в страхе божьем.
Жене
измочалит
волосья и тело
и, женин
гнев
остудя,
бубнит елейно:
«Семейное дело. .
Бог
нам
судья».
На душе
и мир
и ясь.
Помянувши
бога
на ночь,
скромно
ляжет,
помолясь,
христианин
Петр Иваныч.
Ублажаясь
куличом да пасхой,
божьим словом
нагоняя жир,
все еще
живут,
как у Христа за пазухой,
всероссийские
ханжи.

1928

СТИХИ О РАЗНИЦЕ ВКУСОВ

Лошадь
сказала,
взглянув на верблюда:
«Какая
гигантская
лошадь-ублюдок».
Верблюд же
вскричал:
«Да лошадь разве ты?!
Ты
просто-напросто —
верблюд недоразвитый».
И знал лишь
бог седобородый,
что это —
животные
разной породы.

1928

ПИСЬМО ТОВАРИЩУ КОСТРОВУ ИЗ ПАРИЖА О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ

Простите
меня,
товарищ Костров,
с присущей
душевной ширью,
что часть
на Париж отпущенных строф
на лирику
я
растранжирю.
Представьте:
входит
красавица в зал,
в меха
и бусы оправленная.

Я
эту красавицу взял
и сказал:
— правильно сказал
или неправильно? —
Я, товарищ, —
из России,
знаменит в своей стране я,
я видал
девиц красивей,
я видал
девиц стройнее.
Девушкам
поэты любы.
Я ж умен
и голосист,
заговариваю зубы —
только
слушать согласись.
Не поймать
меня
на дряни,
на прохожей
паре чувств.
Я ж
навек
любовью ранен —
еле-еле волочусь.
Мне
любовь
не свадьбой мерить:
разлюбила —
уплыла.
Мне, товарищ,
в высшей мере
наплевать
на купола.
Что ж в подробности вдаваться,
шутки бросьте-ка,
мне ж, красавица,
не двадцать, —
тридцать...
с хвостиком.

Любовь
не в том,
чтоб кипеть крутей,
не в том,
что жгут у́гольями,
а в том,
что встает за горами грудей
над
волосами-джунглями.
Любить —
это значит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачьей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.
Любить —
это с простынь,
бессонницей
рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Иванны,
считая
своим
соперником.
Нам
любовь
не рай да кущи,
нам
любовь
гудит про то,
что опять
в работу пущен
сердца
выстывший мотор.
Вы
к Москве
порвали нить.

Годы —
расстояние.
Как бы
вам бы
объяснить
это состояние?
На земле
огней — до неба...
В синем небе
звезд —
до черта.
Если бы я
поэтом не́ был,
я б
стал бы
звездочетом.
Подымает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу,
стишки пишу
в записную книжицу.
Мчат
авто
по улице,
а не свалят на́земь.
Понимают
умницы:
человек —
в экстазе.
Сонм видений
и идей
полон
до крышки.
Тут бы
и у медведей
выросли бы крылышки.
И вот
с какой-то
грошовой столовой,
когда
докипело это,

из зева
до звезд
взвивается слово
золоторожденной кометой.
Распластан
хвост
небесам на треть,
блестит
и горит оперенье его,
чтоб двум влюбленным
на звезды смотреть
из ихней
беседки сиреневой.
Чтоб подымать,
и вести,
и влечь,
которые глазом ослабли.
Чтоб вражьи
головы
спиливать с плеч
хвостатой
сияющей саблей.
Себя
до последнего стука в груди,
как на свиданье,
простаивая,
прислушиваюсь:
любовь загудит —
человеческая,
простая.
Ураган,
огонь,
вода
подступают в ропоте.
Кто
сумеет совладать?
Можете?
Попробуйте...

1928

ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ

В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.
Я не люблю
парижскую любовь:
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав —
тубо —
собакам
озверевшей страсти.
Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови,
дай
про этот
важный вечер
рассказать
по-человечьи.
Пять часов,
и с этих пор
стих
людей
дремучий бор,
вымер
город заселенный,
слышу лишь
свисточный спор
поездов до Барселоны.
В черном небе
молний поступь,

гром
ругней
в небесной драме,—
не гроза,
а это
просто
ревность двигает горами.
Глупых слов
не верь сырью,
не пугайся
этой тряски,—
я взнуздаю,
я смирю
чувства
отпрысков дворянских.
Страсти корь
сойдет коростой,
но радость
неиссыхаемая,
буду долго,
буду просто
разговаривать стихами я.
Ревность,
жены,
слезы...
ну их!—
вспухнут веки,
впору Вию.
Я не сам,
а я
ревную
за Советскую Россию.
Видел
на плечах заплаты,
их
чахотка
лижет вздохом.
Что же,
мы не виноваты —
ста мильонам
было плохо.

Мы
теперь
к таким нежны —
спортом
выпрямишь не многих,—
вы и нам
в Москве нужны,
не хватает
длинноногих.

Не тебе,
в снега
и в тиф
шедшей
этими ногами,
здесь
на ласки
выдать их
в ужины
с нефтяниками.

Ты не думай,
щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
иди на перекресток
моих больших
и неуклюжих рук.

Не хочешь?
Оставайся и зимуй,
и это
оскорбление
на общий счет нанижем.

Я все равно
тебя
когда-нибудь возьму —
одну
или вдвоем с Парижем.

1928

ОТВЕТ НА БУДУЩИЕ СПЛЕТНИ

Москва
меня
обступает, сипя,
до шепота
голос понижен:
«Скажите,
правда ль,
что вы
для себя
авто
купили в Париже?
Товарищ,
смотрите,
чтоб не было бед,
чтоб пресса
на вас не нацыкала.
Купили бы дрожки...
велосипед...
Ну
не более же ж мотоцикла!»
С меня
эти сплетни,
как с гуся вода;
надел
хладнокровия панцирь.
— Купил — говорите?
Конечно,
да.
Купил,
и бросьте трепаться.
Довольно я шлепал,
дохл
да тих,
на разных
кобылах-выдрах.
Теперь
забензинено
шесть лошадих
в моих
четырех цилиндрах.

Разят
желтизною
из медных глазниц
глаза —
не глаза,
а жуть!
И целая
улица
падает ниц,
когда
кобылицы ржут.
Я рифм
накосил
чуть-чуть не стог,
аж впору
бухгалтеру сбиться.
Две тыщи шестьсот
бессоннейших строк
в руле,
в рессорах
и в спицах.
И мчишься,
и пишешь,
и лучше, чем в кресле.
Напрасно
завистники злятся.
Но если
объявят опасность
и если
бой
и мобилизация —
я, взяв под уздцы,
кобылиц подам
товарищу комиссару,
чтоб мчаться
навстречу
жданным годам
в последнюю
грозную свару.
Не избежать мне
сплетни дрянной.

Ну что ж,
простите, пожалуйста,
что я
из Парижа
привез «реио»,
а ие духи
и ие галстук.

1928

МРАЗЬ

Подступает
голод к глаидам...
Только,
будто бы на пире,
ходит
взяточииков баида,
кошельки порастопыря.
Родиые
сиуют:
— Ублажь да уважь-ка!—
Снуют
и суют
в бумажке барашка.
Белей, чем саван,
из портфеля коичики...
Частиики
завам
суют червоичики.
Частиик добрый,
частиик рад
бросить
в допры
наш аппарат.
Допру иить ие выдавая,
там,
где быт
и где грызия,
ходит
взятка бытовая,—
сердце,
душу изгрязня.

Безработный
ждет работку.
Волокита
с бирж рычит:
«Ставь закуску, выставь водку,
им
всучи
магарычи!»
Для копеек
пропотелых,
с голодухи
бросив
срам,—
девушки
рабочье тело
взяткой
тычут мастерам.

Чтобы выбиться нам
сквозь продажную смрадь
из грязного быта
и вшивого —
давайте
не взятки брать,
а взяточника
брать за шиворот!

1928

ПЕРЕКОПСКИЙ ЭНТУЗИАЗМ!

Часто
сейчас
по улицам слышишь
разговорчики
в этом роде:
«Товарищи, легше,
товарищи, тише.
Это
вам
не 18-й годик!»

В нору
влезла
гражданка Кротиха,
в нору
влез
гражданин Крот.
Радуются:
«Живем ничего себе,
тихо.
Это
вам
не 18-й год!»
Дама
в шляпе рубликов на́ сто
кидает
кому-то,
запахивая котик:
«Не толкаться!
Но-но!
Без хамства!
Это
вам
не 18-й годик!»
Малого
мелочь
работой скосила.
В унынье
у малого
опущен рот...
«Куда, мол,
девать
молодецкие силы?
Это
нам
не 18-й год!»

Эти
потоки
слюнявого яда
часто
сейчас
по улице льются...

Знайте, граждане!
И в 29-м
длится
и ширится
Октябрьская революция.
Мы живем
приказом
октябрьской воли.
Огонь
«Авроры»
у нас во взоре.
И мы
обывателям
не позволим
баррикадные дни
чернить и позорить.
Года
не вымерить
по единой мерке.
Сегодня
равноценны
храбрость и разум.
Борись
и в мелочах
с баррикадной энергией,
в стройку
влей
перекопский энтузиазм.

1929

РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.

Рот открыт
в напряженной речи,
усов
щетинка
вздернулась ввысь,
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.
Должно быть,
под ним
проходят тысячи...
Лес флагов...
рук трава...
Я встал со стула,
радостью высвечен,
хочется —
идти,
приветствовать,
рапортовать!
«Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Ленин,
работа адовая
будет
сделана
и делается уже.
Освещаем,
одеваем нищь и о́голь,
ширится
добыча
угля и руды...
А рядом с этим,
конешно,
много,
много
разной
дряни и ерунды.
Устаешь
отбиваться и отгрызаться.

Многие
без вас
отбились от рук.
Очень
много
разных мерзавцев
ходят
по нашей земле
и вокруг.
Нету
им
ни числа,
ни клички,
целая
лента типов
тянется.
Кулаки
и волокитчики,
подхалимы,
сектанты
и пьяницы,—
ходят,
гордо
выпятив груди,
в ручках сплошь
и в значках нагрудных...
Мы их
всех,
конечно, скрутим,
но всех
скрутить
ужасно трудно.
Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным,
по землям,
покрытым
и снегом
и жнивьём,
вашим,
товарищ,
сердцем
и именем

думаем,
дышим,
боремся
и живем!..»
Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.

1929

МРАЧНОЕ О ЮМОРИСТАХ

Где вы,
бодрые задиры?
Крыть бы розгой!
Взять в слезу бы!
До чего же
наш сатирик
измельчал
и обеззубел!
Для подхода
для такого
мало,
што ли,
жизнь дрянна?
Для такого
Салтыкова —
Салтыкова-Щедрина?
Заголовком
жирно-алым
мозжечок
прикрывши
тощий,
ходят
тихо
по журналам
дореформенные тещи.

Саранчой
улыбки выев,
ходят
нэпманам на страх
анекдоты гробовые —
гроб
о фининспекторах.
Или,
злобой измусоля
сотню
строк
в бумажный крах,
пишут
про свои мозоли
от зажатья в цензорах.
Дескать,
в самом лучшем стиле,
будто
розы на заре,
лепестки
пораспустили б
мы
без этих цензорей.
А поди
сними рогатки —
этаких
писцов стада
пару
анекдотов гадких
ткнут —
и снова пустота.
Цензоров
обвыли воем.
Я ж
другою
мыслью ранен:
жалко бедных,
каково им
от прочтенья
столькой дряни?
Обличитель,
меньше крему,

очень
темы
хороши.
О хорошенькую тему
зуб
не жалко искрошить.
Дураков
больших
обдумав,
взяли б
в лапы
лупы вы.
Мало, што ли,
помпадуров?
Мало —
градов Глуповых?
Припаси
на зубе
яд,
в километр
жало вызмей
против всех,
кто зря
сидят
на труде,
на коммунизме!
Чтоб не скрылись,
хвост упрятав,
крупных
вылови налимов —
кулаков
и бюрократов,
дураков
и подхалимов.

Измельчал
и обеззубел,
обэстетился сатирик.
Крыть бы в розги,
взять в слезу бы!
Где вы,
бодрые задиры?

1929

УРОЖАЙНЫЙ МАРШ

Добьемся урожая мы —
втройне,
земля,
рожай!
Пожалте,
уважаемый
товарищ урожай!
Чтоб даром не потели мы
по одному,
по два —
колхозами,
артелями
объединись, братва.
Земля у нас хорошая,
землица неплоха,
да надобно
под рожь ее
заранее вспахать.
Чем жить, зубами щелкая
в голодные года,
с проклятою
с трехполкою
покончим навсегда.
Вредителю мы
начисто
готовим карачун.
Сметем с полей
кулачество,
сорняк
и саранчу.
Разроем складов завали.
От всех
ответа ждем,—
чтоб тракторы
не ржа́вели
впустую под дождем.
Поля
пройдут науку
под ветром-игруном...
Даешь
на дружбу руку,
товарищ агроном!

Земля
не хочет более
терпеть
плохой уход,—
готовься,
комсомолия,
в передовой поход.
Кончай
с деревней серенькой,
вставай,
который сер!
Вперегонки
с Америкой
иди, СССР!
Добьемся урожая мы —
втройне,
земля,
рожай!
Пожалте,
уважаемый
товарищ урожай!

1929

ДУША ОБЩЕСТВА

Из года в год
легенда тянется —
легенда
тянется
из века в век:
что человек, мол,
который пьяница,—
разувлекательнейший человек.
Сквозь призму водки,
мол,
все — красотки...
Любая
гадина —
распривлекательна.
У машины
общества
поразвинтились гайки —

люди
лижут
довоенного лютей.
Скольким
заменили
водочные спайки
все
другие
способы
общения людей?!
Если
муж
жену
истаскивает за́ волосы —
понимай, мол,
я
в семействе барин! —
это значит,
водки нализался
этот
милый,
увлекательнейший парень.
Если
парень
в сногсшибательнейшем раже
доставляет
скорой помощи
калек —
ясно мне,
что пивом взбудоражен
этот
милый,
увлекательнейший человек.
Если
парень,
запустивши лапу в кассу,
удостаивает
сам себя
и премий и наград —
значит,
был привержен
не к воде и квасу

этот
милый,
увлекательнейший казнокрад.
И преступления
всех систем,
и хрип хулигана,
и пятна быта
сегодня
измеришь
только тем —
сколько
пива
и водки напито.
Про пьяниц
много
пропето разного,—
из пьяных пений
запомни только:
беги от ада
от заразного,
тащи
из яда
алкоголика.

1929

КАНДИДАТ ИЗ ПАРТИИ

Сколько их?
Числа им нету.
Пяля блузы,
пяля френчи,
завели по кабинету
и несут
повинность эту
сквозь заученные речи.
Весь
в партийных причиндалах,
ноздри вздернул —
крыши выше...
Есть бумажки —
прочитал их,
нет бумажек —
сам напишет.

Все
    у этаких
        в порядке,
не язык,
    а маслобой...
Служит
    и играет в прятки
с партией,
    с самим собой.
С классом связь?
    Какой уж класс там!
Классу он —
    одна помеха.
Стал
    стотысячным балластом.
Ни пройти с ним,
    ни проехать.
Вышел
    из бойцов
        с годами
в лакированные душки...
День пройдет —
    знакомой даме
хвост
    накрутит по вертушке.

Освободиться бы
    от ихней братии,
удобней будет
    и им
        и партии.

1929

ВОНЗАЙ САМОКРИТИКУ!

Наш труд
    сверкает на «Гиганте»,
сухую степь
    хлебами радуя.
Наш труд
    блестит.
        Куда ни гляньте,

встает
фабричною оградою.
Но от пятна
и солнца блеск
не смог
застраховаться,—
то ляпнет
нам
пятно
Смоленск,
то ляпнут
астраханцы.
Болезнь такая
глубока,
не жди,
газеты пока
статейным
гноем вытекут,—
ножом хирурга
в бока
вонзай самокритику!
Не на год,
не для видика
такая
критика.
Не нам
критиковать крича
для спорта
горластого,
нет,
наша критика —
рычаг
и жизни
и хозяйства.
Страна Советов,
чисть себя —
нутро и тело,
чтоб, чистотой
своей
блестя,
республика глядела.

Чтоб не шатать
левей,
правей
домииу коммунизма,
шатающихся
проверь
своим
рабочим низом.
Где дурь,
где белых западия,
где зава
окружит родия —
вытравливай
от дия до дня
то лаской,
то плетью,
чтоб быстро бы
страну
подиять,
идя
по пятилетью.
Нам
критика
из года в год
иужиа,
запомните,
как человеку —
кислород,
как чистый воздух —
комиате.
1929

НА ЗАПАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО

Как совесть голубя,
чист асфальт.
Как лысина банкира,
тротуара плиты
(после того,
как трупы
на грузовозы взвалят
и кровь отмоют
от плит политых).

В бульварах
буржуеныши,
под нянин сказ,
медведям
игрушечным
гладят плюшики
(после того,
как баллоны
заполнил газ
и в полночь
прогрохали
к Польше
пушки).
Миротворцы
сияют
цилиндровым глянцем,
мозолят язык,
состязаясь с мечом
(после того,
как посланы
винтовки афганцам,
а бомбы —
басмачам).
Сидят
по кафе
гусары спешенные.
Пехота
развлекается
в штатской лени.
А под этой
идиллией —
взлихорадочно-бешеные
военные
приготовления.
Кровавых капель
пунктирный путь
ползет по земле,—
недаром кругла!
Кто-нибудь
кого-нибудь
подстреливает
из-за угла.

Целят —
в сердце.
В самую точку.
Одно
стрельбы командирам
надо —
бунтовщиков
смирив в одиночку,
погнать
на бойню
баранье стадо.
Сегодня
кровишка
мелких стычек,
а завтра
в толпы
танки тыча,
кровищи
вкус
война поймет,—
пойдет
хлестать
с бронированных птичек
железа
и газа
кровавый помет.
Смотри,
выступает
из близких лет,
костьми постукивает
лошадь-краса.
На ней
войны
пожелтелый скелет,
и сталью
синеет
смерти коса.
Мы,
излюбленное
пушечное лакомство,
мы,
оптовые потребители
костылей
и протез,

мы
выйдем на улицу,
мы
1 августа
аж к небу
гвоздями
прибьем протест.
Долой
политику
пороховых бочек!
Довольно
до́ма
пугливо щуплиться!
От первой республики
крестьян и рабочих
отбросим
войны
штыкастые щупальцы.
Мы
требуем мира.
Но если
тронете,
мы
в роты сожмемся,
сжавши рот.
Зачинщики бойни
увидят
на фронте
один
восставший
рабочий фронт.

1929

ПАРИЖАНКА

Вы себе представляете
парижских женщин
с шеей разжемчуженной,
разбриллиантенной
рукой...
Бросьте представлять себе!
Жизнь —
жестче —

у моей парижанки
вид другой.
Не знаю, право,
молода
или стара она,
до желтизны
отшлифованная
в лощеном хамье.
Служит
она
в уборной ресторана —
маленького ресторана —
Гранд-Шомьер.
Выпившим бургундского
может захотеться
для облегчения
пойти пройтись.
Дело мадмуазель
подавать полотенце,
она
в этом деле
просто артист.
Пока
у трюмо
разглядываешь прыщик,
она,
разулыбив
облупленный рот,
пудрой подпудрит,
духами попрыщет,
подаст пипифакс
и лужу подотрет.
Раба чревоугодий
торчит без солнца,
в клозетной шахте
по суткам
клопея,
за пятьдесят сантимов!
(По курсу червонца
с мужчины
около
четырех копеек.)

Под умывальником
ладони омывая,
дыша
диковиной
парфюмерных зелий,
над мадмуазелью
недоумевая,
хочу
сказать
мадмуазели:
— Мадмуазель,
ваш вид,
извините,
жалок.
На уборную молодость
губить не жалко вам?
Или
мне
наврали про парижанок,
или
вы, мадмуазель,
не парижанка.
Выглядите вы
туберкулезно
и вяло.
Чулки шерстяные...
Почему не шелка́?
Почему
не шлют вам
пармских фиалок
благородные мусью
от полного кошелька?—
Мадмуазель молчала,
грохот наваливал
на трактир,
на потолок,
на нас.
Это,
кружа
веселье карнавалово,
весь
в парижанках
гудел Монпарнас.

Простите, пожалуйста,
за стих раскрежещенный
и
за описанные
вонючие лужи,
но очень
трудно
в Париже
женщине,
если
женщина
не продается,
а служит.

1929

КРАСАВИЦЫ

(Раздумье на открытии Grand Opéra[1])

В смокинг вштопорен,
побрит что надо.
По гранд
по опере
гуляю грандом.
Смотрю
в антракте —
красавка на красавице.
Размяк характер —
все мне
нравится.
Талии —
кубки.
Ногти —
в глянце.
Крашеные губки
розой убиганятся.
Ретушь —
у глаза.
Оттеняет синь его.

[1] Большого оперного театра *(фр.)*.

Спины
из газа
цвета лососиньего.
Упадая
с высоты,
пол
метут
шлейфы.
От такой
красоты
сторонитесь, рефы.
Повернет —
в брильянтах уши.
Пошевéлится шаля —
на грудинке
ряд жемчужин
обнажают
шиншиля.
Платье —
пухом.
Не дыши.
Аж на старом
на морже
только фай
да крепдешин,
только
облако жоржет.
Брошки — блещут...
нá тебе! —
с платья
с полуголого.
Эх,
к такому платью бы
да еще бы...
голову.
1929

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы
выграз
бюрократизм.

К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...
По длинному фронту
купе
и кают
чиновник
учтивый движется.
Сдают паспорта,
и я
сдаю
мою
пурпурную книжицу.
К одним паспортам —
улыбка у рта.
К другим —
отношение плевое.
С почтеньем
берут, например,
паспорта
с двухспальным
английским левою.
Глазами
доброго дядю выев,
не переставая
кланяться,
берут,
как будто берут чаевые,
паспорт
американца.
На польский —
глядят,
как в афишу коза.
На польский —
выпяливают глаза
в тугой
полицейской слоновости —

откуда, мол,
н что это за
географические новости?
И не повернув
головы кочан
и чувств
никаких
не изведав,
берут,
не моргнув,
паспорта датчан
и разных
прочих
шведов.
И вдруг,
как будто
ожогом,
рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину.
Берет —
как бомбу,
берет —
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в 20 жал
змею
двухметроворостую.
Моргнул
многозначаще
глаз носильщика,
хоть вещи
снесет задаром вам.
Жандарм
вопросительно
смотрит на сыщика,

сыщик
на жандарма.
С каким наслажденьем
жандармской кастой
я был бы
исхлестан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...
Я
достаю
из широких штанин

дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.

1929

АМЕРИКАНЦЫ УДИВЛЯЮТСЯ

Обмерев,
с далекого берега
СССР
глазами выев,
привстав на цыпочки,
смотрит Америка,

не мигая,
в очки роговые.
Что это за люди
породы редкой
копошатся стройкой
там,
поодаль?
Пофантазировали
с какой-то пятилеткой...
А теперь
выполняют
в 4 года!
К таким
не подойдешь
с американской меркою.
Их не соблазняют
ни долларом,
ни гривною,
и они
во всю
человечью энергию
круглую
неделю
дуют в непрерывную.
Что это за люди?
Какая закалка!
Кто их
так
в работу вклинил?
Их
не гонит
никакая палка —
а они
сжимаются
в стальной дисциплине!
Мистеры,
у вас
практикуется исстари
деньгой
окупать
строительный норов.

Вы
не поймете,
пухлые мистеры,
корни
рвения
наших коммунаров.
Буржуи,
дивитесь
коммунистическому берегу —
на работе,
в аэроплане,
в вагоне
вашу
быстроногую
знаменитую Америку
мы
и догоним
и перегоним.

1929

ПРИМЕР, НЕ ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

Тем, кто поговорили и бросили

Все —
в ораторском таланте.
Пьянке —
смерть без колебания.
Это
заседает
анти-
алкогольная компания.
Кулаком
наотмашь
в грудь
бьют
себя
часами кряду.
«Чтобы я?
да как-нибудь?

да выпил бы
такого яду?!»
Пиво —
сгинь,
и водка сгинь!
Будет
сей порок
излечен.
Уменьшает
он
мозги,
увеличивая
печень.
Обсудив
и вглубь
и вдоль,
вырешили
всё
до толики:
де —
ужасен алкоголь,
и —
ужасны алкоголики.
Испершив
речами
глотки,
сделали
из прений
вывод,
что ужасный
вред
от водки
и ужасный
вред от пива...
Успокоившись на том,
выпив
чаю
10 порций,
бодро
вылезли
гуртом
яростные
водкоборцы.

Фонарей
горят
шары,
в галдеже
кабачный улей,
и для тени
от жары
водкоборцы
завернули...

Алкоголики,—
воспряньте!
Неуместна
ваша паника!
Гляньте —
пиво хлещет
анти-
алкогольная компанийка.

1929

ПТИЧКА БОЖИЯ

Он вошел,
склонясь учтиво.
Руку жму.
— Товарищ —
сядьте!
Что вам дать?
Автограф?
Чтиво?
— Нет.
Мерси вас.
Я —
писатель.
— Вы?
Писатель?
Извините.
Думал —
вы пижон.
А вы...

Что ж,
прочтите,
зазвените
грозным
маршем
боевым.
Вихрь идей
у вас,
должно быть.
Новостей
у вас
вагон.
Что ж,
пожалте в уха в оба.
Рад товарищу.—
А он:
— Я писатель.
Не прозаик.
Нет.
Я с музами в связи.—
Слог
изыскан, как борзая.
Сконапель
ля поэзи́.
На затылок
нежным жестом
он
кудрей
закинул шелк,
стал
барашком златошерстым
и заблеял,
и пошел.
Что луна, мол,
над долиной,
мчит
ручей, мол,
по ущелью.
Тинтидликал
мандолиной,
дундудел виолончелью.

Нимб
обвил
волосьев копны.
Лоб
горел от благородства.
Я терпел,
терпел
и лопнул
и ударил
лапой
о́б стол.
— Попрошу вас
покороче.
Бросьте вы
поэта корчить!
Посмотрю
с лица ли,
сзади ль,
вы тюльпан,
а не писатель.
Вы,
над облаками рея,
птица
в человечий рост.
Вы, мусье,
из канареек,
чижик вы, мусье,
и дрозд.
В испытанье
битв
и бед
с вами,
што ли,
мы
полезем?
В наше время
тот —
поэт,
тот —
писатель,
кто полезен.
Уберите этот торт!

Стих даешь —
хлебов подвозу.
В наши дни
пнсатель тот,
кто напишет
марш
и лозунг!
1929

СТИХИ О ФОМЕ

Мы строим коммуну,
и жнзнь
сама
трубит
наступающей эре.
Но между намн
ходнт
Фома,
н он
нн во что не верит.
Наставь
ему
достижений любых
на каждый
вкус
н вид,
он лишь
тебе
половину губы
на достнженья —
скривит.
Идем
на завод
отстроенный
мы —
смнрись
перед лнком
факта.
Но скептик
смотрнт
глазамн Фомы:

— Нет, что-то
не верится как-то.—
Покажешь
Фомам
вознесенный дом
и ткнешь их
и в окна,
и в двери.
Ничем
не расцветятся
лица у Фом.
Взглянут —
и вздохнут:
«Не верим!»
Послушайте,
вы,
товарищ Фома!
У вас
повадка плохая.
Не надо
очень
большого ума,
чтоб все
отвергать
и хаять.
И толк
от похвал,
разумеется, мал.
Но слушай,
Фоминая шатия!
Уж мы
обойдемся
без ваших похвал —
вы только
труду не мешайте.

1929

Я СЧАСТЛИВ!

Граждане,
у меня
огромная радость.

Разулыбьте
сочувственные лица.
Мне
обязательно
поделиться надо,
стихами
хотя бы
поделиться.
Я
сегодня
дышу как слон,
походка
моя
легка,
и ночь
пронеслась,
как чудесный сон,
без единого
кашля и плевка.
Неизмеримо
выросли
удовольствий дозы.
Дни осени —
баней воняют,
а мне
цветут,
извините,—
розы,
и я их,
представьте,
обоняю.
И мысли
и рифмы
покраснели
и особенные,
аж вытаращит
глаза
редактор.
Стал вынослив
и работоспособен,
как лошадь
или даже —
трактор.

Бюджет
и желудок
абсолютно превосходен,
укреплен
и приведен в равновесие.
Стопроцентная
экономия
на основном расходе —
и поздоровел
и прибавил в весе я.
Как будто
на язык
за кусом кус
кладут
воздушнейшие торта —
такой
установился
феерический вкус
в благоуханных
апартаментах
рта.
Голова
снаружи
всегда чиста,
а теперь
чиста и изнутри.
В день
придумывает
не меньше листа,
хоть Толстому
ноздрю утри.
Женщины
окружили,
платья испестря,
все
спрашивают
имя и отчество,
я стал
определенный
весельчак и остряк —
ну просто —
душа общества.

Я
порозовел
и пополнел в лице,
забыл
и гриппы
и кровать.
Граждане,
вас
интересует рецепт?
Открыть?
или...
не открывать?
Граждане,
вы
утомились от жданья,
готовы
корить и крыть.
Не волнуйтесь,
сообщаю:
граждане —
я
сегодня —
бросил курить.

1929

РАССКАЗ ХРЕНОВА О КУЗНЕЦКСТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА

К этому месту будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей.

Из разговора.

По небу
тучи бегают,
дождями
сумрак сжат,
под старою
телегою
рабочие лежат.

И слышит
шепот гордый
вода
и под
и над:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Темно свинцовоночие,
и дождик
толст, как жгут,
сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут.
Сливеют
губы
с холода,
но губы
шепчут в лад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Свела
промозглость
корчею —
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.
Но шепот
громче голода —

он кроет
капель
спад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!
Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный
«Гигант».
Здесь
встанут
стройки
стенами.
Гудками,
пар,
сипи.
Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
Сибирь.
Здесь дом
дадут
хороший нам
и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга».
Рос
шепоток рабочего
над темью
тучных стад,
а дальше
неразборчиво,

лишь слышно —
«город-сад».
Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду
цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

1929

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Огромные вопросищи,
огромней слоних,
страна
решает
миллионнолобая.
А сбоку
ходят
индивидумы,
а у них
мнение обо всем
особое.
Смотрите,
в ударных бригадах
Союз,
держат темп
и не ленятся,
но индивидум в ответ:
«А я
остаюсь
при моем,
особом мненьице».
Мы выполним
пятилетку,
мартены воспламеня,
не в пять годов,
а в меньше,

но индивидум
не верит:
«А у меня
имеется, мол,
особое мненьище».
В индустриализацию
льем заем,
а индивидум
сидит в томлении
и займа не покупает
и настаивает на своем
собственном,
особенном мнении.
Колхозим
хозяйства
бедняцких масс,
кулацкой
не спугнуты
злобою,
а индивидумы
шепчут:
«У нас
мнение
имеется
особое».
Субботниками
бьет
рабочий мир
по неразгруженным
картофелям и поленьям,
а индивидумы
нам
заявляют:
«Мы
посидим
с особым мнением».
Не возражаю!
Консервируйте
собственный разум,
прикосновением
ничьим
не попортив,

но тех,
кто в работу
впрягся разом,—
не оттягивайте
в сторонку
и напротив.
Трясина
старья
для нас не годна —
ее
машиной
выжжем до дна.
Не втыкайте
в работу
клинья,—
и у нас
и у массы
и мысль одна
и одна
генеральная линия.

1929

ДАЕШЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ!

Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губою
презрение вызменв.
Я,
душу не снизив,
кричу о вещах,
обязательных при социализме.

«Мне, товарищи,
этажи не в этажи —
мне
удобства подай.
Мне, товарищи,
хочется жить
не хуже,
чем жили господа.

Я вам, товарищи,
не дрозд
и не синица,
мне
и без этого
делов массу.
Я, товарищи,
хочу возноситься,
как подобает
господствующему классу.
Я, товарищи,
из нищих вышел,
мне
надоело
в грязи побираться.
Мне бы, товарищи,
жить повыше,
у самых
солнечных
протуберанцев.
Мы, товарищи,
не лошади
и не дети —
скакать
на шестой,
поклажу взвалив?!
Словом,—
во-первых,
во-вторых,
и в-третьих,—
мне
подавайте лифт.
А вместо этого лифта
мне —
прыгать —
работа трехпотая!
Черным углем
на белой стене
выведено криво:
«Лифт
НЕ
работает».

Вот так же
и многое
противно глазу.—
Примуса́, например?!
Дорогу газу!
Поработав,
желаю
помыться сразу.
Бегай —
лифт-мошенник!
Словом,
давайте
материальную базу
для новых
социалистических отношений».

Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губою
презрение вызмеив.
Я,
душу не снизив,
кричу о вещах,
обязательных
при социализме.

1929

ЛЮБИТЕЛИ ЗАТРУДНЕНИЙ

Он любит шептаться,
хитер да тих,
во всех
городах и селеньицах:
«Тс-с, господа,
я знаю —
у них
какие-то затрудненьица».
В газету
хихикает,
над цифрой трунив:

«Переборщили,
замашинив денежки.
Тс-с, господа,
порадуйтесь —
у них
какие-то
такие затрудненьишки».
Усы
закручивает,
весел и лих:
«У них
заухудшился день еще.
Тс-с, господа,
подождем —
у них
теперь
огромные затрудненьища».
Собрав
шептунов,
врунов
и вруних,
переговаривается
орава:
«Тс-с-с, господа,
говорят,
у них
затруднения.
Замечательно!
Браво!»
Затруднения одолеешь,
сбавляет тон,
переходит
от веселия
к грусти.
На перспективах
живо
наживается он —
он
своего не упустит.
Своего не упустит он,
но зато
у другого
выгрызет лишек,

не упустит
уставиться
в сто задов
любой
из очередишек.
И вылезем лишь
из грязи
и тьмы —
он первый
придет, нахален,
и, выпятив грудь,
раззаявит:
«Мы
аж на тракторах —
пахали!»
Республика
одолеет
хозяйства несчастья,
догонит
наган
врага.
Счищай
с путей
завшивевших в мещанстве,
путающихся
у нас
в ногах!

1929

МАРШ УДАРНЫХ БРИГАД

Вперед
тракторами по целине!
Домны
коммуне
подступом!
Сегодня
бейся, революционер,
на баррикадах
производства.
Раздувай
коллективную
грудь-меха,

лозунг
мчи
по рабочим взводам.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Вперед,
в египетскую
русскую темь,
как
гвозди,
вбивай
лампы!
Шаг держи!
Не теряй темп!
Перегнать
пятилетку
нам бы.
Распрабабкиной техники
скидывай хлам.
Днепр,
турбины
верти по заводьям.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Вперед!
Коммуну
из времени
вод
не выловишь
золото-рыбкою.
Накручивай,
наворачивай ход
без праздников —
непрерывкою.
Трактор
туда,
где корпела соха,

хлеб
штурмуй
колхозным
походом.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Вперед
беспрогульным
гигантским ходом!
Не взять нас
буржуевым гончим!
Вперед!
Пятилетку
в четыре года
выполним,
вымчим,
закончим.
Электричество
лей,
река-лиха!
Двигай фабрики
фырком зловодым.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Энтузиазм,
разрастайся и длись
фабричным
сиянием радужным.
Сейчас
подымается социализм
живым,
настоящим,
правдошним.
Этот лозунг
неси
бряцаньем стиха,
размалюй
плакатным разводом.

От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов —
к ударным заводам.

1930

ЛЕНИНЦЫ

Если
блокада
нас не сморила,
если
не сожрала
война горяча —
это потому,
что примером,
мерилом
было
слово
и мысль Ильича.

— Вперед
за республику
лавой атак!
На первый
военный клич! —
Так
велел
защищаться
Ильич.
Втрое,
каждый
станок и верстак,
работу
свою
увеличь!
Так
велел
работать
Ильич.

Наполним
нефтью
республики бак!
Уголь,
расти от добыч!
Так
работать
велел Ильич.
«Снижай себестоимость,
выведи брак!» —
гудков
вызывает
зыч,—
так
работать
звал Ильич.
Комбайном
на общую землю наляг.
Огнем
пустыри расфабричь!
Так
Советам
велел Ильич.
Сжимай экономией
каждый пятак.
Траты
учись стричь,—
так
хозяйничать
звал Ильич.
Огнями ламп
просверливай мрак,
республику
разэлектричь,—
так
велел
рассветиться
Ильич.
Религия — опиум,
религия — враг,
довольно
поповских притч,—

так
жить
велел Ильич.
Достань
бюрократа
под кипой бумаг,
рабочей
ярости
бич,—
так
бороться
велел Ильич.
Не береги
от критики
лак,
чин
в оправданье
не тычь,—
так
велел
держаться
Ильич.
«Слева»
не рви
коммунизма флаг,
справа
в уныньи не хнычь,—
так
идти
наказал Ильич.

Намордник фашистам!
Довольно
собак
спускать
на рабочую «дичь»!
Так
велел
наступать Ильич.

Не хнычем,
а торжествуем
и чествуем.

Ленин с нами,
бессмертен и величав,
по всей вселенной
ширится шествие —
мыслей,
слов
и дел Ильича.

1930

СТИХИ ДЕТЯМ

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

Крошка сын
к отцу пришел,
и спросила кроха:
— Что такое
хорошо
и что такое
плохо? —
У меня
секретов нет,—
слушайте, детишки,—
папы этого
ответ
помещаю
в книжке.

— Если ветер
крыши рвет,
если
град загрохал,—
каждый знает —
это вот
для прогулок
плохо.

Дождь покапал
и прошел.
Солнце
в целом свете.
Это —
очень хорошо
и большим
и детям.

Если
сын
чернее ночи,
грязь лежит
на рожице,—
ясно,
это
плохо очень
для ребячьей кожицы.

Если
мальчик
любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает хорошо.

Если бьет
дрянной драчун
слабого мальчишку,
я такого
не хочу
даже
вставить в книжку.

Этот вот кричит:
— Не трожь
тех,
кто меньше ростом! —
Этот мальчик
так хорош,
загляденье просто!

Если ты
порвал подряд
книжицу
и мячик,
октябрята говорят:
плоховатый мальчик.

Если мальчик
любит труд,
тычет
в книжку
пальчик,
про такого
пишут тут:
он
хороший мальчик.

От вороны
карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
просто трус.
Это
очень плохо.

Этот,
хоть и сам с вершок,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни
пригодится.

Этот
в грязь полез
и рад,
что грязна рубаха.
Про такого
говорят:
он плохой,
неряха.

Этот
чистит валенки,
моет
сам
галоши.
Он
хотя и маленький,
но вполне хороший.

Помни
это
каждый сын.
Знай
любой ребенок:
вырастет
из сына
свин,
если сын —
свиненок.

Мальчик
радостный пошел,
и решила кроха:
«Буду
делать *хорошо*,
и не буду —
плохо».

1925

ЧТО НИ СТРАНИЦА,— ТО СЛОН, ТО ЛЬВИЦА

Льва показываю я,
посмотрите нате —
он теперь не царь зверья,
просто председатель.

Этот зверь зовется лама.
Лама дочь
и лама мама.

Маленький пеликан
и пеликан-великан.
Как живые в нашей книжке
слон,
        слониха
                и слонишки.
Двух- и трехэтажный рост,
с блюдо уха оба,
впереди на морде хвост
под названьем «хобот».
Сколько им еды, питья,
сколько платья сшашивать!
Даже ихнее дитя
ростом с папу с нашего.
Всех прошу посторониться,
разевай пошире рот,—
для таких мала страница,
дали целый разворот.

Крокодил. Гроза детей.
Лучше не гневите.
Только он сидит в воде
и пока не виден.

Вот верблюд, а на верблюде
возят кладь
                и ездят люди.
Он живет среди пустынь,
ест невкусные кусты,
он в работе круглый год —
он,
    верблюд,
                рабочий скот.

Кенгуру.
        Смешная очень.
Руки вдвое короче.
Но за это
                у ней
ноги вдвое длинней.

Жираф-длинношейка —
ему
никак
для шеи не выбрать воротника.
Жирафке лучше:
жирафу-мать
есть
жирафёнку
за что обнимать.
Обезьян.
Смешнее нет.
Что сидеть как статуя?!
Человеческий портрет,
даром что хвостатая.
Зверю холодно зимой.
Зверик из Америки.
Видел всех.
Пора домой.
До свиданья, зверики!

1926

ЭТА КНИЖЕЧКА МОЯ ПРО МОРЯ И ПРО МАЯК

Разрезая носом воды,
ходят в море пароходы.
Дуют ветры яростные,
гонят лодки парусные.
Вечером,
а также к ночи,
плавать в море трудно очень.
Все покрыто скалами,
скалами немалыми.
Ближе к суше
еле-еле
даже
днем обходят мели.
Капитан берет бинокль,
но бинокль помочь не мог.

Капитану так обидно —
даже берега не видно.
Закружит волна круженье,
вот
и кораблекрушенье.
Вдруг —
обрадован моряк:
загорается маяк.
В самой темени как раз
показался красный глаз.
Поморгал —
и снова нет,
и опять зажегся свет.
Здесь, мол, тихо —
все суда
заплывайте вот сюда.
Бьется в стены шторм и вой.
Лестницею винтовой
каждый вечер,
ближе к ночи,
на маяк идет рабочий.
Наверху фонарище —
яркий,
как пожарище.
Виден он
во все моря,
нету ярче фонаря.
Чтобы всем заметиться,
он еще и вертится.
Труд большой рабочему —
простоять всю ночь ему.
Чтобы пламя не погасло,
подливает в лампу масло.
И чистит
исключительное
стекло увеличительное.
Всем показывает свет —
здесь опасно или нет.
Пароходы,
корабли —
запыхтели,
загребли.

Волны,
как теперь ни ухайте,—
все, кто плавал,—
в тихой бухте.
Нет ни волн,
ни вод,
ни грома,
детям сухо,
дети дома.
Кличет книжечка моя:
— Дети,
будьте как маяк!
Всем,
кто ночью плыть не могут,
освещай огнем дорогу.
Чтоб сказать про это вам,
этой книжечки слова
и рисуночков наброски
сделал
дядя
Маяковский.

1926

КОНЬ-ОГОНЬ

Сын
отцу твердил раз триста,
за покупкою гоня:
— Я расту кавалеристом.
Подавай, отец, коня! —

О чем же долго думать тут?
Игрушек
в лавке
много вам.
И в лавку
сын с отцом идут
купить четвероногого.
В лавке им
такой ответ:

— Лошадей сегодня нет.
Но, конечно,
может мастер
сделать лошадь
всякой масти.—
Вот и мастер. Молвит он:
— Надо
нам
достать картон.
Лошадей подобных тело
из картона надо делать.—
Все пошли походкой важной
к фабрике писчебумажной.
Рабочий спрашивать их стал:
— Вам толстый
или тонкий? —
Спросил
и вынес три листа
отличнейшей картонки.
— Кстати
нате вам и клей.
Чтобы склеить —
клей налей.—

Тот, кто ездил,
знает сам,
нет езды без колеса.
Вот они у столяра.
Им столяр, конечно, рад.
Быстро,
ровно, а не криво,
сделал им колесиков.
Есть колеса,
нету гривы,
нет
на хвост волосиков.
Где же конский хвост найти нам?
Там,
где щетки и щетина.
Щетинщик возражать не стал,—
чтоб лошадь вышла дивной,

дал
конский волос
для хвоста
и гривы лошадиной.
Спохватились —
нет гвоздей.
Гвоздь необходим везде.
Повели они отца
в кузницу кузнеца.
Рад кузнец.
— Пожалте, гости!
Вот вам
самый лучший гвоздик.—
Прежде чем работать сесть,
осмотрели —
всё ли есть?
И в один сказали голос:
— Мало взять картон и волос.
Выйдет лошадь бедная,
скучная и бледная.
Взять художника и краски,
чтоб раскрасил
шерсть и глазки.—
К художнику,
удал и быстр,
вбегает наш кавалерист.
— Товарищ,
вы не можете
покрасить шерсть у лошади?
— Могу.—
И вышел лично
с краскою различной.
Сделали лошажье тело,
дальше дело закипело.
Компания остаток дня
впустую не теряла
и мастерить пошла коня
из лучших матерьялов.
Вместе взялись все за дело.
Режут лист картонки белой,
клеем лист насквозь пропитан.
Сделали коню копыта,

щетинщик вделал хвостик,
кузнец вбивает гвоздик.
Быстра у столяра рука —
столяр колеса остругал.
Художник кистью лазит,
лошадке
глазки красит.
Что за лошадь,
что за конь —
горячей, чем огонь!
Хоть вперед,
хоть назад,
хочешь — в рысь,
хочешь — в скок.
Голубые глаза,
в желтых яблоках бок.
Взнуздан
и оседлан он,
крепко сбруей оплетен.
На спину сплетенному —
помогай Буденному!

1927

ПРОЧТИ И КАТАЙ В ПАРИЖ И В КИТАЙ

1

Собирайтесь, ребятишки,
наберите в руки книжки.
Вас
по разным странам света
покатает песня эта.

Начинается земля,
как известно, от Кремля.
За морем,
за сушею —
коммунистов слушают.

Те, кто работают,
слушают с охотою.
А буржуям этот голос
подымает дыбом волос.

2

От Кремля, в котором были,
мы летим в автомобиле
прямо на аэродром.
Здесь стоит
и треск и гром.
По поляне люди ходят,
самолету винт заводят.

3

Подходи,
не робей,
расправляй галстучки
и лети, как воробей,
даже
как ласточка!
Туча нам помеха ли?
Взяли и объехали!
Помни, кто глазеть полез,—
рот зажмите крепко,
чтоб не плюнуть с поднебес
дяденьке на кепку.

4

Опускаемся в Париже,
осмотреть Париж поближе.
Пошли сюда,
пошли туда —
везде одни французы.

Часть населения худа,
а часть другая —
с пузом.
Куда б в Париже ни пошел,
картину видишь ту же:
живет богатый хорошо,
а бедный —
много хуже.
Среди Парижа — башня
высокая страшно.

5

Везет нас поезд
целый день,
то лес,
то город мимо.
И
мимо нищих деревень
летим
с хвостом из дыма.

6

Качает пароход вода.
Лебедка тянет лапу —
подняла лапой чемодан,
а мы идем по трапу.
Пароход полный,
а кругом волны,
высоки и со́лоны.
Волны злятся —
горы вод
смыть грозятся пароход.
Ветер,
бурей не маши нам:

быстро движет иас машина;
под кормой крутя винтом,
погоняет этот дом.
Доехали до берега —
тут и Америка.

7

Издали —
как будто горки,
ближе — будто горы тыщей,—
вот какие
в Нью-Йорке
стоэтажные домища.
Все дни народ снует вокруг
с поспешностью блошиною,
ие тратит
зря —
ни ног, ии рук,
а все
творит машиною.
Как санки
по снегу
без пыли
скользят горой покатою,
так здесь
скользят автомобили,
и в них
сидят богатые.

Опять седобородый дым.
(Не бреет поезд бороду!)
Летим к волне другой воды,
летим к другому городу.
Хорош, да не близко
город Сан-Франциско.

8

Отсюда
вновь
за океан
плывут такие, как и я.
Среди океана
стоят острова,
здесь люди другие,
и лес, и трава.
Проехали,
и вот
она —
японская страна.

9

Легко представить можете
жителя Японии:
если мы — как лошади,
то они —
как пони.
Деревья здесь невелики.
Строенья
роста маленького.
Весной,
куда глаза ни кинь —
сады
в деревьях карликовых.
На острове
гора гулка́,
дымит,
гудит гора-вулкан.
И вдруг
проснется поутру

и хлынет
лавой на́ дом.
Но люди
не бросают труд.
Нельзя.
Работать надо.

10

Отсюда за морем —
Китай.
Садись
и за море катай.
От солнца Китай
пожелтел и высох.
Родина чая.
Родина риса.
Неплохо:
блюдо рисовой каши
и чай —
из разрисованных чашек.
Но рис
и чай
не всегда у китайца,—
английский купец на китайца
кидается:
«Отдавайте нам еду,
а не то —
войной иду!
На людях
мы
кататься привыкши.
Китайцев таких
называем «рикши».

В рабочих привыкли всаживать
пули.
Рабочих таких
называем «ку́ли».

11

Мальчик китайский
русскому рад.
Встречает нас,
как брата брат.
Мы не грабители —
мы их не обидели.
За это
на нас
богатей английский
сжимает кулак,
завидевши близко.
Едем схорониться
к советской границе.
Через Сибирь вас
провозит экспресс.
Лес да горы,
горы и лес.
И вот
через 15 дней
опять Москва —
гуляйте в ней.

12

Разевают дети рот.
— Мы же
ехали вперед,
а приехали туда же.
Это странно,
страшно даже.

Маяковский,
ждем ответа.
Почему случилось это? —
А я ему:
— Потому,
что земля кругла,
нет на ней угла —
вроде мячика
в руке у мальчика.
1927

ВОЗЬМЕМ ВИНТОВКИ НОВЫЕ

Возьмем винтовки новые,
на штык флажки!
И с песнею
в стрелковые
пойдем кружки.
Раз,
два!
Все
в ряд!
Впе-
ред,
от-
ряд.
Когда
война-метелица
придет опять —
должны уметь мы целиться,
уметь стрелять.
Ша-
гай
кру-
че!
Цель-
ся
луч-
ше!

И если двинет армии
страна моя —
мы будем
санитарами
во всех боях.
Ра-
нят
в ле-
су,
к сво-
им
сне-
су.
Бесшумною разведкою —
тиха нога —
за камнем
и за веткою
найдем врага.
Пол-
зу
день,
ночь
мо-
им
по-
мочь.
Блестят винтовки новые,
на них
флажки.
Мы с песнею
в стрелковые
идем кружки.
Раз,
два!
Под-
ряд!
Ша-
гай,
от-
ряд!

1927

МАЙСКАЯ ПЕСЕНКА

Зеленые листики —
и нет зимы.
Идем
      раздольем чистеньким —
и я,
    и ты,
        и мы.
Весна сушить развесила
свое мытье.
Мы молодо и весело
идем!
    Идем!
        Идем!
На ситцах, на бумаге —
огонь на всем.
Красные флаги
несем!
    Несем!
        Несем!
Улица рада,
весной умытая.
Шагаем отрядом,
и мы,
    и ты,
        и я.

1928

КЕМ БЫТЬ?

У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?

Нужные работники —
столяры и плотники!
Сработать мебель мудрено:
сначала
мы
берем бревно
и пилим доски
длинные и плоские.
Эти доски
вот так
зажимает
стол-верстак.
От работы
пила
раскалилась добела.
Из-под пилки
сыплются опилки.
Рубанок
в руки —
работа другая:
сучки, закорюки
рубанком стругаем.
Хороши стружки —
желтые игрушки.
А если
нужен шар нам
круглый очень,
на станке токарном
круглое точим.
Готовим понемножку
то ящик,
то ножку.
Сделали вот столько
стульев и столиков!

Столяру хорошо,
а инженеру —
лучше,
я бы строить дом пошел,
пусть меня научат.

Я
сначала
начерчу
дом
такой,
какой хочу.
Самое главное,
чтоб было нарисовано
здание
славное,
живое словно.
Это будет
перёд,
называется фасад.
Это
каждый разберет —
это ванна,
это сад.
План готов,
и вокруг
сто работ
на тыщу рук.
Упираются леса
в самые небеса.
Где трудна работка,
там
визжит лебедка;
подымает балки,
будто палки.
Перетащит кирпичи,
закаленные в печи.
По крыше выложили жесть.
И дом готов,
и крыша есть.
Хороший дом,
большущий дом
на все четыре стороны,
и заживут ребята в нем
удобно и просторно.

Инженеру хорошо,
а доктору —
лучше,

я б детей лечить пошел,
пусть меня научат.
Я приеду к Пете,
я приеду к Поле.
— Здравствуйте, дети!
Кто у вас болен?
Как живете,
как животик? —
Погляжу
        из очков
кончики язычков.
— Поставьте этот градусник
под мышку, детишки.—
И ставят дети радостно
градусник под мышки.
— Вам бы
        очень хорошо
проглотить порошок
и микстуру
        ложечкой
пить понемножечку.
Вам
    в постельку лечь
                поспать бы,
вам —
        компрессик на живот,
и тогда
        у вас
            до свадьбы
все, конечно, заживет.

Докторам хорошо,
а рабочим —
            лучше,
я б в рабочие пошел,
пусть меня научат.
Вставай!
        Иди!
            Гудок зовет,
и мы приходим на завод.

Народа — уйма целая,
тысяча двести.
Чего один не сделает —
сделаем вместе.
Можем
железо
ножницами резать,
краном висящим
тяжести тащим;
молот паровой
гнет и рельсы травой.
Олово плавим,
машинами правим.
Работа всякого
нужна одинаково.
Я гайки делаю,
а ты
для гайки
делаешь винты.
И идет
работа всех
прямо в сборочный цех.
Болты,
лезьте
в дыры ровные,
части
вместе
сбей
огромные.
Там —
дым,
здесь —
гром.
Гро-
мим
весь
дом.
И вот
вылазит паровоз,
чтоб вас
и нас
и нес
и вез.

На заводе хорошо,
а в трамвае —
лучше,
я б кондуктором пошел,
пусть меня научат.
Кондукторам
езда везде.
С большою сумкой кожаной
ему всегда,
ему весь день
в трамваях ездить можно.
— Большие и дети,
берите билетик,
билеты разные,
бери любые —
зеленые,
красные
и голубые.—
Ездим рельсами.
Окончилась рельса,
и слезли у леса мы,
садись
и грейся.

Кондуктору хорошо,
а шоферу —
лучше,
я б в шоферы пошел,
пусть меня научат.
Фырчит машина скорая,
летит, скользя,
хороший шофер я —
сдержать нельзя.
Только скажите,
вам куда надо —
без рельсы
жителей
доставлю на дом.
Е-
дем,
ду-
дим:

«С пу-
ти
уй-
ди!»

Быть шофером хорошо,
а летчиком —
лучше,
я бы в летчики пошел,
пусть меня научат.
Наливаю в бак бензин,
завожу пропеллер.
«В небеса, мотор, вези,
чтобы птицы пели».
Бояться не надо
ни дождя,
ни града.
Облетаю тучку,
тучку-летучку.
Белой чайкой паря,
полетел за моря.
Без разговору
облетаю гору.
«Вези, мотор,
чтоб нас довез
до звезд
и до луны,
хотя луна
и масса звезд
совсем отдалены».

Летчику хорошо,
а матросу —
лучше,
я б в матросы пошел,
пусть меня научат.
У меня на шапке лента,
на матроске
якоря.
Я проплавал это лето,
океаны покоря.
Напрасно, волны, скачете —
морской дорожкой

на реях и по мачте
карабкаюсь кошкой.
Сдавайся, ветер вьюжный,
сдавайся, буря скверная,
открою
полюс
Южный,
а Северный —
наверное.

Книгу переворошив,
намотай себе на ус —
все работы хороши,
выбирай
на вкус!

1928

ПЕСНЯ-МОЛНИЯ

За море синеволное,
за сто земель
и вод
разлейся, песня-молния,
про пионерский слет.
Идите,
слов не тратя,
на красный
наш костер!
Сюда,
миллионы братьев!
Сюда,
миллион сестер!
Китайские акулы,
умерьте
вашу прыть,—
мы
с китайчонком-кули

пойдем
акулу крыть.
Веди
светло и прямо
к работе
и к боям,
моя
большая мама —
республика моя.
Растем от года к году мы.
смотри,
земля-старик,—
садами
и заводами
сменили пустыри.
Везде
родные наши,
куда ни бросишь глаз.
У нас большой папаша —
стальной рабочий класс.
Иди
учиться рядышком,
безграмотная старь.
Пора,
товарищ бабушка,
садиться за букварь.
Вперед,
отряды сжатые,
по ленинской тропе!
У нас
один вожатый —
товарищ ВКП.

1929



МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

МЕКСИКА

ДВА СЛОВА. Моя последняя дорога — Москва, Кенигсберг (воздух), Берлин, Париж, Сен-Назер, Жижон, Сантандер, Мыс-ла-Коронь (Испания), Гавана (остров Куба), Вера-Круц, Мехико-сити, Ларедо (Мексика), Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт, Питсбург, Кливленд (Северо-Американские Соединенные Штаты), Гавр, Париж, Берлин, Рига, Москва.

Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг.

Езда хватает сегодняшнего читателя. Вместо выдуманных интересностей о скучных вещах, образов и метафор — вещи, интересные сами по себе.

Я жил чересчур мало, чтобы выписать правильно и подробно частности.

Я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее.

18 ДНЕЙ ОКЕАНА. Океан — дело воображения. И на море не видно берегов, и на море волны больше, чем нужны в домашнем обиходе, и на море не знаешь, что под тобой.

Но только воображение, что справа нет земли до полюса и что слева нет земли до полюса, впереди совсем новый, второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида,— только это воображение есть Атлантический океан. Спокойный океан скучен. 18 дней мы ползем, как муха по зеркалу. Хорошо поставленное зрелище было только один раз; уже на обратном пути из Нью-Йорка в Гавр. Сплошной ливень вспенил белый океан, белым заштриховал небо, сшил белыми нитками небо и воду. Потом

была радуга. Радуга отразилась, замкнулась в океане,— и мы, как циркачи, бросались в радужный обруч. Потом — опять плавучие губки, летучие рыбки, летучие рыбки и опять плавучие губки Саргассова моря, а в редкие торжественные случаи — фонтаны китов. И все время надоедающая (даже до тошноты) вода и вода.

Океан надоедает, а без него скушно.

Потом уже долго-долго надо, чтобы гремела вода, чтоб успокаивающе шумела машина, чтоб в такт позванивали медяшки люков.

ПАРОХОД «ЭСПАНЬ» 14 000 тонн. Пароход маленький, вроде нашего «ГУМ'а». Три класса, две трубы, одно кино, кафе-столовая, библиотека, концертный зал и газета.

Газета «Атлантик». Впрочем, паршивая. На первой странице великие люди: Балиев да Шаляпин, в тексте описание отелей (материал, очевидно, заготовленный на берегу) да жиденький столбец новостей — сегодняшнее меню и последнее радио, вроде: «В Марокко все спокойно».

Палуба разукрашена разноцветными фонариками, и всю ночь танцует первый класс с капитанами. Всю ночь наяривает джаз:

Маркита,
Маркита,
Маркита моя!
Зачем ты,
Маркита,
не любишь меня...

Классы — самые настоящие. В первом — купцы, фабриканты шляп и воротничков, тузы искусства и монашенки. Люди странные: турки по национальности, говорят только по-английски, живут всегда в Мексике,— представители французских фирм с парагвайскими и аргентинскими паспортами. Это — сегодняшние колонизаторы, мексиканские штучки. Как раньше за грошовые побрякушки спутники и потомки Колумба обирали индейцев, так сейчас за красный галстук, приобщающий негра к европейской цивилизации, на гаванских плантациях сгибают в три погибели краснокожих. Держатся

обособленно. В третий и во второй идут только если за хорошенькими девочками. Второй класс — мелкие коммивояжеры, начинающие искусство и стукающая по ремингтонам интеллигенция. Всегда незаметно от боцманов, бочком втираются в палубы первого класса. Станут и стоят,— дескать, чем же я от вас отличаюсь: воротнички на мне те же, манжеты тоже. Но их отличают и почти вежливо просят уйти к себе. Третий — начинка трюмов. Ищущие работы из Одесс всего света — боксеры, сыщики, негры.

Сами наверх не суются. У заходящих с других классов спрашивают с угрюмой завистью: «Вы с преферанса?» Отсюда подымаются спертый запашище пота и сапожищ, кислая вонь просушиваемых пеленок, скрип гамаков и походных кроватей, облепивших всю палубу, зарезанный рев детей и шепот почти по-русски урезонивающих матерей: «Уймись, ты, киса́нка моя, заплака́нная».

Первый класс играет в покер и маджонг, второй — в шашки и на гитаре, третий — заворачивает руку за спину, закрывает глаза, сзади хлопают изо всех сил по ладони,— надо угадать, кто хлопнул из всей гурьбы, и узнанный заменяет избиваемого. Советую вузовцам испробовать эту испанскую игру.

Первый класс тошнит куда хочет, второй — на третий, а третий — сам на себя.

Событий никаких.

Ходит телеграфист, орет о встречных пароходах. Можете отправить радио в Европу.

А заведующий библиотекой, ввиду малого спроса на книги, занят и другими делами: разносит бумажку с десятью цифрами. Внеси 10 франков и запиши фамилию; если цифра пройденных миль окончится на твою — получай 100 франков из этого морского тотализатора.

Мое незнание языка и молчание было истолковано как молчание дипломатическое, и один из купцов, встречая меня, всегда для поддержки знакомства с высоким пассажиром почему-то орал: «Хорош Плевна» — два слова, заученные им от еврейской девочки с третьей палубы.

Накануне приезда в Гавану пароход оживился. Была дана «Томбола» — морской благотворительный праздник в пользу детей погибших моряков.

Первый класс устроил лотерею, пил шампанское, склонял имя купца Макстона, пожертвовавшего 2000 франков,— имя это было вывешено на доске объявлений, а грудь Макстона под общие аплодисменты украшена трехцветной лентой с его, Макстоновой фамилией, тисненной золотом.

Третий тоже устроил праздник. Но медяки, кидаемые первым и вторым в шляпы, третий собирал в свою пользу.

Главный номер — бокс. Очевидно, для любящих этот спорт англичан и американцев. Боксировать никто не умел. Противно — бьют морду в жару. В первой паре пароходный кок — голый, щуплый, волосатый француз в черных дырявых носках на голую ногу.

Кока били долго. Минут пять он держался от умения и еще минут двадцать из самолюбия, а потом взмолился, опустил руки и ушел, выплевывая кровь и зубы.

Во второй паре дрался дурак-болгарин, хвастливо открывавший грудь,— с американцем-сыщиком. Сыщика, профессионального боксера, разбирал смех,— он размахнулся, но от смеха и удивления не попал, а сломал собственную руку, плохо сросшуюся после войны.

Вечером ходил арбитр и собирал деньги на поломанного сыщика. Всем объявлялось по секрету, что сыщик со специальным тайным поручением в Мексике, а слечь надо в Гаване, а безрукому никто не поможет,— зачем он американской полиции?

Это я понял хорошо, потому что и американец-арбитр в соломенном шлеме оказался одесским сапожником-евреем.

А одесскому еврею все надо,— даже вступаться за незнакомого сыщика под тропиком Козерога.

Жара страшная.

Пили воду — и зря: она сейчас же выпаривалась по́том.

Сотни вентиляторов вращались на оси и мерно покачивали и крутили головой — обмахивая первый класс.

Третий класс теперь ненавидел первый еще и за то, что ему прохладнее на градус.

Утром, жареные, печеные и вареные, мы подошли к белой — и стройками и скалами — Гаване. Подлип та-

моженный катерок, а потом десятки лодок и лодчонок с гаванской картошкой — ананасами. Третий класс кидал деньгу, а потом выуживал ананас веревочкой.

На двух конкурирующих лодках два гаванца ругались на чисто русском языке: «Куда ты прешь со своей ананасиной, мать твою...»

ГАВАНА. Стояли сутки. Брали уголь. В Вера-Круц угля нет, а его надо на шесть дней езды, туда и обратно по Мексиканскому заливу. Первому классу пропуска на берег дали немедленно и всем, с заносом в каюту. Купцы в белой чесуче сбегали возбужденно с дюжинами чемоданчиков — образцов подтяжек, воротничков, граммофонов, фиксатуаров и красных негритянских галстуков. Купцы возвращались ночью пьяные, хвастаясь дареными двухдолларовыми сигарами.

Второй класс сходил с выбором. Пускали на берег нравящихся капитану. Чаще — женщин.

Третий класс не пускали совсем — и он торчал на палубе, в скрежете и грохоте углесосов, в черной пыли, прилипшей к липкому поту, подтягивая на веревочке ананасы.

К моменту спуска полил дождь, никогда не виданный мной тропический дождина.

Что такое дождь?

Это — воздух с прослойкой воды.

Дождь тропический — это сплошная вода с прослойкой воздуха.

Я первоклассник. Я на берегу. Я спасаюсь от дождя в огромнейшем двухэтажном пакгаузе. Пакгауз от пола до потолка начинен «виски». Таинственные подписи: «Кинг Жорж», «Блэк энд уайт», «Уайт хорс» — чернели на ящиках спирта, контрабанды, вливаемой отсюда в недалекие трезвые Соединенные Штаты.

За пакгаузом — портовая грязь кабаков, публичных домов и гниющих фруктов.

За портовой полосой — чистый богатейший город мира.

Одна сторона — разэкзотическая. На фоне зеленого моря черный негр в белых штанах продает пунцовую рыбу, подымая ее за хвост над собственной головой.

Другая сторона — мировые табачные и сахарные лимиteды с десятками тысяч негров, испанцев и русских рабочих.

А в центре богатств — американский клуб, десятиэтажный Форд, Клей и Бок — первые ощутимые признаки владычества Соединенных Штатов над всеми тремя — над Северной, Южной и Центральной Америкой.

Им принадлежит почти весь гаванский Кузнецкий мост: длинная, ровная, в кафе, рекламах и фонарях Прадо; по всей Ведадо, перед их особняками, увитыми розовым коларио, стоят на ножке фламинго цвета рассвета. Американцев берегут на своих низеньких табуретах под зонтиками стоящие полицейские.

Все, что относится к древней экзотике, красочно поэтично и малодоходно. Например, красивейшее кладбище бесчисленных Гомецов и Лопецов с черными даже днем аллеями каких-то сплетшихся тропических бородатых деревьев.

Все, что относится к американцам, прилажено прилежно и организованно. Ночью я с час простоял перед окнами гаванского телеграфа. Люди разомлели в гаванской жаре, пишут почти не двигаясь. Под потолком на бесконечной ленте носятся зажатые в железных лапках квитанции, бланки и телеграммы. Умная машина вежливо берет от барышни телеграмму, передает телеграфисту и возвращается от него с последними курсами мировых валют. И в полном контакте с нею, от тех же двигателей вертятся и покачивают головами вентиляторы.

Обратно я еле нашел дорогу. Я запомнил улицу по эмалированной дощечке с надписью «трафико». Как будто ясно — название улицы. Только через месяц я узнал, что «трафико» на тысячах улиц просто указывает направление автомобилей. Перед уходом парохода я сбежал за журналами. На площади меня поймал оборванец. Я не сразу мог понять, что он просит о помощи. Оборванец удивился:

— Ду ю спик инглиш? Парлата эспаньола? Парле ву франсе?

Я молчал и только под конец сказал ломано, чтоб отвязаться: «Ай эм рéша!»

Это был самый необдуманный поступок. Оборванец ухватил обеими руками мою руку и заорал:

— Гип большевик! Ай эм большевик! Гип, гип!

Я скрылся под недоуменные и опасливые взгляды прохожих.

Мы отплывали уже под гимн мексиканцев.

Как украшает гимн людей,— даже купцы стали серьезны, вдохновенно повскакивали с мест и орали что-то вроде:

> Будь готов, мексиканец,
> вскочить на коня...

К ужину давали незнакомые мне еды — зеленый кокосовый орех с намазывающейся маслом сердцевиной и фрукт манго — шарж на банан, с большой волосатой косточкой.

Ночью я с завистью смотрел пунктир фонарей далеко по правой руке,— это горели железнодорожные огни Флориды.

На железных столбах в третьем классе, к которым прикручивают канаты, сидели вдвоем я и эмигрирующая одесская машинистка. Машинистка говорила со слезой:

— Нас сократили, я голодала, сестра голодала, двоюродный дядька позвал из Америки. Мы сорвались и уже год плаваем и ездим от земли к земле, от города к городу. У сестры — ангина и нарыв. Я звала вашего доктора. Он не пришел, а вызвал к себе. Пришли, говорит — раздевайтесь. Сидит с кем-то и смеется. В Гаване хотели слезть зайцами — оттолкнули. Прямо в грудь. Больно. Так в Константинополе, так в Александрии. Мы — третьи... Этого и в Одессе не бывало. Два года ждать нам, пока пустят из Мексики в Соединенные Штаты... Счастливый! Вы через полгода опять увидите Россию.

МЕКСИКА. Вера-Круц. Жиденький бережок с маленькими низкими домишками. Круглая беседка для встречающих рожками музыкантов.

Взвод солдат учится и марширует на берегу. Нас прикрутили канатами. Сотни маленьких людей в трехчетвертиаршинных шляпах кричали, вытягивали до второй палубы руки с носильщическими номерами, дрались друг с другом из-за чемоданов и уходили, подламываясь под огромной кладжей. Возвращались, вытирали лицо и орали и клянчили снова.

— Где же индейцы? — спросил я соседа.

— Это индейцы,— сказал сосед.

Я лет до двенадцати бредил индейцами по Куперу и Майн-Риду. И вот стою, оторопев, как будто перед моими глазами павлинов переделывают в куриц.

Я был хорошо вознагражден за первое разочарование. Сейчас же за таможней пошла непонятная, своя, изумляющая жизнь.

Первое — красное знамя с серпом и молотом в окне двухэтажного дома.

Ни к каким советским консульствам это знамя никак не относится. Это «организация Проаля». Мексиканец въезжает в квартиру и выкидывает флаг.

Это значит:

«Въехал с удовольствием, а за квартиру платить не буду». Вот и все.

Попробуй — вышиби.

В крохотной тени от стен и заборов ходят коричневые люди. Можно идти и по солнцу, но тогда тихо, тихо — иначе солнечный удар.

Я узнал об этом поздно и две недели ходил, раздувая ноздри и рот — чтобы наверстать нехватку разреженного воздуха.

Вся жизнь — и дела, и встречи, и еда — всё под холщовыми полосатыми навесами на улицах.

Главные люди — чистильщики сапог и продавцы лотерейных билетов. Чем живут чистильщики сапог — не знаю. Индейцы босые, а если и обуты, то во что-то не поддающееся ни чистке, ни описанию. А на каждого имеющего сапог — минимум 5 чистильщиков.

Но лотерейщиков еще больше. Они тысячами ходят с отпечатанными на папиросной бумаге миллионами выигрышных билетов, в самых мелких купюрах. А наутро уже выигрыши с массой грошовых выдач. Это уже не лотерея, а какая-то своеобразная, полукарточная, азартная игра. Билеты раскупают, как в Москве подсолнухи. В Вера-Круц не задерживаются долго: покупают мешок, меняют доллары, берут мешок с серебром за плечи и идут на вокзал покупать билет в столицу Мексики — Мехико-сити.

В Мексике все носят деньги в мешках. Частая смена правительств (за отрезок времени 28 лет — 30 президентов) подорвала доверие к каким бы то ни было бумажкам. Вот и мешки.

В Мексике бандитизм. Признаюсь, я понимаю бандитов. А вы, если перед вашими носами звенят золотым мешком, разве не покуситесь?

На вокзале увидел вблизи первых военных. Большая шляпа с пером, желтое лицо, шестивершковые усы, палаш до полу, зеленые мундиры и лакированные желтые краги.

Армия Мексики интересна. Никто, и военный министр тоже, не знает, сколько в Мексике солдат. Солдаты под генералами. Если генерал за президента, он, имея тысячу солдат, хвастается десятью тысячами. А получив на десять, продает еду и амуницию девяти.

Если генерал против президента, он щеголяет статистикой в тысячу, а в нужный момент выходит драться с десятью.

Поэтому военный министр на вопрос о количестве войска отвечает:

— Кин сав, кин сав. Кто знает, кто знает. Может, 30 тысяч, но возможно — и сто.

Войско живет по-древнему — в палатках со скарбом, с женами и с детьми.

Скарб, жены и дети этакой махновщиной выступают во время междоусобных войн. Если у одной армии нет патронов, но есть маис, а другие без маиса, но с патронами — армии прерывают сражение, семьи ведут меновую торговлю, одни наедятся маисом, другие наполнят патронами сумки — и снова раздувают бой.

По дороге к вокзалу автомобиль спугнул стаю птиц. Есть чего испугаться.

Гусиных размеров, вороньей черноты, с голыми шеями и большими клювами, они подымались над нами.

Это «зопилоты», мирные вороны Мексики; ихнее дело — всякий отброс.

Отъехали в девять вечера.

Дорога от Вера-Круц до Мехико-сити, говорят, самая красивая в мире. На высоту 3000 метров вздымается она по обрывам, промежду скал и сквозь тропические леса. Не знаю. Не видал. Но и проходящая мимо вагона тропическая ночь необыкновенна.

В совершенно синей, ультрамариновой ночи черные тела пальм — совсем длинноволосые богемцы-художники.

Небо и земля сливаются. И вверху и внизу звезды. Два комплекта. Вверху неподвижные и общедоступные небесные светила, внизу ползущие и летающие звезды светляков.

Когда озаряются станции, видишь глубочайшую грязь, ослов и длинношляпых мексиканцев в «сарапе» — пестрых коврах, прорезанных посередине, чтоб просунуть голову и спустить концы на живот и за спину.

Стоят, смотрят — а двигаться не их дело.

Над всем этим сложный, тошноту вызывающий запах,— странная помесь вони газолина и духа гнили банана и ананаса.

Я встал рано. Вышел на площадку.

Было все наоборот.

Такой земли я не видал и не думал, что такие земли бывают.

На фоне красного восхода, сами окрапленные красным, стояли кактусы. Одни кактусы. Огромными ушами в бородавках вслушивался нопаль, любимый деликатес ослов. Длинными кухонными ножами, начинающимися из одного места, вырастал могей. Его перегоняют в полупиво-полуводку — «пульке», спаивая голодных индейцев. А за нопалем и могеем, в пять человеческих ростов, еще какой-то сросшийся трубами, как орган консерватории, только темно-зеленый, в иголках и шишках.

По такой дороге я въехал в Мехико-сити.

ДИЕГО ДЕ-РИВЕРА встретил меня на вокзале. Поэтому живопись — первое, с чем я познакомился в Мехико-сити.

Я раньше только слышал, будто Диего — один из основателей компартии Мексики, что Диего величайший мексиканский художник, что Диего из кольта попадает в монету на лету. Еще я знал, что своего Хулио Хуренито Эренбург пытался писать с Диего.

Диего оказался огромным, с хорошим животом, широколицым, всегда улыбающимся человеком.

Он рассказывает, вмешивая русские слова (Диего великолепно понимает по-русски), тысячи интересных вещей, но перед рассказом предупреждает:

— Имейте в виду, и моя жена подтверждает, что половину из всего сказанного я привираю.

Мы с вокзала, закинув в гостиницу вещи, двинулись в мексиканский музей. Диего двигался тучей, отвечая на сотни поклонов, пожимая руку ближайшим и перекрикиваясь с идущими другой стороной. Мы смотрели древние, круглые, на камне, ацтекские календари из мексиканских пирамид, двуморды[х] идолов ветра, у которых одно лицо догоняет другое. Смотрели, и мне показывали не зря. Уже мексиканский посол в Париже, г-н Рейес, известный новеллист Мексики, предупреждал меня, что сегодняшняя идея мексиканского искусства — это исход из древнего, пестрого, грубого народного индейского искусства, а не из эпигонски-эклектических форм, завезенных сюда из Европы. Эта идея — часть, может, еще и не осознанная часть, идеи борьбы и освобождения колониальных рабов.

Поженить грубую характерную древность с последними днями французской модернистской живописи хочет Диего в своей еще не оконченной работе — росписи всего здания мексиканского министерства народного просвещения.

Это много десятков стен, дающих прошлую, настоящую и будущую историю Мексики.

Первобытный рай, со свободным трудом, с древними обычаями, праздниками маиса, танцами духа смерти и жизни, фруктовыми и цветочными дарами.

Потом — корабли генерала Эрнандо Кортеса, покорение и закабаление Мексики.

Подневольный труд с плантатором (весь в револьверах), валяющимся в гамаке. Фрески ткацкого, литейного, гончарного и сахарного труда. Подымающаяся борьба. Галерея застреленных революционеров. Восстание с землей, атакующей даже небеса. Похороны убитых революционеров. Освобождение крестьянина. Учение крестьян под охраной вооруженного народа. Смычка рабочих и крестьян. Стройка будущей земли. Коммуна — расцвет искусства и знаний.

Эта работа была заказана предыдущим недолговечным президентом в период его заигрывания с рабочими.

Сейчас эта первая коммунистическая роспись в мире — предмет злейших нападок многих высоких лиц из правительства президента Кайеса.

Соединенные Штаты — дирижер Мексики — дали броненосцами и пушками понять, что мексиканский пре-

видеит только исполнитель воли североамериканского капитала. А поэтому (вывод нетруден) незачем разводить коммунистическую агитационную живопись.

Были случаи нападения хулиганов и замазывания и соскребывания картин.

В этот день я обедал у Диего.

Его жена — высокая красавица из Гвадалахары.

Ели чисто мексиканские вещи.

Сухие, пресные-пресные тяжелые лепешки-блины. Рубленое скатанное мясо с массой муки и целым пожаром перца.

До обеда кокосовый орех, после — манго.

Запивается отдающей самогоном дешевой водкой — коньяком-хабанерой.

Потом перешли в гостиную. В центре дивана валялся годовалый сын, а в изголовьи на подушке бережно лежал огромный кольт.

Приведу отрывочные сведения и о других искусствах.

ПОЭЗИЯ: Ее много. В саду Чапультапеке есть целая аллея поэтов — Кальсада де лос поэтос.

Одинокие мечтательные фигуры скребутся в бумажке.

Каждый шестой человек — обязательно поэт.

Но все мои вопросы критикам о сегодняшней значительной мексиканской поэзии, о том, есть ли что-либо похожее на советские течения,— оставались без ответа.

Даже коммунист Герреро, редактор железнодорожного журнала, даже рабочий писатель Крус пишут почти одни лирические вещи со сладострастиями, со стонами и шепотами, и про свою любимую говорят: Комо леон ну́био (как нубийский лев).

Причина, я думаю, слабое развитие поэзии, слабый социальный заказ. Редактор журнала «Факел» доказывал мне, что платить за стихи нельзя,— какая же это работа! Их можно помещать только как красивую человеческую позу, прежде всего выгодную и интересную одному автору. Интересно, что этот взгляд на поэзию был и в России в предпушкинскую и даже в пушкин-

скую эпоху. Профессионалом, серьезно вставлявшим стихи в бюджет, был, кажется, тогда только один Пушкин.

Поэзия напечатанная, да и вообще хорошая книга, не идет совсем. Исключение — только переводные романы. Даже книга «Грабительская Америка», насущная книга об империализме в Соединенных Штатах и возможности объединения латинской Америки для борьбы, переведенная и напечатанная уже в Германии, здесь расходится в пятистах экземплярах и то чуть ли не при насильственной подписке.

Те, кто хотят, чтоб их поэзия шла, издают лубочные листки с поэмой, приспособленной к распеву на какой-нибудь общеизвестный мотив.

Такие листки показывал мне делегат Крестинтерна товарищ Гальван. Это — предвыборные листки с его же стихами, за грош продающимися по рынкам. Этот способ надо бы применить вапповцам и мапповцам — вместо толстенных академических антологий на рабоче-крестьянском верже, в 5 рублей ценой.

Русскую литературу любят и уважают, хотя больше понаслышке. Сейчас переводятся (!) Лев Толстой, Чехов, а из новых я видел только «Двенадцать» Блока да мой «Левый марш».

ТЕАТР. Драмы, оперы, балет пустуют. Заезжая Анна Павлова имела бы полный зал, только б если у нее двоилось в глазах.

Я был раз в огромном театре на спектакле кукол. Было жутко видеть это приехавшее из Италии потрясающее искусство. Люди, казавшиеся живыми, ломались в гимнастике по всем суставам. Из бабы человечьей величины десятками вылетали танцевать крохотные куколки обоего пола.

Оркестр и хор полуаршинных людей выводили невозможные рулады, и даже на этом официальном спектакле в пользу авиаторов Мексики полны были только ложи дипломатических представителей, хотя билеты и продавались вручную, вразнос.

Есть два «батаклана» — подражание голым парижским ревю. Они полны. Женщины тощие и грязные. Очевидно, уже вышедшие из моды, из лет, и из успеха

в Европе и в Штатах. Пахнет потом и скандалом. Номер получасового вращения (с дрожью) задом (обратная сторона танца живота) повторяется трижды — и снова бешеный свист, заменяющий в Мексике аплодисменты.

Так же посещаем кино. Мексиканское кино работает от восьми вечера и показывает одну неповторяющуюся программу из трех-четырех огромных лент.

Содержание ковбойское, происхождение американское. Но самое любимое посещаемое зрелище — это бой быков.

Огромное стальное строение арены — единственное здание по всем правилам, по всей американской широте.

Человек — тысяч на сорок. Задолго до воскресенья газеты публикуют:

ЛОС ОЧО ТОРОС
восемь быков

Быков и лошадей, принимающих участие в битве, можно заранее осматривать в конюшнях торо. Такие-то и такие-то знаменитые тореадоры, матадоры и пикадоры принимают участие в празднике.

В назначенный час тысячи экипажей со светскими дамами, катящими с ручными обезьянками в своих «ройльсах», и десятки тысяч пешеходов прут к стальному зданию. Цены на билеты, раскупленные барышниками, вздуты вдвое.

Цирк открытый.

Аристократия берет билеты в теневой, дорогой стороне, плебс — на дешевой, солнечной. Если после убийства двух быков, из общей программы в 6 или в 8, дождь заставляет прекратить живодерню, публика — так было в день моего приезда — ярится и устраивает погром администрации и деревянных частей.

Тогда полиция прикатывает брандсбон и начинает окачивать солнечную (плебейскую) сторону водой. Это не помогает,— тогда стреляют в тех же солнечников.

Торо.

Перед входом огромная толпа ждет любимцев-быкобоев. Именитые граждане стараются сняться рядом с высокомерным быкобойцем, аристократки-сеньоры дают,

очевидно для облагораживающего влияния, подержать им своих детей. Фотографы занимают места почти на бычьих рогах — и начинается бой.

Сначала пышный, переливающий блестками парад. И уже начинает бесноваться аудитория, бросая котелки, пиджаки, кошельки и перчатки любимцам на арену. Красиво и спокойно, сравнительно, проходит пролог, когда тореадор играет с быком красной тряпкой. Но уже с бандерильеров, когда быку в шею втыкают первые копья, когда пикадоры обрывают быкам бока, и бык становится постепенно красным, когда его взбешенные рога врезаются в лошажьи животы, и лошади пикадоров секунду носятся с вывалившимися кишками,— тогда зловещая радость аудитории доходит до кипения. Я видел человека, который спрыгнул со своего места, выхватил тряпку тореадора и стал взвивать ее перед бычьим носом.

Я испытал высшую радость: бык сумел воткнуть рог между человечьими ребрами, мстя за товарищей-быков.

Человека вынесли.

Никто на него не обратил внимания.

Я не мог и не хотел видеть, как вынесли шпагу главному убийце и он втыкал ее в бычье сердце. Только по бешеному грохоту толпы я понял, что дело сделано. Внизу уже ждали тушу с ножами сдиратели шкур. Единственное, о чем я жалел, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов и нельзя его выдрессировать стрелять.

Почему нужно жалеть такое человечество?

Единственное, что примиряет меня с боем быков, это — то, что и король Альфонс испанский против него.

Бой быков — национальная мексиканская гордость.

Когда, распростившись с своим делом, купив дома и обеспечив себя и детей едой и лакеями, знаменитый быкобоец Рудольфо Гаона уехал в Европу — вся пресса взвыла, собирая анкеты: имеет ли право уезжать этот великий человек? у кого будет учиться, с кого будет брать пример подрастающая Мексика?

Поражающих архитектурных памятников новой стройки я в Мексике не видел. Быстро меняющиеся президенты мало задумываются о долговечных стройках. Диэц, пропрезидентствовавший тридцать лет, под конец начал строить не то сенат, не то театр. Диэца прогнали.

С тех пор прошло много лет. Готовый скелет из железных балок стоит, а сейчас, кажется, его получил на слом или продажу за какие-то услуги президенту какой-то мексиканский спекулянт. Новой и хорошей вещью мне показался памятник Сервантесу (копия севильского). Возвышающаяся площадка, обнесенная каменными скамейками, посредине фонтан, очень нужный в мексиканской жаре. Скамейки и низкие стены выстланы плитками, воскрешающими в простеньких лубочках похождения Дон-Кихота. Маленький Дон и Санчо Панса стоят по бокам. Никаких изображений усатого или бородатого Сервантеса.

Зато два шкафика его книг, которые тут же много лет листают возвышенные мексиканцы.

ГОРОД Мехико-сити плоский и пестрый. Снаружи почти все домики — ящиками. Розовые, голубые, зеленые. Преобладающий цвет розовато-желтый, этаким морским песком на заре. Фасад дома скучен, вся его красота — внутри. Здесь дом образует четырехугольный дворик. Дворик усажен всякой цветущей тропичностью. Перед всеми домами обнимающая дворик двух-трех-четырехэтажная терраса, обвитая зеленью, увешанная горшками с ползучими растениями и клетками попугаев.

Целое огромное американское кафе Самборн устроено так: застеклена крыша над двориком — вот и все.

Это — испанский тип домов, завезенный сюда завоевателями.

От старого восьмисотлетнего Мехико,— когда все это пространство, занимаемое городом, было озеро, обнесенное вулканами, и только на островочке стояло пуэбло, своеобразный город-дом-коммуна, тысяч на 40 человек,— от этого ацтекского города не осталось и следа.

Зато масса дворцов и домов первого завоевателя Мексики — Кортеса и его эпохи, недолгого царя Итурбиды, да церкви, церкви и монастыри. Их много больше 10 000 расставлено в Мексике.

И огромные новые соборы, вроде брата Нотр-Дама — кафедраля на площади Сокола,— до маленькой церковки в старом городе, без окон, заплесневевшей и зацветшей. Она брошена лет двести назад после сражения монахов с кем-то,— вот и стоит дворик, в котором

еще и сейчас валяется допотопное оружие, в том порядке — вернее, беспорядке,— в котором побросали его разбитые осажденные. И мимо огромных книг на деревянных подставках носятся летучие мыши и ласточки.

Правда, упомянутым кафедралем для молений пользуются мало — у кафедраля с одной стороны вход, а с другой — четыре выхода на четыре улицы. Мексиканские синьорины и синьориты пользуются собором как проходным двором для того, чтобы, оставив в ждущем шофере впечатление религиозной невинности, выскользнуть с другой стороны в объятия любовника или под руку поклонника.

Хотя церковные земли конфискованы, процессии религиозные запрещены правительством, но это остается только на бумаге. На деле, кроме попов, религию блюдут и множество своеобразных организаций: «Рыцари Колумба», «Общество дам-католичек», «Общество молодых католиков» и т. д.

Это — дома и здания, на которых останавливаются гиды и Куки. Дома истории — дома попов и дома богатых.

Коммунисты показывали мне кварталы бедняков, мелких подмастерьев, безработных. Эти домики лепятся друг к другу, как ларьки на Сухаревке, но с еще большей грязью. В этих домах нет окон, и в открытые двери видно, как лепятся семьи из восьми, из десяти человек в одной такой комнатке.

Во время ежедневных летних мексиканских дождей вода заливает протоптанные ниже тротуаров полы и стоит вонючими лужами.

Перед дверьми мелкие худосочные дети едят вареный маис, продающийся здесь же и хранящийся теплым под грязными тряпками, на которых ночью спит сам торговец.

Взрослые, у которых есть еще 12 сантимов, сидят в «пулькерии» — этой своеобразной мексиканской пивной, украшенной коврами сарапе, с изображением генерала Боливара, с пестрыми лентами или стеклярусами вместо дверей.

Кактусовый пульке, без еды, портит сердце и желудок. И уже к сорока годам индеец с одышкой, индеец с одутловатым животом. И это — потомок стальных Ястребиных Когтей, охотников за скальпами! Это — обо-

бранная американскими цивилизующими империалистами страна — страна, в которой до открытия Америки валяющееся серебро даже не считалось драгоценным металлом,— страна, в которой сейчас не купишь и серебряного фунта, а должен искать его на Волстрит в Нью-Йорке. Серебро американское, нефть американская. На севере Мексики во владении американцев и густые железные дороги и промышленность по последнему техническому слову.

А экзотика — на кой она черт! Лианы, попугаи, тигры и малярии, это — на юге, это — мексиканцам. Что американцам? Тигров, что ли, ловить да стричь шерсть на кисточки для бритья?

Тигры — это мексиканцам. Им — голодная экзотика.

Самая богатая страна мира, уже посаженная североамериканским империализмом на голодный паек.

Жизнь города начинается поздно, в 8—9 часов.

Открываются рынки, слесарные, сапожные и портняжные мастерские, все электрифицированные, со станками для опиливания и крашенья каблуков, с утюгами для глаженья сразу всего костюма. За мастерскими — правительственные учреждения.

Масса такси и частных автомобилей вперемежку с демократическими тряскими грузными автобусами, не комфортабельней и не вместительней нашего грузового полка.

Авто конкурируют с автобусами и авто разных фирм между собой.

Эта конкуренция при больше чем страстном характере испанцев-шоферов приобретает прямо боевые формы.

Авто гоняется за авто, авто вместе гоняются за автобусом, а все сообща въезжают на тротуары, охотясь за необдуманными пешеходами.

Мехико-сити — первый в мире город по количеству несчастных случаев от автомобилей.

Шофер в Мексике не отвечает за увечья (берегись сам!), поэтому средняя долгота житья без увечий десять лет. Раз в десять лет давят каждого. Правда, есть и нераздавленные в течение двадцати лет, но это за счет тех, которые в пять лет уже раздавлены.

В отличие от врагов мексиканского человечества — автомобилей — трамваи исполняют гуманную роль. Они развозят покойников.

Часто видишь необычное зрелище. Трамвай с плачущими родственниками, а на прицепе-катафалке покойник. Вся эта процессия жарит вовсю с массой звонков, но без остановок.

Своеобразная электрификация смерти!

Сравнительно с Соединенными Штатами народу на улицах мало — домишки маленькие с садами, протяжение города огромное, а жителей всего 600 тысяч.

Уличных реклам мало. Только ночью врезается одна. Мексиканец из электрических лампочек накидывает лассо на коробку папирос. Да все такси украшены изогнувшейся в плавании женщиной — реклама купальных костюмов.

Единственная реклама, которую любит малоудивляющийся мексиканец, это «барата» — распродажа. Этими распродажами заполнен город. Самые солидные фирмы обязаны ее объявлять — без распродажи мексиканца не заставишь купить даже фиговый лист.

В мексиканских условиях это не шутка. Говорят, муниципалитет повесил на одной из застав, вводящих в Мехико-сити, для усовещевания чересчур натуральных индейцев вывеску:

В МЕХИКО-СИТИ
БЕЗ ШТАНОВ
ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Магазинная экзотика есть, но она для дураков, для заезжих, скупающих сувениры, сухопарых американок. К их услугам прыгающие бобы, чересчур яркие сарапе, от которых будут шарахаться все ослы Гвадалахары, сумочки с тисненым ацтекским календарем, открытки с попугаями из настоящих попугайских перышек. Мексиканец чаще останавливается перед машинными магазинами немцев, бельевыми — французов, мебели — американцев.

Иностранных предприятий бесконечное количество. Когда в праздник 14 июля французские лавки подняли флаги, то густота их заставила думать, что мы во Франции.

Наибольшими торговыми симпатиями пользуются Германия, немцы.

Говорят, что немец может проехать по стране, пользуясь всеобщим хлебосольством только из любви к его

национальности. Недаром в самой распространенной здесь газете я видел типографские машины, привезенные недавно, только с немецкими клеймами,— хотя до Америки сутки, а до Гамбурга езды 18 дней.

До 5—6 часов служба, работа. Потом к вертушкам. Перед парикмахерскими в Америке вертушки — стеклянный цилиндр с разноцветными спиралями, реклама мексиканских парикмахерских. Другие — в чистильню сапог. Длинный магазин с подставками для ног перед высокими стульями. Чистильщиков на 20.

Мексиканец франтовит — я видел рабочих, которые душатся. Мексиканка ходит неделю в дырах, чтоб в воскресенье разодеться в шелка. С семи часов центральные улицы загораются электричеством, которого здесь жгут больше, чем где бы то ни было,— во всяком случае больше, чем позволяют средства мексиканского народа. Своеобразная агитация за крепость и благополучие существования под нынешним президентом.

В 11 часов, когда кончаются театры и кино, остаются несколько кафе да загородные и окраинные подвальные кабачки,— ходьба начинает становиться небезопасной. В сад Чапультапек, в котором дворец президента, уже не пускают.

По городу горох выстрелов. Сбежавшаяся полиция не всегда обнаруживает убийство. Чаще всего стреляют в трактирах, пользуясь кольтом как штопором. Отшибают бутылочьи горлышки. Стреляют просто из авто, для шума. Стреляют на пари — тянут жребий, кто кого будет застреливать,— вынувший застреливает честно. В саду Чапультапек стреляют обдуманно. Президент приказал не впускать в сад с темнотой (в саду президентский дворец), стрелять после третьего предупреждения. Стрелять не забывают, только иногда забывают предупреждать. Газеты об убийствах пишут с удовольствием, но без энтузиазма. Но зато, когда день обошелся без смерти, газета публикует с удивлением: «С е г о д н я   у б и й с т в   н е   б ы л о».

Любовь к оружию большая. Обычай дружеского прощания такой: становишься животом к животу и похлопываешь по спине. Впрочем, похлопываешь ниже и в заднем кармане брюк всегда прохлопнешь увесистый кольт.

Это у каждого от 15 до 75-летнего возраста.

КАПЛЯ ПОЛИТИКИ. Капля — потому что это не моя специальность, потому что жил в Мексике мало, а писать об этом надо много.

Политическая жизнь Мексики считается экзотической, потому что отдельные факты ее на первый взгляд неожиданны, а проявления необычны.

Чехарда президентов, решающий голос кольта, никогда не затухающие революции, сказочное взяточничество, героизм восстаний, распродажа правительств — все это есть в Мексике, и всего вдоволь.

Прежде всего о слове «революционер». В мексиканском понятии это не только тот, кто, понимая или угадывая грядущие века, дерется за них и ведет к ним человечество,— мексиканский революционер — это каждый, кто с оружием в руках свергает власть — какую, безразлично.

А так как в Мексике каждый или свергнул, или свергает, или хочет свергнуть власть, то все революционеры.

Поэтому это слово в Мексике ничего не значит, и, прочтя его в газете в применении к южноамериканской жизни, надо спрашивать дальше и глубже. Я видел много мексиканских революционеров, от молодых энтузиастов-комсомольцев, до времени прячущих кольт, ждущих, чтобы и Мексика пошла по нашему октябрьскому пути, от этих и до 65-летних стариков, копящих миллионы для подкупа к выступлению, за которым самому мерещится президентский пост.

Всего в Мексике около 200 партий — с музейными партийными курьезами вроде «партии революционного воспитания» Рафаэля Майена, имеющей и идеологию, и программу, и комитет, но состоящей всего из него одного, или вроде прогоревших лидеров, предлагающих городскому управлению вымостить за свой счет целую улицу, только чтоб хотя б один переулок был назван их именем.

Для рабочего зрения интересна «лабористская» партия. Это мирная «рабочая партия», по духу близкая североамериканскому Гомперсу, лучший показатель того, как дегенерируют реформистские партии, заменивши революционную борьбу торговлей из-за министерских портфелей, благородными речами с трибуны и торгово-политическими махинациями в кулуарах.

Интересна фигура деятеля этой партии, министра труда Моронеса, которого все журналы рисуют не иначе как с горящими бриллиантами во всех грудях и манжетах.

К сожалению, я не могу дать достаточного очерка жизни коммунистов Мексики.

Я жил в Мехико-сити, центре официальной политики,— рабочая же жизнь концентрировалась севернее в нефтяном центре Тампико, на рудниках штата Мексико, среди крестьян штата Вера-Круц. Могу только вспомнить несколько встреч с товарищами.

Товарищ Гальван, представитель Мексики в Крестинтерне, организовал в Вера-Круц первую сельскохозяйственную коммуну с новыми тракторами и с попытками нового быта. Он как настоящий энтузиаст рассказывает о своей работе, раздает фотографии и даже читает стихи о коммуне.

Товарищ Карйо, еще совсем молодой, но один из лучших теоретиков коммунизма — и секретарь, и казначей, и редактор, и все что угодно в одно и то же время.

Герреро — индеец. Коммунист-художник. Прекрасный политический карикатурист, владеющий и карандашом и лассо.

Товарищ Морено. Депутат от штата Вера-Круц.

Морено вписал в мою книжку, прослушав «Левый марш» (к страшному сожалению, эти листки пропали «по независящим обстоятельствам» н а а м е р и к а н с к о й г р а н и ц е):

«Передайте русским рабочим и крестьянам, что пока мы еще только слушаем ваш марш, но будет день, когда за вашим маузером загремит и наше «33» (калибр кольта).

Кольт загремел, но, к сожалению, не мореновский, а в Морено.

Уже находясь в Нью-Йорке, я прочел в газете, что товарищ Морено убит правительственными убийцами.

Компартия Мексики мала; на полтора миллиона пролетариев — около двух тысяч коммунистов, но из этого числа только товарищей триста активных работников.

Но влияние коммунистов растет и распространяется далеко за пределы партии — коммунистический орган «Эль мачете» имеет пятитысячный фактический тираж.

Еще один факт. Товарищ Монсон уже в федеральном сенате стал коммунистом, будучи послан в сенат лаборнстами штата Сан-Лунс Потоси. Его дважды вызывала его бывшая партня для отчета — ои не показывался, занятый делами компартии. Тем ие менее, его не могут лишнть полномочий благодаря его огромной популярностн в рабочей массе.

Эксцентричность политики Мексики, ее необычность на первый взгляд — объясняется тем, что корни ее надо искать не только в экономике Мексики, но и в расчетах и вожделениях Соединенных Штатов, и главным образом в нних. Есть презнденты, которые президентствовали чуть не час, так что когда являлнсь интервьюеры, презндент был уже свергнут и отвечал с раздражением: «Разве вы не знаете, что я был выбран всего на полтора часа».

Такая быстрая смена объясняется отнюдь не живым темпераментом испанцев, а тем, что такого презндента выбирают по соглашению со Штатами для спешного и покорного проведения какого-нибудь закона, защищающего американские интересы. С 1824 года (выбор первого президента Мексики, генерала Гвадалупе) за 30 лет сменилось 37 президентов н 5 раз радикально менялась констнтуцня. Прикиньте еще, что из этих тридцати семи тридцать были генералами, а значит, каждое новое вступление сопровождалось оружием, и вам станет немного ясней вулканнческая картина Мексикн.

В соответствии с этнм и прнемы борьбы мексиканские.

Перед голосованием, предвидя у противника большинство голосов, лихие делегаты крадут обладателей лишних голосов противной партии и держат до принятия резолюций.

Это не снстема, но бывает. Генерал вызывает в гости другого, и за кофе — сентиментальный, как и все испанцы,— уже сжимая револьверную рукоять, со слезами уговаривает коллегу:

— Пей, пей, это последняя чашка кофе в твоей жизни.

Конец одиого нз генералов ясеи.

Только в Мексике могут быть такие истории, как история генерала Бланча, позднее рассказанная мне уже в американском Ларедо. Бланча брал города в компании

десяти товарищей, сгоняя с гор тысячный табун лошадей. Население города разбегалось и сдавалось, воображая тысячный отряд, справедливо думая, что лошадям одним незачем брать город. Но лошади брали потому, что их гнал Бланча. Бланча был неуловим, то дружа с американцами против мексиканцев, то с мексиканцами против американцев.

Его поймали на женщине. Подосланная красавица выманила его на мексиканскую сторону и в трактире всыпала ему и его товарищу какую-то сонную дрянь. Его сковали вместе с товарищем и бросили скованных в реку, делящую два Ларедо, стреляя из кольтов с лодок.

Очнувшийся от холода, силач-великан Бланча сумел порвать наручники, но его тянул прикованный товарищ.

Их тела вытащили только через несколько дней.

Много идей взлетает искрами от этих сшибающихся людей, отрядов, партий.

Но одна идея объединяет всех, это — жажда освобождения, ненависть к поработителям, к жестоким «гринго», сделавшим из Мексики колонию, отрезавшим половину территории (так что есть города, половина которых мексиканская, вторая — американская),— к американцам, стотридцатимиллионной тушей придавившим двенадцатимиллионный народ.

«Гачупин» и «гринго» — два высших ругательства в Мексике.

«Гачупин» — это испанец. За 500 лет со времени вторжения Кортеса это слово потухло, тлеет, потеряло остроту.

Но «гринго» и сейчас звенит как пощечина (когда врывались в Мексику американские войска, они пели:

Грин-гоу
ди рошес ов...

старая солдатская песня, и по первым словам сократилось ругательство).

Случай:

мексиканец на костылях. Идет с женщиной. Женщина — англичанка. Встречный. Смотрит на англичанку и орет:

— Гринигоу!

Мексиканец оставил костыль и вынул кольт.

— Возьми обратно свои слова, собака, или я просверлю тебя на месте.

Полчаса извинений, дабы сгладить страшное незаслуженное оскорбление. Конечно, в этой ненависти к гринго не совсем правильное отождествление понятий — «каждый американец» и «эксплуататор». Неправильное и вредное понимание «нации» так часто парализовало борьбу мексиканцев.

Мексиканские коммунисты знают, что:

500 мексиканских нищих племен,
а сытый,
с одним языком,
одной рукой выжимает в лимон,
одним запирает замком.

Все больше понимают трудящиеся Мексики, что только товарищи Морена знают, куда направить национальную ненависть, на какой другой вид ненависти перевесть ее.

Нельзя
борьбе
в племена рассекаться.
Нищий с нищими
рядом,
Несись
по земле
из страны мексиканцев
родивший крик
«Камарада»!

Все больше понимают трудящиеся (первомайская демонстрация — доказательство), что́ делать, чтобы свергнутые американские эксплуататоры не заменились отечественными.

Скинь
с горба
толстопузых обузу,
ацтек,
креол
и метис.
Скорее
над мексиканским арбузом,
багровое знамя, взметись.

«Арбузом» называется мексиканское знамя. Есть предание: отряд повстанцев, пожирая арбуз, думал о национальных цветах.

Необходимость быстрой переброски не дала долго задумываться.

— Сделаем знамя — арбуз,— решил выступающий отряд.

И пошло: зеленое, белое, красное — корка, прослойка, сердцевина.

Я уезжал из Мексики с неохотой. Все то, что я описал, делается чрезвычайно гостеприимными, чрезвычайно приятными и любезными людьми.

Даже семилетний Хесус, бегающий за папиросами, на вопрос об имени неизменно отвечал:

— Хесус Пупито, ваш покорный слуга.

Мексиканец, давая свой адрес, никогда не скажет: «Вот мой адрес». Мексиканец оповещает:

«Вы теперь знаете, где ваш дом».

Предлагая сесть в авто, говорит:

«Прошу вас сесть в свой автомобиль»,

А письма, даже не к близкой женщине, подписываются:

«Целую следы ваших ног».

Похвалить вещь в чужом доме нельзя — ее заворачивают вам в бумажку.

Дух необычности и радушие привязали меня к Мексике.

Я хочу еще быть в Мексике, пройти с товарищем Хайкисом еще Мореном намеченную для нас дорогу: из Мехико-сити в Вера-Круц, оттуда два дня на юг поездом, день на лошадях — и в непроезжеиный тропический лес с попугаями без счастья и с обезьянами без жилетов.

НЬЮ-ЙОРК

НЬЮ-ЙОРК.— Москва. Это в Польше? — спросили меня в американском консульстве Мексики.

— Нет,— отвечал я,— это в СССР.

Никакого впечатления.

Визу дали.

Позднее я узнал, что если американец заостряет только кончики, так он знает это дело лучше всех на свете, но он может никогда ничего не слыхать про игольи ушки. Игольи ушки — не его специальность, и он не обязан их знать.

Ларедо — граница С.А.С.Ш.

Я долго объясняю на ломанейшем (просто осколки) полуфранцузском, полуанглийском языке цели и права своего въезда.

Американец слушает, молчит, обдумывает, не понимает и, наконец, обращается по-русски:

— Ты — жид?

Я опешил.

В дальнейший разговор американец не вступил за неимением других слов.

Помучился и минут через десять выпалил:

— Великоросс?

— Великоросс, великоросс,— обрадовался я, установив в американце отсутствие погромных настроений. Голый анкетный интерес. Американец подумал и изрек еще через десять минут:

— На комиссию.

Один джентльмен, бывший до сего момента штатским пассажиром, надел форменную фуражку и оказался иммиграционным полицейским.

Полицейский всунул меня и вещи в автомобиль. Мы подъехали, мы вошли в дом, в котором под звездным знаменем сидел человек без пиджака и жилета.

За человеком были другие комнаты с решетками. В одной поместили меня и вещи.

Я попробовал выйти, меня предупредительными лапками загнали обратно.

Невдалеке засвистывал мой нью-йоркский поезд. Сижу четыре часа.

Пришли и справились, на каком языке буду изъясняться.

Из застенчивости (неловко не знать ни одного языка) я назвал французский.

Меня ввели в комнату.

Четыре грозных дяди и француз-переводчик.

Мне ведомы простые французские разговоры о чае и булках, но из фразы, сказанной мне французом, я не понял ни черта и только судорожно ухватился за последнее слово, стараясь вникнуть интуитивно в скрытый смысл.

Пока я вникал, француз догадался, что я ничего не понимаю, американцы замахали руками и увели меня обратно.

Сидя еще два часа, я иашел в словаре последиее слово фраицуза.

Оио оказалось:

— Клятва.

Клясться по-фраицузски я ие умел и поэтому ждал, пока иайдут русского.

Через два часа пришел фраицуз и возбуждеино утешал меия:

— Русского иашли. Бои гарсои.

Те же дяди. Переводчик — худощавый флегматичиый еврей, владелец мебельиого магазииа.

— Мие иадо клясться,— робко заикиулся я, чтобы иачать разговор.

Переводчик равиодушио махиул рукой:

— Вы же скажете правду, если ие хотите врать, а если же вы захотите врать, так вы же все равио ие скажете правду.

Взгляд резоииый.

Я иачал отвечать иа сотии аикетиых вопросов: девичья фамилия матери, происхождеиие дедушки, адрес гимиазии и т. п. Совершеиио позабытые вещи!

Переводчик оказался влиятельиым человеком, а, дорвавшись до русского языка, я, разумеется, поиравился переводчику.

Короче: меня впустили в страиу иа 6 месяцев как туриста под залог в 500 долларов.

Уже через полчаса вся русская колоиия сбежалась смотреть меия, вперебой поражая гостеприимством.

Владелец малеиькой сапожиой, усадив иа иизкий стул для примерок, демоистрировал фасоны башмаков, таскал студеиую воду и радовался:

— Первый русский за три года! Три года иазад поп заезжал с дочерьми, сиачала ругался, а потом (я ему двух дочек в шаитаи таицевать устроил) говорит: «Хотя ты и жид, а человек симпатичиый, зиачит в тебе совесть есть, раз ты батюшку устроил».

Меия перехватил бельевщик, продал две рубашки по два доллара по себестоимости (одии доллар — рубашка, одии — дружба), потом, растрогаииый, повел через весь городок к себе домой и заставил пить теплое виски из едииствеииого стакаиа для полоскаиия зубов — пятиистого и разящего одолью.

Первое знакомство с американским сухим противопитейным законом — «прогибишен». Потом я вернулся в мебельный магазин переводчика. Его брат отстегнул веревочку с ценой на самом лучшем зеленом плюшевом диване магазина, сам сел напротив на другом, кожаном с ярлыком: 99 долларов 95 центов (торговая уловка — чтобы не было «сто»).

В это время вошла четверка грустных евреев: две девушки и двое юношей.

— Испанцы,— укоризненно рекомендует брат.— Из Винницы и из Одессы. Два года сидели на Кубе в ожидании виз. Наконец, доверились аргентинцу — за 250 долларов взявшемуся перевезти.

Аргентинец был солиден и по паспорту имел четырех путешествующих детей. Аргентинцам не нужна виза. Аргентинец перевез в Соединенные Штаты четыреста или шестьсот детей — и вот попался на шестьсот четвертых.

Испанец сидит твердо, за него уже неизвестные сто тысяч долларов в банк кладут — значит крупный.

А этих брат на поруки взял, только зря — досудят и все равно вышлют.

Это еще крупный промышленник — честный. А тут и мелких много, по сто долларов берутся из мексиканского Ларедо в американский переправить. Возьмут сто, до середины довезут, а потом топят.

Многие прямо на тот свет эмигрировали.

Это — последний мексиканский рассказ.

Рассказ брата о брате, мебельщике, первый — американский. Брат жил в Кишиневе. Когда ему стало 14 лет, он узнал понаслышке, что самые красивые женщины — в Испании. Брат бежал в этот же вечер, потому что женщины были ему нужны самые красивые. Но до Мадрида он добрался только в 17 лет. В Мадриде красивых женщин оказалось не больше, чем в каждом другом месте, но они смотрели на брата даже меньше, чем аптекарши в Кишиневе. Брат обиделся и справедливо решил, что для обращения сияния испанских глаз в его сторону ему нужны деньги. Брат поехал в Америку еще с двумя бродягами, но зато с одной парой башмаков на всех троих. Он сел на пароход, не на тот, на который нужно, а на который сесть удалось. По прибы-

тии Америка неожиданно оказалась Англией, и брат по ошибке засел в Лондоне. В Лондоне трое босых собирали окурки, трое голодных делали из окурочного табаку новые папиросы, а потом один (каждый по очереди), облекшись в башмаки, торговал по набережной. Через несколько месяцев табачная торговля расширилась за пределы окурковых папирос, горизонт расширился до понимания местонахождения Америки и благополучие — до собственных башмаков и до билета третьего класса в какую-то Бразилию. По дороге на пароходе выиграл в карты некоторую сумму. В Бразилии торговлей и игрой он раздул эту сумму до тысяч долларов.

Тогда, взяв все имевшееся, брат отправился на скачки, пустив деньгу в тотализатор. Нерадивая кобыла поплелась в хвосте, мало беспокоясь об обнищавшем в 37 секунд брате. Через год брат, перемахнув в Аргентину, купил велосипед, навсегда презрев живую натуру.

Насобачившись на велосипеде, неугомонный кишиневец ввязался в велосипедные гонки.

Чтобы быть первым, пришлось сделать маленькую вылазку на тротуар,— минута была выиграна, зато случайно зазевавшаяся старуха свергнута гонщиком в канаву.

В результате весь крупный первый приз пришлось отдать помятой бабушке.

Брат с горя ушел в Мексику и разгадал нехитрый закон колониальной торговли,— надбавка 300: 100% — на наивность, 100% — на расходы и 100% — спертое при рассрочке платежа.

Сбив опять некоторую толику — перешли на американскую, всякой наживе покровительствующую сторону.

Здесь брат не погрязает ни в какое дело, он покупает маловаренный завод за 6 и перепродает за 9 тысяч. Он берет магазин и передает его, за месяц учуяв крах. Сейчас он — уважаемейшее лицо города: он — председатель десятков благотворительных обществ, он, когда приезжала Павлова, за один ужин заплатил триста долларов.

— Вот он,— показал восхищенный рассказчик на улицу. Брат носился в новом авто, так и так пробуя его; он продавал свою машину за семь и бросался на эту в двенадцать.

На тротуаре подобострастно стоял человек, улыбался, чтобы видели золотые коронки, и, не останавливая глаз, стрелял ими за машиной.

— Это — молодой галантерейщик,— объяснили мне.— Он с братом здесь всего четыре года, а уже два раза в Чикаго за товаром ездил. А брат — ерунда, какой-то греческий, все поэзию пишет, его в соседний город учителем определили, все равно толку не будет.

В радости русскому, с фантастическим радушием водил меня мой новый знакомец по улицам Ларедо.

Он забегал передо мной, открывая двери, кормил меня длиннейшим обедом, страдал при едином намеке на оплату с моей стороны, вел меня в кино, смотря только на меня и радуясь, если я смеюсь,— все это без малейшего представления обо мне, только за одно слово—москвич.

Мы шли на вокзал по темным пустеньким улицам — по ним, как всегда в провинции, разыгралась свободная административная фантазия. В асфальте (чего я никогда не видел даже в Нью-Йорке) белые полосы точно указывали место перехода граждан, огромные белые стрелки давали направление несуществующим толпам и автомобилям, и за неуместный переход по пустеющим улицам взимался чуть не пятидесятирублевый штраф. На вокзале я понял все могущество мебельного брата. От Ларедо до Сан-Антонио всю ночь будят пассажиров, проверяют паспорта в погоне за безвизными перебежчиками. Но я был показан комиссару, и я безмятежно проспал первую американскую ночь, вселяя уважение пульмановским вагонным неграм.

Утром откатывалась Америка, засвистывал экспресс, не останавливаясь, вбирая хоботом воду на лету. Кругом вылизанные дороги, измурашенные фордами, какие-то строения технической фантастики. На остановках виднелись техасские ковбойские дома с мелкой сеткой от комаров и москитов в окнах, с диванами-гамаками на огромных террасах. Каменные станции, перерезанные ровно пополам: половина для нас, белых, половина — для черных, «фор нигрос», с собственными деревянными стульями, собственной кассой — и упаси вас даже случайно залезть на чужую сторону!

Поезда бросались дальше. С правого боку взвивался аэро, перелетал на левую, вздымался опять, перемахнув через поезд, и несся опять по правой.

Это — сторожевые пограничные американские аэропланы.

Впрочем, почти единственно виденные мной в Соединенных Штатах.

Следующие я видел только в трехдневных аэрогонках в ночной рекламе над Нью-Йорком.

Как ни странно, авиация развита здесь сравнительно мало.

Могущественные железнодорожные компании даже каждую воздушную катастрофу смакуют и используют для агитации против полетов.

Так было с разорванным пополам (уже в мою бытность в Нью-Йорке) воздушным кораблем Шенандоу, когда тринадцать человек спаслись, а семнадцать вслизились в землю вместе с окрошкой оболочки и стальных тросов.

И вот в Соединенных Штатах почти нет пассажирских полетов.

Может, только сейчас мы накануне летающей Америки. Форд выпустил первый свой аэроплан и поставил его в Нью-Йорке в универсальном магазине Ванамекер,— там, где много лет назад был выставлен первый авто-фордик.

Ньюйоркцы влазят в кабину, дергают хвост, гладят крылья,— но цена в 25 000 долларов еще заставляет отступать широкого потребителя. А пока что аэропланы взлетали до Сан-Антонио, потом пошли настоящие американские города. Мелькнула американская Волга — Миссисипи, огорошил вокзал в Сан-Луисе, и новью в просветах двадцатиэтажных небоскребов Филадельфии уже сияло настоящее дневное рекламное нежалеемое, неэкономимое электричество.

Это был разбег, чтобы мне не удивляться Нью-Йорку. Больше, чем вывороченная природа Мексики поражает растениями и людьми, ошарашивает вас выплывающий из океана Нью-Йорк своей навороченной стройкой и техникой. Я въезжал в Нью-Йорк с суши, ткнулся лицом только в один вокзал, но хотя и был приучаем трехдневным проездом по Техасу — глаза все-таки растопырил.

Много часов поезд летит по Гудзонову берегу шагах в двух от воды. По той стороне — другие дороги у са-

мого подножья Медвежьих гор. Гуще прут пароходы и пароходики. Чаще через поезд перепрыгивают мосты. Непрерывней прикрывают вагонные окна встающие стены — пароходных доков, угольных станций, электрических установок, сталелитейных и медикаментных заводов. За час до станции въезжаешь в непрерывную гущу труб, крыш, двухэтажных стен, стальных ферм воздушной железной дороги. С каждым шагом на крыши нарастает по этажу. Наконец дома подымаются колодезными стенками с квадратами, квадратиками и точками окон. Сколько ни задирай головы — нет верхов. От этого становится еще теснее, как будто щекой трешься об этот камень. Растерянный, опускаешься на скамейку — нет надежд, глаза не привыкли видеть такое; тогда остановка — Пенсильвэния-стэйшен.

На платформе — никого, кроме негров-носильщиков. Лифты и лестницы вверх. Вверху — несколько ярусов галерей, балконов с машущими платками встречающей и провожающей массы.

Американцы молчат (или, может быть, люди только кажутся такими в машинном грохоте), а над американцами гудят рупоры и радио о прибытиях и отправлениях.

Электричество еще двоится и троится белыми плитками, выстилающими безоконные галереи и переходы, прерывающиеся справочными бюро, целыми торговыми рядами касс и никогда не закрывающимися всеми магазинами — от мороженных и закусочных до посудных и мебельных.

Едва ли кто-нибудь представляет себе ясно целиком весь этот лабиринт. Если вы приехали по делу в контору, находящуюся версты за три в Дантауне — в банковском, деловом Нью-Йорке, в каком нибудь пятьдесят третьем этаже Вульворт Бильдинг и у вас совиный характер — вам незачем вылазить из-под земли. Здесь же, под землей, вы садитесь в вокзальный лифт, и он взвивает вас в вестибюль Пенсильвэния-отель, гостиницы с двумя тысячами всевозможных номеров.

Все, что нужно торгующему гражданину: почты, банки, телеграфы, любые товары — все найдешь здесь, не выходя за пределы отеля.

Здесь же снлят какие-то смышленые маменьки с недвусмысленными дочерьми.

Иди танцуй.

Шум и табачный чад, как в долгожданном антракте громадного театра после длинной скучной пьесы.

Тот же лифт опустит вас к подземке (собвей), берите экспресс, который рвет версты почище поезда. Слезаете вы в нужном вам доме. Лифт завинчивает вас в нужный этаж без всяких выходов на улицу. Та же дорога вывертит вас обратно на вокзал, под потолок-небо пенсильванского вокзала, под голубое небо, по которому уже горят Медведицы, Козерог и прочая астрономия. И сдержанный американец может ехать в ежеминутных поездах к себе на дачную качалку-диван, даже не взглянув на гоморный и содомный Нью-Йорк.

Еще поразительнее возвышающийся несколькими кварталами вокзал Гранд-Централ.

Поезд несется по воздуху на высоте трех-четырех этажей. Дымящий паровоз сменен чистеньким, не плюющимся электровозом,— и поезд бросается под землю. С четверть часа под вами еще мелькают увитые зеленью решетки просветов аристократической тихой Парк-Авеню. Потом и это кончается, и полчаса длится подземный город с тысячами сводов и черных тоннелей, заштрихованных блестящими рельсами, долго бьется и висит каждый рев, стук и свист. Белые блестящие рельсы становятся то желтыми, то красными, то зелеными от меняющихся семафоров. По всем направлениям — задушенная сводами, кажущаяся путаница поездов. Говорят, что наши эмигранты, приехавшие из тихой русской Канады, сначала недоумевающе вперяются в окно, а потом начинают реветь и голосить:

— Пропали, братцы, живьем в могилу загнали, куда ж отсюда выберешься?

Приехали.

Над нами ярусы станционных помещений, под залами — этажи служб, вокруг — необозримое железо дорог, а под нами еще подземное трехэтажие собвея.

В одном из фельетонов «Правды» товарищ Поморский скептически высмеял вокзалы Нью-Йорка и поставил им в пример берлинские загоны — Цоо и Фридрихштрассе.

Не знаю, какие личные счеты у товарища Поморского с нью-йоркскими вокзалами, не знаю и технических

деталей, удобства и пропускных способностей, но внешне — пейзажно, по урбанистическому ощущению, нью-йоркские вокзалы — один из самых гордых видов мира.

Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК в осенние деловые дни, в будни.

6 утра. Гроза и дождь. Темно и будет темно до полудня.

Одеваешься при электричестве, на улицах — электричество, дома в электричестве, ровно прорезанные окнами, как рекламный плакатный трафарет. Непомерная длина домов и цветные мигающие регуляторы, движения двоятся, троятся и десятерятся асфальтом, до зеркала вылизанным дождем. В узких ущельях домов в трубе гудит какой-то авантюристичный ветер, срывает, громыхает вывесками, пытается свалить с ног и убегает безнаказанный, никем не задержанный, сквозь версты десятка авеню, прорезывающих Мангеттен (остров Нью-Йорка) вдоль — от океана к Гудзону. С боков подвывают грозе бесчисленные голосенки узеньких стритов, также по линеечному ровно режущих Мангеттен поперек от воды к воде. Под навесами,— а в бездождный день просто на тротуарах,— валяются кипы свежих газет, развезенные грузовиками заранее и раскиданные здесь газетчиками.

По маленьким кафе холостые пускают в ход машины тел, запихивают в рот первое топливо — торопливый стакан паршивого кофе и заварной бублик, который тут же в сотнях экземпляров кидает бубликоделательная машина в кипящий и плюющийся котел сала.

Внизу сплошной человечиной течет, сначала до зари — черно-лиловая масса негров, выполняющих самые трудные, мрачные работы. Позже, к семи — непрерывно белые. Они идут в одном направлении сотнями тысяч к местам своих работ. Только желтые просмоленные дождевики бесчисленными самоварами шумят и горят в электричестве, намокшие, и не могут потухнуть даже под этим дождем.

Автомобилей, такси еще почти нет.

Толпа течет, заливая дыры подземок, выпирая в крытые ходы воздушных железных дорог, несясь по воздуху двумя по высоте и тремя параллельными воз-

душными курьерскими, почти безостановочными, и местными, через каждые пять кварталов останавливающимися поездами.

Эти пять параллельных линий по пяти авеню несутся на трехэтажной высоте, а к 120-й улице вскарабкиваются до восьмого и девятого,— и тогда новых, едущих прямо с площадей и улиц вздымают лифты. Никаких билетов. Опустил в высокую, тумбой, копилку-кассу 5 центов, которые тут же увеличивает лупа и показывает сидящему в будке меняле, во избежание фальши.

5 центов — и езжай на любое расстояние, но в одном направлении.

Фермы и перекрытия воздушных дорог часто ложатся сплошным навесом во всю длину улицы, и вам не видно ни неба, ни боковых домов,— только грохот поездов по голове да грохот грузовозов перед носом,— грохот, в котором действительно не разберешь ни слова и, чтобы не разучиться шевелить губами, остается безмолвно жевать американскую жвачку, чуингам.

Утром и в грозу лучше всего в Нью-Йорке — тогда нет ни одного зеваки, ни одного лишнего. Только работники великой армии труда десятимиллионного города.

Рабочая масса расползается по фабрикам мужских и дамских платьев, по новым роющимся тоннелям подземок, по бесчисленности портовых работ — и к 8 часам улицы заполняются бесчисленностью более чистых и холеных, с подавляющей примесью стриженых, голоколенных, с закрученными чулками сухопарых девиц — работниц контор и канцелярий и магазинов. Их раскидывают по всем этажам небоскребов Дантауна, по бокам коридоров, в которые ведет парадный ход десятков лифтов.

Десятки лифтов местного сообщения с остановкой в каждом этаже и десятки курьерских — без остановок до семнадцатого, до двадцатого, до тридцатого. Своеобразные часы указывают вам этаж, на котором сейчас лифт,— лампы, отмечающие красным и белым спуск и подъем.

И если у вас два дела — одно в седьмом, другое — в двадцать четвертом этаже,— вы берете местный (локал) до седьмого, и дальше, чтобы не терять целых шести минут — пересядьте в экспресс.

До часу стрекочут машины, потеют люди без пиджаков, растут в бумагах столбцы цифр.

Если вам нужна контора, незачем ломать голову над ее устройством.

Вы звоните в какое-нибудь тридцатиэтажие:

— Алло! Приготовить к завтраму контору в 6 комнат. Посадить двенадцать машинисток. Вывеска — «Великая и знаменитая торговля сжатым воздухом для тихоокеанских подводных лодок». Два боя в коричневых гусарках — шапки со звездными лентами, и двенадцать тысяч бланков, вышеупомянутого названия.

— Гуд бай.

Завтра вы можете идти в свою контору, и ваши телефонные мальчики будут вас восторженно приветствовать:

— Гау-ду-ю-ду, мистер Маяковский.

В час перерыв: на час для служащих и минут на пятнадцать для рабочих.

Завтрак.

Каждый завтракает в зависимости от недельной зарплаты. Пятнадцатидолларовые — покупают сухой завтрак в пакете за никель и грызут его со всем молодым усердием.

Тридцатипятидолларовые идут в огромный механический трактир, всунув 5 центов, нажимают кнопку, и в чашку выплескивается ровно отмеренный кофе, а еще два-три никеля открывают на огромных, уставленных едой полках одну из стеклянных дверок сандвичей.

Шестидесятидолларовые — едят серые блины с патокой и яичницу по бесчисленным белым, как ванная, Чайльдсам — кафе Рокфеллера.

Стодолларовые и выше идут по ресторанам всех национальностей — китайским, русским, ассирийским, французским, индусским — по всем, кроме американских безвкусных, обеспечивающих катары консервированным мясом Армора, лежащим чуть не с войны за освобождение.

Стодолларовые едят медленно — они могут и опоздать на работу,— и после ухода их под столом валяются пузырьки от восьмидесятиградусного виски (это прихваченный для компании); другой стеклянный или серебряный пузырек, плоский и формой облегающий ляжку, лежит в заднем кармане оружием любви и дружбы наравне с мексиканским кольтом.

Как ест рабочий?

Плохо ест рабочий.

Многих не видел, но те, кого видел, даже хорошо зарабатывающие, в пятнадцатиминутный перерыв успевают сглодать у стойка или перед заводской стеной на улице свой сухой завтрак.

Кодекс законов о труде с обязательным помещением для еды пока на Соединенные Штаты не распространился.

Напрасно вы будете искать по Нью-Йорку карикатурной, литературой прославленной организованности, методичности, быстроты, хладнокровия.

Вы увидите массу людей, слоняющихся по улице без дела. Каждый остановится и будет говорить с вами на любую тему. Если вы подымете глаза к небу и постоите минуту, вас окружит толпа, с трудом усовещеваемая полицейским. Способность развлекаться чем-нибудь иным, кроме биржи, сильно мирит меня с нью-йоркской толпой.

Снова работа до пяти, шести, семи вечера.

От пяти до семи самое бушующее, самое непроходимое время.

Окончившие труд еще разбавлены покупщиками, покупщицами и просто фланерами.

На людной 5-й авеню, делящей город пополам, с высоты второго этажа сотней катящихся автобусов вы видите политые прошедшим дождем и теперь сияющие лаком десятки тысяч в шесть — восемь рядов рвущихся в обе стороны автомобилей.

Каждые две минуты тушатся зеленые огни на бесчисленных уличных полицейских маяках и загораются красные.

Тогда машинный и человечий поток застывает на две минуты, чтобы пропустить рвущихся с боковых стритов.

Через две минуты опять на маяках загорается зеленый огонь, а дорогу боковым преграждает красный огонь на углах стритов.

Пятьдесят минут надо в этот час потратить на поездку, которая утром отняла бы четверть часа, и по две минуты надо простаивать пешеходу без всякой надежды пересечь немедля улицу.

Когда вы запаздываете перебежать и видите срывающуюся с цепи отстоявшую две минуты машинную лавину, вы, забыв про убеждения, скрываетесь под полицейское крыло,— крыло, так сказать: на самом деле это —

хорошая рука одного из самых высоких людей Нью-Йорка с очень увесистой палкой — клобом.

Эта палка не всегда регулирует чужое движение. Иногда она (во время демонстрации, например) — способ вашей остановки. Добрый удар по затылку, и вам все равно: Нью-Йорк ли это или царский Белосток,— так рассказывали мне товарищи.

С шести-семи загорается Бродвей — моя любимейшая улица, которая в ровных, как тюремная решетка, стритах и авеню одна своенравно и нахально прет наискось. Запутаться в Нью-Йорке трудней, чем в Туле. На север с юга идут авеню, на запад с востока — стриты. 5-я авеню делит город пополам на Вест и Ист. Вот и все. Я на 8-й улице, угол 5-й авеню, мне нужна 53-я, угол 2-й, значит пройди 45 кварталов и сверни направо, до угла 2-й.

Загорается, конечно, не весь тридцативерстный Бродвеище (здесь не скажешь: заходите, мы соседи, оба на Бродвее), а часть от 25-й до 50-й улицы, особенно Таймс-сквер,— это, как говорят американцы, Грэт-Уайт-Уэй — великий белый путь.

Он действительно белый, и ощущение действительно такое, что на нем светлей, чем днем, так как день весь светел, а этот путь светел, как день, да еще на фоне черной ночи. Свет фонарей для света, свет бегающих лампочками реклам, свет зарев витрин и окон никогда не закрывающихся магазинов, свет ламп, освещающих огромные малеваные плакаты, свет, вырывающийся из открывающихся дверей кино и театров, несущийся свет авто и элевейтеров, мелькающий под ногами в стеклянных окнах тротуаров свет подземных поездов, свет рекламных надписей в небе.

Свет, свет и свет.

Можно читать газету, и притом у соседа, и на иностранном языке.

Светло и в ресторанах и в театральном центре.

Чисто на главных улицах и в местах, где живут хозяева или готовящиеся к этому.

Там, куда развозят большинство рабочих и служащих, в бедных еврейских, негритянских, итальянских кварталах — на 2-й, на 3-й авеню, между первой и тридцатой улицами — грязь почище минской. В Минске очень грязно.

Стоят ящики со всевозможными отбросами, из которых нищие выбирают не совсем объеденные кости и куски. Стынут вонючие лужи и сегодняшнего и позавчерашнего дождя.

Бумага и гниль валяются по щиколку — не образно по щиколку, а по-настоящему, всамделишно.

Это в 15 минутах ходу, в 5 минутах езды от блестящей 5-й авеню и Бродвея.

Ближе к пристаням еще темней, грязней и опасней.

Днем это интереснейшее место. Здесь что-нибудь обязательно грохочет — или труд, или выстрелы, или крики. Содрогают землю краны, разгружающие пароход, чуть не целый дом за трубу выволакивающие из трюма.

Ходят пикетчики в забастовку, не допуская штрейкбрехеров.

Сегодня, 10 сентября, нью-йоркский юнион моряков порта объявил забастовку в солидарность бастующим морякам Англии, Австралии и Южной Африки, и в первый же день приостановилась выгрузка 30 огромных пароходов.

Третьего дня, несмотря на забастовку, на пароходе «Мажестик», приведенном штрейкбрехерами, приехал богатый адвокат, лидер (здешних меньшевиков) социалистической партии Морис Хилквит, и тысячи коммунистов и членов Ай-добль-добль-ю свистели ему с берега и кидали тухлые яйца.

Еще через несколько дней здесь стреляли в приехавшего на какой-то конгресс генерала — усмирителя Ирландии,— и его выводили задворками.

А утром снова входят и разгружаются по бесчисленным пристаням бесчисленных компаний «Ля Франс», «Аквитания» и другие гиганты по 50 000 тонн.

Авеню, прилегающие к пристаням, из-за паровозов, въезжающих с товарами прямо на улицу, из-за грабителей, начиняющих кабачки,— зовутся здесь «Авеню смерти».

Отсюда поставляются грабители-голдапы на весь Нью-Йорк: в отели вырезывать из-за долларов целые семьи, в собвей — загонять кассиров в угол меняльной будки и отбирать дневную выручку, меняя доллары проходящей, ничего не подозревающей публике.

Если поймают — электрический стул тюрьмы Синг-Синг. Но можно и вывернуться. Идя на грабеж, бандит заходит к своему адвокату и заявляет:

— Позвоните мне, сэр, в таком-то часу туда-то. Если меня не будет, значит надо нести за меня залог и извлекать из узилища.

Залоги большие, но и бандиты не маленькие и организованы неплохо.

Выяснилось, например, что дом, оцененный в двести тысяч долларов, уже служит залогом в два миллиона, уплаченных за разных грабителей.

В газетах писали об одном бандите, вышедшем из тюрьмы под залог 42 раза. Здесь на Авеню смерти орудуют ирландцы. По другим кварталам другие.

Негры, китайцы, немцы, евреи, русские — живут своими районами со своими обычаями и языком, десятилетия сохраняясь в несмешанной чистоте.

В Нью-Йорке, не считая пригородов, 1 700 000 евреев (приблизительно),

1 000 000 итальянцев,

500 000 немцев,

300 000 ирландцев,

300 000 русских,

250 000 негров,

150 000 поляков,

300 000 испанцев, китайцев, финнов.

Загадочная картинка: кто же такие, в сущности говоря, американцы, и сколько их стопроцентных?

Сначала я делал дикие усилия в месяц заговорить по-английски; когда мои усилия начали увенчиваться успехом, то близлежащие (близстоящие, сидящие) и лавочник, и молочник, и прачечник, и даже полицейский — стали говорить со мной по-русски.

Возвращаясь ночью элевейтером, эти нации и кварталы видишь как нарезанные: на 125-й встают негры, на 90-й русские, на 50-й немцы и т. д., почти точно.

В двенадцать выходящие из театров пьют последнюю соду, едят последний айскрим и лезут домой в час или в три, если часа два потрутся в фокстроте или последнем крике «чарлстон». Но жизнь не прекращается,— так же открыты всех родов магазины, так же носятся собвей и элевейтеры, так же можете найти кино,

открытое всю ночь, и спите сколько влезет за ваши 25 центов.

Придя домой, если весной и летом, закройте окна от комаров и москитов и вымойте уши и ноздри и откашляйте угольную пыль. Особенно сейчас, когда четырехмесячная забастовка 158 000 шахтеров твердого угля лишила город антрацита и трубы фабрик коптят обычно запрещенным к употреблению в больших городах мягким углем.

Если вы исцарапались, залейтесь иодом: воздух нью-йоркский начинен всякой дрянью, от которой растут ячмени, вспухают и гноятся все царапины и которым все-таки живут миллионы ничего не имеющих и не могущих никуда выехать.

Я НЕНАВИЖУ НЬЮ-ЙОРК В ВОСКРЕСЕНЬЕ: часов в 10 в одном лиловом трико подымает штору напротив какой-то клерк. Не надевая, видимо, штанов, садится к окну с двухфунтовым номером в сотню страниц — не то «Ворлд», не то «Таймса». Час читается сначала стихотворный и красочный отдел реклам универсальных магазинов (по которому составляется среднее американское миросозерцание), после реклам просматриваются отделы краж и убийств.

Потом человек надевает пиджак и брюки, из-под которых всегда выбивается рубаха. Под подбородком укрепляется раз навсегда завязанный галстук цвета помеси канарейки с пожаром и Черным морем. Одетый американец с час постарается посидеть с хозяином отеля или со швейцаром на стульях на низких приступочках, окружающих дом, или на скамейках ближайшего лысого скверика.

Разговор идет про то, кто ночью к кому приходил, не слышно ли было, чтобы пили, а если приходили и пили, то не сообщить ли о них на предмет изгона и привлечения к суду прелюбодеев и пьяниц.

К часу американец идет завтракать туда, где завтракают люди богаче его, и где его дама будет млеть и восторгаться над пулярдкой в 17 долларов. После этого американец идет в сотый раз в разукрашенный цветными стеклами склеп генерала и генеральши Грант или,

скинув сапоги и пиджак, лежать в каком-нибудь скверике на прочитанном полотнище «Таймса», оставив после себя обществу и городу обрывки газеты, обертку чуингама и мятую траву.

Кто богаче — уже нагоняет аппетит к обеду, правя своей машиной, презрительно проносясь мимо дешевых и завистливо кося глаза на более роскошные и дорогие.

Особенную зависть, конечно, вызывают у безродных американцев те, у кого на автомобильной дверце баронская или графская золотая коронка.

Если американец едет с дамой, евшей с ним, он целует ее немедля и требует, чтобы она целовала его. Без этой «маленькой благодарности» он будет считать доллары, уплаченные по счету, потраченными зря и больше с этой неблагодарной дамой никуда и никогда не поедет,— и саму даму засмеют ее благоразумные и расчетливые подруги.

Если американец автомобилирует один, он (писаная нравственность и целомудрие) будет замедлять ход и останавливаться перед каждой одинокой хорошенькой пешеходкой, скалить в улыбке зубы и зазывать в автодиким вращением глаз. Дама, не понимающая его нервозности, будет квалифицироваться как дура, не понимающая своего счастия, возможности познакомиться с обладателем стосильного автомобиля.

Дикая мысль — рассматривать этого джентльмена как спортсмена. Чаще всего он умеет только править (самая мелочь), а в случае поломки — не будет даже знать, как накачать шину или как поднять домкрат. Еще бы — это сделают за него бесчисленные почнночные мастерские и бензинные киоски на всех путях его езды.

Вообще в спортсменство Америки я не верю.

Спортом занимаются главным образом богатые бездельницы.

Правда, президент Кулидж даже в своей поездке ежечасно получает телеграфные реляции о ходе бейсбольных состязаний между питсбургской командой и вашингтонской командой «сенаторов»; правда, перед вывешенными бюллетенями о ходе футбольных состязаний народу больше, чем в другой стране перед картой военных действий только что начавшейся войны,— но это не интерес спортсменов, это — хилый интерес азарт-

ного игрока, поставившего на пари свои доллары за ту или другую команду.

И если рослы и здоровы футболисты, на которых глядит тысяч семьдесят человек огромного нью-йоркского цирка, то семьдесят тысяч зрителей, это — в большинстве тщедушные и хилые люди, среди которых я кажусь Голиафом.

Такое же впечатление оставляют и американские солдаты, кроме вербовщиков, выхваляющих перед плакатами привольную солдатскую жизнь. Недаром эти холеные молодцы в минувшую войну отказывались влезть во французский товарный вагон (40 человек или 8 лошадей) и требовали мягкий, классный.

Автомобилисты и из пешеходов побогаче и поизысканнее в 5 часов гонят на светский или полусветский файф-о-клок.

Хозяин запасся бутылками матросского «джина» и лимонада «Джинжер Эйл», и эта помесь дает американское шампанское эпохи прогибишена.

Приходят девицы с завороченными чулками, стенографистки и модели.

Вошедшие молодые люди и хозяин, влекомые жаждой лирики, но мало разбирающиеся в ее тонкостях, острят так, что покраснеют и пунцовые пасхальные яйца, а потеряв нить разговора, похлопывают даму по ляжке с той непосредственностью, с которой, потеряв мысль, докладчик постукивает папиросой о портсигар.

Дамы показывают колени и мысленно прикидывают, сколько стоит этот человек.

Чтоб файф-о-клок носил целомудренный и артистический характер — играют в покер или рассматривают последние приобретенные хозяином галстуки и подтяжки.

Потом разъезжаются по домам. Переодевшись, направляются обедать.

Люди победнее (не бедные, а победнее) едят получше, богатые — похуже. Победнее едят дома свежекупленную еду, едят при электричестве, точно давая себе отчет в проглачиваемом.

Побогаче — едят в дорогих ресторанах поперченную портящуюся или консервную заваль, едят в полутьме потому, что любят не электричество, а свечи.

Эти свечи меня смешат.

Все электричество принадлежит буржуазии, а она ест при огарках.

Она неосознанно боится своего электричества.

Она смущена волшебником, вызвавшим духов и не умеющим с ними справиться.

Такое же отношение большинства и к остальной технике.

Создав граммофон и радио, они откидывают его плебсу, говорят с презрением, а сами слушают Рахманинова, чаще не понимают, но делают его почетным гражданином какого-то города и преподносят ему в золотом ларце — канализационных акций на сорок тысяч долларов.

Создав кино, они отшвыривают его демосу, а сами гонятся за оперными абонементами в опере, где жена фабриканта Мак-Кормик, обладающая достаточным количеством долларов, чтобы делать все, что ей угодно, ревет белугой, раздирая вам уши. А в случае неосмотрительности капельдинеров закидывается гнилым яблоком и тухлым яйцом.

И даже когда человек «света» идет в кино, он бессовестно врет вам, что был в балете или в голом ревю.

Миллиардеры бегут с зашумевшей машинами, громимой толпами 5-й авеню, бегут за город в пока еще тихие дачные углы.

— Не могу же я здесь жить,— капризно сказала мисс Вандербильд, продавая за 6 000 000 долларов свой дворец на углу 5-й авеню и 53-й улицы,— не могу я здесь жить, когда напротив Чайльдс, справа — булочник, а слева — парикмахер.

После обеда состоятельным — театры, концерты и обозрения, где билет первого ряда на голых дам стоит 10 долларов. Дуракам — прогулка в украшенном фонариками автомобиле в китайский квартал, где будут показывать обыкновенные кварталы и дома, в которых пьется обыкновеннейший чай — только не американцами, а китайцами.

Парам победнее — многоместный автобус на «Кони-Айланд» — Остров Увеселений. После долгой езды вы попадаете в сплошные русские (у нас американские) горы, высоченные колеса, вздымающие кабины, титанские киоски, с танцами и фоном — фотографией острова,

чертовы колеса, раскидывающие ступивших, бассейны для купающихся, катание на осликах — и все это в таком электричестве, до которого не доплюнуть и ярчайшей международной парижской выставке.

В отдельных киосках собраны все отвратительнейшие уроды мира — женщина с бородой, человек-птица, женщина на трех ногах и т. п.— существа, вызывающие неподдельный восторг американцев.

Здесь же постоянно меняющиеся, за грош нанимаемые голодные женщины, которых засовывают в ящик, демонстрируя безболезненное прокалывание шпагами; других сажают на стул с рычагами и электрифицируют, пока от их прикосновения к другому не посыплются искры.

Никогда не видел, чтобы такая гадость вызывала бы такую радость.

Кони-Айланд — приманка американского девичества.

Сколько людей целовалось в первый раз по этим вертящимся лабиринтам и окончательно решало вопрос о свадьбе в часовой обратной поездке собвеем до города!

Таким идиотским карнавалом кажется, должно быть, счастливая жизнь нью-йоркским влюбленным.

Выходя, я решил, что неудобно покинуть луна-парк, не испытав ни одного удовольствия. Мне было все равно, что делать, и я начал меланхолически накидывать кольца на вертящиеся фигурки кукол.

Я предварительно осведомился о цене удовольствия. Восемь колец — 25 центов.

Кинув колец шестнадцать, я благородно протянул доллар, справедливо рассчитывая половину получить обратно.

Торговец забрал доллар и попросил показать ему мою мелочь. Не подозревая ничего недоброго, я вынул из кармана доллара на три центов.

Колечник сгреб мелочь с ладони в карман и на мои возмущенные возгласы ухватил меня за рукав, потребовав предъявления бумажек. В удивлении, я вытащил имеющиеся у меня десять долларов, которые моментально сграбастал ненасытный увеселитель,— и только после мольб моих и моих спутников он выдал мне 50 центов на обратный путь.

Итого, по утверждению владельца милой игрушки, я должен был закинуть двести сорок восемь колец, т. е., считая даже по полминуты на каждое, проработать больше двух часов.

Никакая арифметика не помогла, а на мою угрозу обратиться к полицейскому мне было отвечено долго не смолкавшим грохотом хорошего, здорового смеха.

Полицейский, должно быть, усвоил себе из этой суммы — колец сорок.

Позднее мне объяснили американцы, что продавца надо было бить правильным ударом в нос, еще не получив и требования на второй доллар.

Если вам и тогда не возвращают денег, то все же уважают вас как настоящего американца, веселого «атта бой».

Воскресная жизнь кончается часа в два ночи, и вся трезвая Америка, довольно пошатываясь, во всяком случае возбужденно идет домой.

ЧЕРТЫ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ЖИЗНИ ТРУДНЫ.

Легко наговорить ни к чему не обязывающие вещи, избитые, об американцах вроде: страна долларов, шакалы империализма и т. д.

Это только маленький кадр из огромной американской фильмы.

Страна долларов — это знает каждый ученик первой ступени. Но если при этом представляется та погоня за долларом спекулянтов, которая была у нас в 1919 году во время падения рубля, которая была в Германии в 1922 году во время тарахтения марки, когда тысячники и миллионеры утром не ели булки в надежде, что к вечеру она подешевеет, то такое представление будет совершенно неверным.

Скупые? Нет. Страна, съедающая в год одного мороженого на миллион долларов, может приобрести себе и другие эпитеты.

Бог — доллар, доллар — отец, доллар — дух святой.

Но это не грошовое скопидомство людей, только мирящихся с необходимостью иметь деньги, решивших накопить суммочку, чтобы после бросить наживу и сажать в саду маргаритки да проводить электрическое освещение в курятники любимых наседок. И до сих пор

ньюйоркцы с удовольствием рассказывают историю 11-го года о ковбое Даймонд Джиме.

Получив наследство в 250 000 долларов, он нанял целый мягкий поезд, уставил его вином и всеми своими друзьями и родственниками, приехал в Нью-Йорк, пошел обходить все кабаки Бродвея, спустил в два дня добрых полмиллиона рублей и уехал к своим мустангам без единого цента, на грязной подножке товарного поезда.

Нет! В отношении американца к доллару есть поэзия. Он знает, что доллар — единственная сила в его стодесятимиллионной буржуазной стране (в других тоже), и я убежден, что, кроме известных всем свойств денег, американец эстетически любуется зелененьким цветом доллара, отождествляя его с весной, и бычком в овале, кажущимся ему его портретом крепыша, символом его довольства. А дядя Линкольн на долларе и возможность для каждого демократа пробиться в такие же люди делает доллар лучшей и благороднейшей страницей, которую может прочесть юношество. При встрече американец не скажет вам безразличное:

— Доброе утро.

Он сочувственно крикнет:

— Мек моней? (Делаешь деньги?) — и пройдет дальше.

Американец не скажет расплывчато:

— Вы сегодня плохо (или хорошо) выглядите.

Американец определит точно:

— Вы смотрите сегодня на два цента.

Или:

— Вы выглядите на миллион долларов.

О вас не скажут мечтательно, чтобы слушатель терялся в догадках,— поэт, художник, философ.

Американец определит точно:

— Этот человек стоит 1 230 000 долларов.

Этим сказано все: кто ваши знакомые, где вас принимают, куда вы уедете летом и т. д.

Путь, каким вы добыли ваши миллионы, безразличен в Америке. Все — «бизнес», дело,— все, что растит доллар. Получил проценты с разошедшейся поэмы — бизнес, обокрал, не поймали — тоже.

К бизнесу приучают с детских лет. Богатые родители радуются, когда их десятилетний сын, забросив

книжки, приволакивает домой первый доллар, вырученный от продажи газет.

— Он будет настоящим американцем.

В общей атмосфере бизнеса изобретательность растет.

В детском кемпе, в летнем детском пансионе-лагере, где закаляют детей плаванием и футболом, было запрещено ругаться при боксе.

— Как же драться, не ругаясь? — сокрушенно жаловались дети.

Один из будущих бизнесменов учел эту потребность.

На его палатке появилось объявление:

«За 1 никель выучиваю пяти русским ругательствам, за 2 никеля — пятнадцати».

Желающих выучиться ругаться без риска быть понятым преподавателями — набилась целая палатка.

Счастливый владелец русских ругательств, стоя посредине, дирижировал:

— Ну, хором — «дурак»!

— Д у р а к!

— С в о л о ч ь!

— Не «тволоч», а «сволочь».

Над сукиным сыном пришлось биться долго. Несмышленые американыши выговаривали «зукин-синь», а подсовывать за хорошие деньги недоброкачественные ругательства честный молодой бизнесмен не хотел.

У взрослых бизнес принимает грандиозные эпические формы.

Три года тому назад кандидату в какие-то доходные городские должности — мистеру Ригельману надо было хвастнуть пред избирателями какой-нибудь альтруистической затеей. Он решил построить деревянный балкон на побережье для гуляющих по Кони-Айланду.

Владельцы прибрежной полосы запросили громадные деньги — больше, чем могла бы дать будущая должность. Ригельман плюнул на владельцев, песком и камнем отогнал океан, создал полосу земли шириной в 350 футов и на три с половиной милн оправил берег идеальным дощатым настилом.

Ригельмана выбрали.

Через год он с лихвой возместил убытки, выгодно

продав, в качестве влиятельного лица, все выдающиеся бока своего оригинального предприятия под рекламу.

Если даже косвенным давлением долларов можно победить должность, славу, бессмертие, то, непосредственно положив деньги на бочку, купишь все.

Газеты созданы трестами; тресты, воротилы трестов запродались рекламодателям, владельцам универсальных магазинов. Газеты в целом проданы так прочно и дорого, что американская пресса считается неподкупной. Нет денег, которые могли бы перекупить уже запроданного журналиста.

А если тебе цена такая, что другие дают больше,— докажи, и сам хозяин набавит.

Титул — пожалуйста. Газеты и театральные куплетисты часто трунят над кинозвездой Глорией Свенсен, бывшей горничной, ныне стоящей пятнадцать тысяч долларов в неделю, и ее красавцем-мужем графом, вместе с пакеновскими моделями и ивановскими туфлями вывезенным из Парижа.

Любовь — извольте.

Вслед за обезьяньим процессом газеты стали трубить о мистере Браунинге.

Этот миллионер, агент по продаже недвижимого имущества, под старость лет обуялся юношеской страстью.

Так как брак старика с девушкой вещь подозрительная, миллионер пошел на удочерение.

Объявление в газетах:

ЖЕЛАЕТ МИЛЛИОНЕР
УДОЧЕРИТЬ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЮЮ

12 000 лестных предложений с карточками красавиц посыпались в ответ. Уже в 6 часов утра четырнадцать девушек сидело в приемной мистера Браунинга.

Браунинг удочерил первую (слишком велико нетерпение) — по-детски распустившую волосья, красавицу-чешку Марию Спас. На другой день газеты стали захлебываться Марииным счастьем.

В первый день куплено 60 платьев.

Привезено жемчужное ожерелье.

За три дня подарки перевалили за 40 000 долларов.

И сам папаша снимался, облапив дочку за грудь, с выражением лица, которое впору показывать из-под полы перед публичными домами Монмартра.

Отцовскому счастью помешало известие, что мистер пытался попутно удочерить и еще какую-то тринадцатилетнюю из следующей пришедшей партии. Проблематичным извинением могло бы, пожалуй, быть то, что дочь оказалась девятнадцатилетней женщиной.

Там на три меньше, здесь на три больше; «фифти-фифти», как говорят американцы,— в общем, какая разница?

Во всяком случае папаша оправдывался не этим, а суммой счета, и благородно доказывал, что сумма его расходов на этот бизнес определенно указывает, что только он является страдающей стороной.

Пришлось вмешаться прокуратуре. Дальнейшее мне неизвестно. Газеты замолчали, будто долларов в рот набрали.

Я убежден, что этот самый Браунинг сделал бы серьезные коррективы в советском брачном кодексе, ущемляя его со стороны нравственности и морали.

Ни одна страна не городит столько моральной, возвышенной, идеалистической ханжеской чуши, как Соединенные Штаты.

Сравните этого Браунинга, развлекающегося в Нью-Йорке, с какой-нибудь местечковой техасской сценкой, где банда старух в 40 человек, заподозрив женщину в проституции и в сожительстве с их мужьями, раздевает ее догола, окунает в смолу, вываливает в перо и в пух и изгоняет из городка сквозь главные сочувственно гогочущие улицы.

Такое средневековье рядом с первым в мире паровозом «Твенти-Сенчери» экспресса.

Типичным бизнесом и типичным ханжеством назовем и американскую трезвость, сухой закон «прогибишен».

Виски продают все.

Когда вы зайдете даже в крохотный трактирчик, вы увидите на всех столах надпись: «Занято».

Когда в этот же трактирчик входит умный, он пересекает его, идя к противоположной двери.

Ему заслоняет дорогу хозяин, кидая серьезный вопрос:

— Вы джентльмен?

— О да! — восклицает посетитель, предъявляя зелененькую карточку. Это члены клуба (клубов тысячи), говоря просто — алкоголики, за которых поручились. Джентльмена пропускают в соседнюю комнату — там с засученными рукавами уже орудуют несколько коктейльщиков, ежесекундно меняя приходящим содержимое, цвета и форму рюмок длиннейшей стойки.

Тут же за двумя десятками столиков сидят завтракающие, любовно оглядывая стол, уставленный всевозможной питейностью. Пообедав, требуют:

— Шу бокс! (Башмачную коробку!) — и выходят из кабачка, волоча новую пару виски. За чем же смотрит полиция?

За тем, чтобы не надували при дележе.

У последнего пойманного оптовика «бутлегера» было на службе 240 полицейских.

Глава борьбы с алкоголем плачется в поисках за десятком честных агентов и грозится, что уйдет, так как таковые не находятся.

Сейчас уже нельзя отменить закон, запрещающий винную продажу, так как это невыгодно прежде всего торговцам вином. А таких купцов и посредников — армия — один на каждые пятьсот человек. Такая долларовая база делает многие, даже очень тонкие нюансы американской жизни простенькой карикатурной иллюстрацией к положению, что сознание и надстройка определяются экономикой.

Если перед вами идет аскетический спор о женской красе и собравшиеся поделились на два лагеря — одни за стриженых американок, другие за длинноволосых, то это не значит еще, что перед вами бескорыстные эстеты.

Нет.

За длинные волосы орут до хрипоты фабриканты шпилек, со стрижкой сократившие производство; за короткие волосы ратует трест владельцев парикмахерских, так как короткие волосы у женщин привели к парикмахерам целое второе стригущееся человечество.

Если дама не пойдет с вами по улице, когда вы несете сверток починенных башмаков, обернутых в газетную бумагу, то знайте — проповедь красивых свертков ведет фабрикант оберточной бумаги.

Даже по поводу такой сравнительно беспартийной вещи, как честность, имеющей целую литературу,— даже по этому поводу орут и ведут агитацию кредитные общества, дающие ссуду кассирам для внесения залогов. Этим важно, чтобы кассиры честно считали чужие деньги, не сбегали с магазинными кассами, и чтобы незыблемо лежал и не пропадал залог.

Такими же долларными соображениями объясняется и своеобразная осенняя оживленная игра.

14 сентября меня предупредили — снимай соломенную шляпу.

15-го на углах перед шляпными магазинами стоят банды, сбивающие соломенные шляпы, пробивающие шляпные твердые днища и десятками нанизывающие продырявленные трофеи на руку.

Осенью ходить в соломенных шляпах неприлично.

На соблюдении приличий зарабатывают и торговцы мягкими шляпами и соломенными. Что бы делали фабриканты мягких, если бы и зимой ходили в соломенных? Что бы делали соломенные, если бы годами носили одну и ту же шляпу?

А пробивающие шляпы (иногда и с головой) получают от фабрикантов на чаингам пошляпно.

Сказанное о нью-йоркском быте, это, конечно, не лицо. Так, отдельные черты — ресницы, веснушка, ноздря.

Но эти веснушки и ноздри чрезвычайно характерны для всей мещанской массы — массы, почти покрывающей всю буржуазию; массы, заквашенной промежуточными слоями; массы, захлестывающей и обеспеченную часть рабочего класса. Ту часть, которая приобрела в рассрочку домик, выплачивает из недельного заработка за фордик и больше всего боится стать безработным.

Безработица — это пятенье обратно, выгон из неоплаченного дома, увод недоплаченного форда, закрытие кредита в мясной и т. д. А рабочие Нью-Йорка хорошо помнят ночи осени 1920—1921 года, когда 80 000 безработных спали в Централ-парке.

Американская буржуазия квалификацией и заработками ловко делит рабочих.

Одна часть — опора желтых лидеров с трехэтажными затылками и двухаршинными сигарами, лидеров, уже по-настоящему, попросту купленных буржуазией.

Другая — революционный пролетариат — настоящий, не вовлеченный мелкими шефами в общие банковские операции,— такой пролетариат и есть и борется. При мне революционные портные трех локалов (отделов) союза дамских портных — локалы второй, девятый и двадцать второй — повели долгую борьбу против «вождя», председателя Мориса Зигмана, пытавшегося сделать союз смиренным отделом фабрикантовых лакеев. 20 августа была объявлена «Объединенным комитетом действия» антизигмановская демонстрация. Демонстрировало в Юнион-сквере тысячи две человек, и 30 000 рабочих из солидарности приостановили работу на два часа. Не зря демонстрация была в Юнионсквере, против окон еврейской коммунистической газеты «Фрайгайт».

Была и чисто политическая демонстрация, непосредственно организованная компартией — по поводу недопущения в Америку английского депутата коммуниста Саклатвалы.

В Нью-Йорке 4 коммунистических газеты: «Новый мир» (русская), «Фрайгайт» (еврейская), «Щоденні вісті» (украинская) и финская.

«Дейли Воркер», центральный орган партии, издается в Чикаго.

Но эти газеты, при трех тысячах членов партии на Нью-Йорк, в одном Нью-Йорке имеют общий тираж в 60 000 экземпляров.

Переоценивать влияние этой коммунистически настроенной, в большинстве иностранной массы — не приходится, ждать в Америке немедленных революционных выступлений — наивность, но недооценивать шестьдесят тысяч — тоже было бы легкомыслием.

АМЕРИКА

Когда говорят «Америка», воображению представляются Нью-Йорк, американские дядюшки, мустанги, Кулидж и т. п. принадлежности Северо-Американских Соединенных Штатов.

Странно, но верно.

Странно — потому, что Америк целых три: Северная, Центральная и Южная.

С.А.С.Ш. не занимают даже всю Северную — а вот поди ж ты! — отобрали, присвоили и вместили название всех Америк.

Верно потому, что право называть себя Америкой Соединенные Штаты взяли силой, дредноутами и долларами, нагоняя страх на соседние республики и колонии.

Только за одно мое короткое трехмесячное пребывание американцы погромыхивали железным кулаком перед носом мексиканцев по поводу мексиканского проекта национализации своих же неотъемлемых земельных недр; посылали отряды на помощь какому-то правительству, прогоняемому венецуэльским народом; недвусмысленно намекали Англии, что в случае неуплаты долгов может затрещать хлебная Канада; того же желали французам и перед конференцией об уплате французского долга то посылали своих летчиков в Марокко на помощь французам, то вдруг становились марокканцелюбцами и из гуманных соображений отзывали летчиков обратно.

В переводе на русский: гони монету — получишь летчиков.

Что Америка и САСШ одно и то же — знали все. Кулидж только оформил это дельце в одном из последних декретов, назвав себя и только себя американцами. Напрасен протестующий рев многих десятков республик и даже других Соединенных Штатов (например Соединенные штаты Мексики), образующих Америку.

Слово «Америка» теперь окончательно аннексировано.

Но что кроется за этим словом?

Что такое Америка, что это за американская нация, американский дух?

Америку я видел только из окон вагона.

Однако по отношению к Америке это звучит совсем немало, так как вся она вдоль и поперек изрезана линиями. Они идут рядом то четыре, то десять, то пятнадцать. А за этими линиями только под маленьким градусом новые линии новых железнодорожных компаний. Единого расписания нет, так как главная цель этих линий не обслуживание пассажирских интересов, а доллар и конкуренция с соседним промышленником.

Поэтому, беря билет на какой-нибудь станции большого города, вы не уверены, что это самый быстрый, дешевый и удобный способ сообщения между необходимыми вам городами. Тем более, что каждый поезд — экспресс, каждый — курьерский и каждый — скорый.

Один поезд из Чикаго в Нью-Йорк идет 32 часа, другой — 24, третий — 20 и все называется одинаково — экспресс.

В экспрессах сидят люди, заложив за ленту шляпы проездной билет. Так хладнокровией. Не надо нервничать, искать билетов, а контролер привычной рукой лезет вам за ленту и очень удивляется, если там билета не оказалось. Если вы едете спальным пульмановским вагоном, прославленным и считающимся в Америке самым комфортабельным и удобным,— то все ваше существо организатора будет дважды в день, утром и вечером, потрясено бессмысленной, глупой возней. В 9 часов вечера дневной вагон начинают ломать, опускают востланные в потолок кровати, разворачивают постели, прикрепляют железные палки, нанизывают кольца занавесок, с грохотом вставляют железные перегородки — все эти хитрые приспособления приводятся в движение, чтобы по бокам вдоль вагона установить в два яруса двадцать спальных коек под занавесками, оставив посредине узкий уже не проход, а пролаз.

Чтобы пролезть во время уборки, надо сплошь жонглировать двумя негритянскими задами уборщиков, головой ушедших в постилаемую койку.

Повернешь, выведешь его чуть не на площадку вагона,— вдвоем, особенно с лестницей для влезания на второй ярус, почти не разминешься,— затем меняешься с ним местами и тогда обратно влазишь в вагон. Раздеваясь, вы лихорадочно придерживаете расстегивающиеся занавески во избежание негодующих возгласов напротив вас раздевающихся шестидесятилетних организаторш какого-нибудь общества юных христианских девушек.

Во время работы вы забываете прижать вплотную высовывающиеся из-под занавесок голые ноги, и — проклинаемый пятипудовый негр ходит вразвалку по всем

мозолям. С 9 утра начинается вакханалия разборки вагона и приведения вагона в «сидящий вид».

Наше европейское деление на купе даже жестких вагонов куда целесообразней американской пульмановской системы.

Что меня совсем удивило — это возможность опоздания поездов в Америке даже без особых несчастных причин.

Мне необходимо было срочно после лекции в Чикаго выехать ночью на лекцию в Филадельфию — экспрессной езды 20 часов. Но в это время ночи шел только один поезд с двумя пересадками, и кассир, несмотря на пятиминутный срок пересадки, не мог и не хотел гарантировать мне точности прибытия к вагону пересадки, хотя и прибавил, что шансов на опоздание немного. Возможно, что уклончивый ответ объяснялся желанием опозорить конкурирующие линии.

На остановках пассажиры выбегают, закупают пучки сельдерея и вбегают, жуя на ходу корешки.

В сельдерее — железо. Железо — полезно американцам. Американцы любят сельдерей.

На ходу мелькают нерасчищенные лески русского типа, площадки футболистов с разноцветными играющими — и техника, техника и техника.

Эта техника не застоялась, эта техника растет. В ней есть одна странная черта — снаружи, внешне эта техника производит недоделанное, временное впечатление.

Будто стройка, стены завода не фундаментальные — однодневки, одногодки.

Телеграфные, даже часто трамвайные столбы сплошь да рядом деревянные.

Огромные газовые вместилища, спичка в которые снесет полгорода, кажутся неохраняемыми. Только на время войны была приставлена стража.

Откуда это?

Мне думается — от рваческого, завоевательного характера американского развития.

Техника здесь шире всеобъемлющей германской, но в ней нет древней культуры техники — культуры, которая заставила бы не только нагромождать корпуса, но и решетки и двор перед заводом организовать сообразно со всей стройкой.

Мы ехали из Бикона (в шести часах езды от Нью-Йорка) и попали без всякого предупреждения на полную перестройку дороги, на которой не было оставлено никакого места для автомобилей (владельцы участков мостили, очевидно, для себя и мало заботились об удобствах проезда). Мы свернули на боковые дороги и находили путь только после опроса встречных, так как ни одна надпись не указывала направление.

В Германии это немыслимо ни при каких условиях, ни в каком захолустье.

При всей грандиозности строений Америки, при всей недосягаемости для Европы быстроты американской стройки, высоты американских небоскребов, их удобств и вместительности — и дома Америки, в общем, производят странное временное впечатление.

Может быть, это кажущееся.

Кажется оттого, что на вершине огромного дома стоит объемистый водяной бак. Воду до шестого этажа подает город, а дальше дом управляется сам. При вере во всемогущество американской техники такой дом выглядит подогнанным, наскоро переделанным из какой-то другой вещи и подлежащим разрушению по окончании быстрой надобности.

Эта черта совсем отвратительно выступает в постройках, по самому своему существу являющихся временными.

Я был на Раковей-бич (нью-йоркский дачный поселок; пляж для людей среднего достатка). Ничего гаже строений, облепивших берег, я не видел. Я не мог бы прожить в таком карельском портсигаре и двух часов.

Все стандартизированные дома одинаковы, как спичечные коробки одного названия, одной формы. Дома насажены, как пассажиры весеннего трамвая, возвращающегося из Сокольников в воскресенье вечером. Открыв окно уборной, вы видите все, делающееся в соседней уборной, а если у соседа приоткрыта дверь, то видите сквозь дом и уборную следующих дачников. Дома по ленточке уличек вытянулись, как солдаты на параде — ухо к уху. Материал строений таков, что слышишь не только каждый вздох и шепот влюбленного соседа, но сквозь стенку можешь различить самые тонкие нюансы обеденных запахов на соседском столе.

Такой поселок — это совершеннейший аппарат провинциализма и сплетни в самом мировом масштабе.

Даже большие новейшие удобнейшие дома кажутся временными, потому что вся Америка, Нью-Йорк в частности, в стройке, в постоянной стройке. Десятиэтажные дома ломают, чтобы строить двадцатиэтажные; двадцатиэтажные — чтоб тридцати — чтоб сорока и т. д.

Нью-Йорк всегда в грудах камней и стальных переплетов, в визге сверл и ударах молотков.

Настоящий и большой пафос стройки.

Американцы строят так, как будто в тысячный раз разыгрывают интереснейшую разученнейшую пьесу. Оторваться от этого зрелища ловкости, сметки — невозможно.

На простую землю ставится землечерпалка. Она с лязгом, ей подобающим, выгрызает и высасывает землю и тут же плюет ее в непрерывно проходящие грузовозы. Посредине стройки подымают фермчатый подъемный кран. Он берет огромные стальные трубы и вбивает их паровым молотом (сопящим, будто в насморке вся техника) в твердую землю, как мелкие обойные гвозди. Люди только помогают молоту усесться на трубу да по ватерпасу меряют наклоны. Другие лапы крана подымают стальные стойки и перекладины, без всяких шероховатостей садящиеся на место,— только сбей да свинти!

Подымается постройка, вместе с ней подымается кран, как будто дом за косу подымают с земли. Через месяц, а то и раньше, кран снимут — и дом готов.

Это примененное к домам знаменитое правило выделки пушек (берут дырку, обливают чугуном, вот и пушка): взяли кубический воздух, обвинтили сталью, и дом готов. Трудно отнестись серьезно, относишься с поэтической вдохновенностью к какому-нибудь двадцатиэтажному Кливландскому отелю, про который жители говорят: здесь от этого дома очень тесно (совсем как в трамвае — подвиньтесь, пожалуйста) — поэтому его переносят отсюда за десять кварталов, к озеру.

Я не знаю, кто и как будет переносить эту постройку, но если такой дом вырвется из рук, он отдавит много мозолей.

Бетонная стройка в десяток лет совершенно меняет облик больших городов.

Тридцать лет назад В. Г. Короленко, увидев Нью-Йорк, записывал:

«Сквозь дымку на берегу виднелись огромные дома в шесть и семь этажей...»

Лет пятнадцать назад Максим Горький, побывавши в Нью-Йорке, доводит до сведения:

«Сквозь косой дождь на берегу были видны дома в пятнадцать и двадцать этажей».

Я бы должен был, чтобы не выходить из рамок, очевидно, принятых писателями приличий, повествовать так:

«Сквозь косой дым можно видеть ничего себе дома в сорок и пятьдесят этажей...»

А будущий поэт после такого путешествия запишет:

«Сквозь прямые дома в неисследованное количество этажей, вставшие на нью-йоркском берегу, не были видны ни дымы, ни косые дожди, ни тем более, какие-то дымки».

Американская нация.

О ней больше, чем о какой-нибудь другой, можно сказать словами одного из первых революционных плакатов:

«Американцы бывают разные, которые пролетарские, а которые буржуазные».

Сынки чикагских миллионеров убивают детей (дело Лоеба и компании) из любопытства, суд находит их ненормальными, сохраняет их драгоценную жизнь, и «ненормальные» живут заведующими тюремных библиотек, восхищая сотюремников изящными философскими сочинениями.

Защитники рабочего класса (дело Ванцетти и других товарищей) приговариваются к смерти — и целые комитеты, организованные для их спасения, пока не в силах заставить губернатора штата отменить приговор. Буржуазия вооружена и организована. Ку-Клукс-Клан стал бытовым явлением.

Портные Нью-Йорка в дни маскарадного съезда кланцев публиковали рекламы, заманивая заказчиков высоких шапок и белых халатов:

— Вельком, Ку-Клукс-Клан!

В городах иногда появляются известия, что такой-то куксин вождь убил такого-то и еще не пойман, другой (без фамилии) изнасиловал уже третью девушку и выкинул из автомобиля и тоже ходит по городу без малейшего признака кандалов. Рядом с боевой клановской организацией — мирные масонские. Сто тысяч масонов в пестрых восточных костюмах в свой предпраздничный день бродят по улицам Филадельфии.

Эта армия еще сохранила ложи и иерархию, по-прежнему объясняется таинственными жестами, манипулированием каким-то пальцем у какой-то жилетной пуговицы рисует при встречах таинственные значки, но на деле в большей своей части давно стала своеобразным учраспредом крупных торговцев и фабрикантов, назначающим министров и важнейших чиновников страны. Дико, должно быть, видеть это средневековье, шествующее по филадельфийским улицам под окнами типографии газеты «The Filadelfia Inquirer»[1], выкидывающей ротационками 450 000 газет в час.

Рядом с этой теплой компанийкой — странное существование легализованной, очевидно, для верности наблюдения, рабочей компартии Америки и более чем странное — осмеливающихся на борьбу профессиональных союзов.

Я видел в первый день приезда в Чикаго, в холод и проливной дождь, такую дикую картину.

Вокруг огромного фабричного здания без остановок ходят мокрые, худые, продрогшие люди, с мостовых зорко смотрят рослые, жирные, промакинтошенные полисмены.

На фабрике забастовка. Рабочие должны отгонять штрейкбрехеров и оповещать нанятых обманным путем.

Но останавливаться они не имеют права — остановившегося арестует полиция на основании законов против пикетчиков. Говори — на ходу, бей — на ходу. Своеобразный десятичасовой скороходный рабочий день.

Неменьшая острота и национальных взаимоотношений Америки. Я писал уже о массе иностранцев в Америке (она вся, конечно, объединение иностранцев для эксплуатации, спекуляции и торговли),— они живут десятками лет, не теряя ни языка, ни обычаев.

---

[1] «Филадельфийский вестник» (*англ.*).

В еврейском Нью-Йорке на новый год, совсем как в Шавлях, увидишь молодых людей и девушек, разодетых не то для свадьбы, не то для раскрашенной фотографии: лакированные башмаки, оранжевые чулки, белое кружевное платье, пестрый платок и испанский гребень в волосах — для женщин; а для мужчин при тех же туфлях какая-то помесь из сюртука, пиджака и смокинга. И на животе или настоящего или американского золота цепь — размером и весом цепей, закрывающих черный ход от бандитов. На помогающих службе — полосатые шали. У детей сотни поздравительных открыток с сердцами и голубками — открыток, от которых в эти дни беременеют все почтальоны Нью-Йорка и которые являются единственным предметом широкого потребления всех универсальных магазинов во все предпраздничные дни.

В другом районе так же обособленно живут русские, и американцы ходят в антикварные магазины этого района покупать экзотический самовар.

Язык Америки — это воображаемый язык Вавилонского столпотворения, с той только разницей, что там мешали языки, чтоб никто не понимал, а здесь мешают, чтоб понимали все. В результате из английского, скажем, языка получается язык, который понимают все нации, кроме англичан.

Недаром, говорят, в китайских лавках вы найдете надпись:

«ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПО-АНГЛИЙСКИ
И ПОНИМАЮТ ПО-АМЕРИКАНСКИ»

Мне, не знающему английский язык, все-таки легче понимать скупословового американца, чем сыплющего словами русского.

Русский называет:
трамвай — стриткарой,
угол — корнером,
квартал — блоком,
квартиранта — бордером,
билет — тикетом,

а выражается так:

«Вы поедете без мениния пересядок».

Это значит, что у вас беспересадочный билет.

Под словом «американец» у нас подразумевают по-

месь из эксцентричных бродяг О'Генри, Ника Картера с неизменной трубкой и клетчатых ковбоев киностудии Кулешова.

Таких нет совсем.

Американцем называет себя белый, который даже еврея считает чернокожим, негру не подает руки; увидев негра с белой женщиной, негра револьвером гонит домой; сам безнаказанно насилует негритянских девочек, а негра, приблизившегося к белой женщине, судит судом Линча, т. е. обрывает ему руки, ноги и живого жарит на костре. Обычай почище нашего «дела о сожжении в деревне Листвяны цыган-конокрадов».

Почему американцами считать этих, а не негров например?

Негров, от которых идет и так называемый американский танец — фокс и шимми, и американский джаз! Негров, которые издают многие прекрасные журналы, например «Opportunity» [1]. Негров, которые стараются найти и находят свою связь с культурой мира, считая Пушкина, Александра Дюма, художника Генри Тэна и других работниками своей культуры.

Сейчас негр-издатель Каспер Гольштейн объявил премию в 100 долларов имени величайшего негритянского поэта А. С. Пушкина за лучшее негритянское стихотворение.

Первого мая 1926 года этот приз будет разыгран.

Почему неграм не считать Пушкина своим писателем? Ведь Пушкина и сейчас не пустили бы ни в одну «порядочную» гостиницу и гостиную Нью-Йорка. Ведь у Пушкина были курчавые волосы и негритянская синева под ногтями.

Когда закачаются так называемые весы истории, многое будет зависеть от того, на какую чашку положат 12 миллионов негров 24 миллиона своих увесистых рук. Подогретые техасскими кострами, негры — достаточно сухой порох для взрывов революции.

Дух, в том числе и американский, вещь бестелая, даже почти не вещь; контор не нанимает, экспортируется слабо, тоннажа не занимает — и если что сам потребляет, то только виски, и то не американское, а привозное.

---

[1] «Современность» (*англ.*).

Поэтому духом интересуются мало, и то в последнее время, когда у буржуазии после разбойничьего периода эксплуатации появилось некоторое спокойное, уверенное добродушие, некоторый жировой слой буржуазных поэтов, философов, художников.

Американцы завидуют европейским стилям. Они отлично понимают, что за свои деньги они могли бы иметь не четырнадцать, а хоть двадцать восемь Людовиков, а спешка и привычка к точному осуществлению намеченного не дают им желания и времени ждать, пока сегодняшняя стройка утрясется в американский стиль. Поэтому американцы закупают художественную Европу — и произведения и артистов, дико украшая сороковые этажи каким-нибудь ренессансом, не интересуясь тем, что эти статуэтки да завитушки хороши для шестиэтажных, а выше незаметны вовсе. Помещать же ниже эти стильные финтифлюшки нельзя, так как они будут мешать рекламам, вывескам и другим полезным вещам.

Верхом стильного безобразия кажется мне один дом около публичной библиотеки: весь гладкий, экономный, стройный, черный, но с острой крышей, выкрашенной для красоты золотом.

В 1912 году одесские поэты вызолотили для рекламы нос кассирше, продававшей билеты на стиховечер.

Запоздавший гипертрофированный плагиат.

Улицы Нью-Йорка украшены маленькими памятничками писателей и артистов всего мира. Стены института Карнеги расписаны именами Чайковского, Толстого и других.

В последнее время против непереваренной эклектической пошлости подымается голос молодых работников искусства.

Американцы стараются найти душу, ритм Америки. Начинают выводить походку американцев из опасливых шажков древних индейцев по тропинкам пустого Мангеттена. Уцелевшие индейские семьи тщательно охраняются музеями. Высшим шиком высшего общества считается древнее родство с какими-нибудь знатными индейскими родами,— вещь, еще недавно совершенно позорная в американских глазах. Деятелей искусства, не родившихся в Америке, просто перестают слушать.

Начинает становиться модной всякая туземность.

ЧИКАГО. В 1920 году в выдуманной поэме «150 000 000» я так изобразил Чикаго:

Мир,
из света частей
собирая квинтет,
одарил ее мощью магической, —
город в ней стоит
на одном винте —
весь электро-динамо-механический.
В Чикаго
14 000 улиц —
солнц площадей лучи.
От каждой —
700 переулков
длиною поезду на год.
Чудно человеку в Чикаго!

Знаменитейший сегодняшний американский поэт Карл Сандбург — сам чикагец, загнанный американским нежеланием вникать в лирику в отдел хроники и происшествий богатейшей газеты «Чикаго Трибюн» — этот самый Сандбург описывает Чикаго так:

Чикаго,
Свинобой мира,
Инструментщик, сборщик хлеба,
Играющий железными дорогами грузчик страны,
Бурный хриплый задира.
Город широких плеч...

«...Мне говорят: ты подл, и я отвечаю: да, это правда — я видел, как бандит убил и остался безнаказанным. Мне говорят, что ты жесток, и мой ответ: на лицах женщин и детей я видел следы бесстыдного голода. Бросая ядовитые насмешки за работой, все наваливающейся работой,— это высокий дерзкий хулиган на фоне хрупких городишек.

С непокрытой головой
роющий,
рушащий,
готовящий планы,
строящий, ломающий, восстанавливающий.

Смеющийся бурным, хриплым задорным смехом юности. Полуголый, пропотевший, гордый тем, что он

режет свиней, производит инструменты, наваливает хлебом амбары, играет железными дорогами и перебрасывает грузы Америки».

Путеводители и старожилы говорят:

«Чикаго:

Самые большие бойни.

Самый большой заготовщик лесных материалов.

Самый большой мебельный центр.

Самый большой производитель сельскохозяйственных машин.

Самый большой склад пианино.

Самый большой фабрикант железных печей.

Самый крупный железнодорожный центр.

Самый большой центр по рассылке покупок почтой.

Самый людный угол в мире.

Самый проходимый мост на земном шаре Bush street bridge[1].

Самая лучшая система бульваров во всем земном шаре — ходи по бульварам, обходи Чикаго, не выйдя ни на какую улицу.

Всё самое, самое, самое...

Что это за город Чикаго?

Если все американские города насыпать в мешок, перетряхнуть дома, как цифры лото, то потом и сами мэры города не смогут отобрать свое бывшее имущество.

Но есть Чикаго, и этот Чикаго отличен от всех других городов — отличен не домами, не людьми, а своей особой по-чикагски направленной энергией.

В Нью-Йорке многое для декорации, для виду. Белый путь — для виду, Кони-Айланд — для виду, даже пятидесятисемиэтажный Вульворт-Бильдинг — для втирания провинциалам и иностранцам очков.

Чикаго живет без хвастовства.

Показная небоскребная часть узка, притиснута к берегу громадой фабричного Чикаго.

Чикаго не стыдится своих фабрик, не отступает с ними на окраины. Без хлеба не проживешь, и Мак-Кормик выставляет свои заводы сельскохозяйственных машин центральней, даже более гордо, чем какой-нибудь Париж — какой-нибудь Нотр-Дам.

---

[1] Мост улицы Баш (*англ.*).

Без мяса не проживешь, и нечего кокетничать вегетарианством — поэтому в самом центре кровавое сердце — бойни.

Чикагские бойни — одно из гнуснейших зрелищ моей жизни. Прямо фордом вы въезжаете на длиннейший деревянный мост. Этот мост перекинут через тысячи вагонов для быков, телят, баранов и для всей бесчисленности мировых свиней. Визг, мычание, блеяние — неповторимое до конца света, пока людей и скотину не прищемят сдвигающимися скалами,— стоит над этим местом. Сквозь сжатые ноздри лезет кислый смрад бычьей мочи и дерма скотов десятка фасонов и миллионного количества.

Воображаемый или настоящий запах целого разливного моря крови занимается вашим головокружением.

Разных сортов и калибров мухи с луж и жидкой грязи перепархивают то на коровьи, то на ваши глаза.

Длинные деревянные коридоры уводят упирающийся скот.

Если бараны не идут сами, их ведет выдрессированный козел.

Коридоры кончаются там, где начинаются ножи свинобоев и быкобойцев.

Живых визжащих свиней машина подымает крючком, зацепив их за живую ножку, перекидывает их на непрерывную цепь,— они вверх ногами проползают мимо ирландца или негра, втыкающего нож в свинячье горло. По нескольку тысяч свиней в день режет каждый — хвастался боенский провожатый.

Здесь визг и хрип, а в другом конце фабрики уже пломбы кладут на окорока, молниями вспыхивают на солнце градом выбрасываемые консервные жестянки, дальше грузятся холодильники — и курьерскими поездами и пароходами едет ветчина в колбасные и рестораны всего мира.

Минут пятнадцать едем мы по мосту только одной компании.

А со всех сторон десятки компаний орут вывесками.

Вильсон!

Стар!

Свифт!

Гамонд!

Армор!

Впрочем, все эти компании, вопреки закону, одно объединение, один трест. В этом тресте главный — Армор — судите по его охвату о мощи всего предприятия.

У Армора свыше 100 000 рабочих; одних конторщиков имеет Армор 10—15 тысяч.

400 миллионов долларов — общая ценность арморовских богатств. 80 000 акционеров разобрали акции, дрожат над целостью арморовского предприятия и снимают пылинки с владельцев.

Половина акционеров — рабочие (половина, конечно, по числу акционеров, а не акций), рабочим дают акции в рассрочку — один доллар в неделю. За эти акции приобретается временно смирение отсталых боенских рабочих.

Армор горд.

Шестьдесят процентов американской мясной продукции и десять процентов мировой дает один Армор.

Консервы Армора ест мир.

Любой может наживать катар.

И во время мировой войны на передовых позициях были консервы с подновленной этикеткой. В погоне за новыми барышами Армор сбагривал четырехлетние яйца и консервированное мясо призывного возраста — в 20 лет!

Наивные люди, желая посмотреть столицу Соединенных Штатов, едут в Вашингтон. Люди искушенные едут на крохотную уличку Нью-Йорка — Волстрит, улицу банков, улицу — фактически правящую страной.

Это верней и дешевле вашингтонской поездки. Здесь, а не при Кулидже должны держать своих послов иностранные державы. Под Волстрит тоннель-собвей, а если набить его динамитом и пустить на воздух к чертям свинячим всю эту уличку!

Взлетят в воздух книги записей вкладов, названия и серии бесчисленных акций да столбцы иностранных долгов.

Волстрит — первая столица, столица американских долларов. Чикаго — вторая столица, столица промышленности.

Поэтому не так неверно поставить Чикаго вместо Вашингтона. Свинобой Вильсон не меньше влияет на жизнь Америки, чем влиял его однофамилец Вудро.

Бойни не проходят бесследно. Поработав на них, или станешь вегетарианцем или будешь спокойно убивать людей, когда надоест развлекаться кинематографом. Недаром Чикаго — место сенсационных убийств, место легендарных бандитов.

Недаром в этом воздухе из каждых четырех детей — один умирает до года.

Понятно, что грандиозность армии трудящихся, мрак чикагской рабочей жизни именно здесь вызывают трудящихся на самый больший в Америке отпор.

Здесь главные силы рабочей партии Америки.

Здесь центральный комитет.

Здесь центральная газета — «Daily Worker».

Сюда обращается партия с призывами, когда надо из скудного заработка создать тысячи долларов.

Голосом чикагцев орет партия, когда нужно напомнить министру иностранных дел мистеру Келлогу, что он напрасно пускает в Соединенные Штаты только служителей долларов, что Америка не келлоговский дом, что рано или поздно — а придется пустить и коммуниста Саклатвала и других посланцев рабочего класса мира.

Не сегодня и не вчера вступили рабочие-чикагцы на революционный путь.

Так же, как в Париже приезжие коммунисты идут к обстрелянной стене коммунаров,— так в Чикаго идут к могильной плите первых повешенных революционеров.

1 мая 1886 г. рабочие Чикаго объявили всеобщую забастовку. 3 мая у завода Мак-Кормик была демонстрация, во время которой полиция спровоцировала выстрелы. Выстрелы эти явились оправданием полицейской стрельбы и дали повод выловить зачинщиков.

Пять товарищей: Август Спайес, Адольф Фишер, Альберт Парсонс, Луи Линг и Жорж Энгель — были повешены.

Сейчас на камне их братской могилы слова речи одного из обвиняемых:

«Придет день, когда наше молчание будет иметь больше силы, чем наши голоса, которые вы сейчас заглушаете».

Чикаго не бьет в нос шиком техники — но даже внешность города, даже его наружная жизнь показы-

вает, что он больше других городов живет пронзводством, живет машниой.

Здесь на каждом шагу перед радиатором вздымается подъемный мост, пропуская пароходы н баржи к Мичигаиу. Здесь, проезжая по висящему над железнодорожиымн линиямн мосту, вы будете в любой час утра обволокиуты дымом н паром сотен бегущих паровозов.

Здесь на каждом повороте автомобильного колеса мелькают беизинные киоски королей нефтн — Стандарт Ойл и Сииклер.

Здесь всю иочь мигают предупреждающие автофоиарн перекрестков и горят подземные лампы, деля тротуары во избежание столкиовенни. Здесь спецнальные коиные полнцейские запнсывают номера автомобилей, простоявших перед домом более получаса. Если разрешать останавливаться на улицах всегда и всем, автомобнлн б стояли н в десять рядов и в десять ярусов.

Вот почему и весь в садах Чикаго должеи быть нзображаем иа одном винте н сплошь электро-дннамо-механическим. Это не в защиту собствеииой поэмы, это — в утверждеиие права н необходнмостн поэту организовывать и переделывать видимый материал, а не полнровать видимое.

Путеводитель описал Чикаго верно и иепохоже.

Саидбург описал н неверио и непохоже.

Я описал неверио, ио похоже.

Критики писали, что мое Чикаго могло быть написаио только человеком, никогда ие вндавшнм этого города,

Говорили: еслн я увижу Чикаго, я нзменю опнсание.

Теперь я Чикаго видел. Я проверил поэму иа чикагцах — она не вызывала у них скептических улыбок — наоборот, как будто показывала другую чикагскую стороиу.

ДЕТРОЙТ — второй и последннй американскнй город, на котором остановлюсь. К сожалению, мие не пришлось видеть деревенских хлебных мест. Амернканские

дороги страшно до́роги. Пульман до Чикаго 50 долларов (100 рублей).

Я мог ездить только туда, где большие русские и, конечно, рабочие колонии. Мои лекции устраивали «Новый мир» и «Фрайгайт» — русская и еврейская газеты рабочей партии Америки.

В Детройте 20 тысяч русских.

В Детройте 80 тысяч евреев.

В большинстве это бывшие нищие — россияне, помнящие о ней всякой дрянью, приехавшие лет 20 тому назад и поэтому дружелюбно, во всяком случае внимательно, относящиеся к Советскому Союзу. Исключение — группа врангельцев, вывезенных из Константинополя седыми и лысыми вождями союза христианской молодежи, но и эта публика скоро обомнется. Доллар лучше всякой агитации разлагает белую эмиграцию. Пресловутая Кирилица, которую американцы называли «принцесс Сирил», явившаяся в Америку за вашингтонским признанием, быстро сдала — нашла себе бойкого предпринимателя-менаджера и стала раздавать в целование свою ручку от 10 до 15 долларов в нью-йоркском Мондей-морнинг — опера-клуб.

Даже «принц» Борис пустился в Нью-Йорке во все тяжкие.

Обрывая лавры Родченко, он стал заниматься настоящим фотомонтажом, писал статьи из бывшей придворной жизни, точно перечислял, когда и с кем пьянствовали цари, иллюстрируя фельетоны царями с примонтаженными им на колени балеринами, вспоминал, когда и с каким царем играл в карты, кстати и примонтировав бывших царей к пейзажам всесветных казино. От этой борисовской литературы приуныли самые матерые белогвардейцы. Как, мол, с такими персонами вести агитацию за воцарение белогвардейщины? Даже белые газеты писали с грустью — такие выступления совсем засморкали идеи монархизма. Вновь привезенные, еще неученые белогвардейцы тычутся по предприятиям, многих усыновил благосклонный ко всякой белизне Форд.

Фордовские рабочие показывают таких русским новичкам: смотрите, здесь ваш царь работает. Царь работает мало — есть у Форда какой-то бессловесный при-

каз о моментальном приеме и незатруднении работой нанявшихся русских белых.

В Детройте много огромных мировых предприятий, например Парк Девис — медикаменты. Но слава Детройта — автомобили.

Не знаю, на сколько человек здесь приходится один автомобиль (кажется, на четыре), но я знаю, что на улицах их много больше, чем людей.

Люди заходят в магазины, конторы, в кафе и столовые — автомобили ждут их у дверей. Стоят сплошными рядами по обеим сторонам улицы. Митингами сгрудились на особых озаборенных площадях, где машину позволяют ставить за 25—35 центов.

Вечером желающему поставить автомобиль надо съехать с главной улицы в боковую, да и там поездить минут десять, а поставив в обнесенный загон, ждать потом, пока ее будут выволакивать из-за тысяч других машин.

А так как автомобиль больше человека, а человек, который выйдет, тоже садится в автомобиль,— то нерушимое впечатление: машин больше людей.

Здесь фабрики:

Пакард.

Кадиляк,

бр. Дейч, вторая в мире — 1500 машин в день. Но над всем этим царит слово — Форд.

Форд укрепился здесь, и 7000 новых фордиков выбегают каждый день из ворот его безостановочно работающей ночью и днем фабрики.

На одном конце Детройта — Гайланд-парк, с корпусами на 45 тысяч рабочих, на другом — Риверруж, с 60 тысячами. Да и еще в Дирборне, за 17 миль от Детройта — авиасборочный завод.

На фордовский завод я шел в большом волнении. Его книга, изданная в Ленинграде в 1923 году, уже имеет пометку — 45-я тысяча; фордизм — популярнейшее слово организаторов труда; о предприятии Форда говорят чуть ли не как о вещи, которую без всяких перемен можно перенести в социализм.

Профессор Лавров в предисловии к 5-му изданию фордовской книги пишет: «Появилась книга Форда... непревзойденная модель автомобиля... последовател

Форда жалки, причина последнего кроется в талантливости изобретенной Фордом системы, которая, как всякая совершенная система, только и гарантирует лучшую организацию...» и т. д. и т. д.

Сам Форд говорит: цель его теории — создать из мира источник радости (социалист!); если мы не научимся лучше пользоваться машинами, у нас не станет времени для того, чтобы наслаждаться деревьями и птицами, цветами и лугами. «Деньги полезны лишь постольку, поскольку они способствуют жизненной свободе (капиталиста?)». «Если служишь ради самого служения, ради удовлетворения, которое дается сознанием правоты дела, то деньги сами собой появляются в избытке» (не замечал!). «Шеф (Форд) компаньон своего рабочего, а рабочий товарищ своего шефа». «Мы не хотим тяжелого труда, истощающего людей. Каждый рабочий Форда должен и может обдумывать улучшение дела — и тогда он кандидат в Форды», и т. д. и т. д.

Я нарочно не останавливаюсь на ценных и интересных мыслях книги — о них раструблено достаточно, и не для них книга писана.

На завод водят группами, человек по 50. Направление одно, раз навсегда. Впереди фордовец. Идут гуськом, не останавливаясь.

Чтобы получить разрешение, заполняешь анкету в комнате, в которой стоит испещренный надписями юбилейный десятимиллионный Форд. Карманы вам набивают фордовскими рекламами, грудами лежащими по столам. У анкетщиков и провожающих вид как у состарившихся, вышедших на пенсию зазывал распродажных магазинов.

Пошли. Чистота вылизанная. Никто не остановится ни на секунду. Люди в шляпах ходят, посматривая, и делают постоянные отметки в каких-то листках. Очевидно, учет рабочих движений. Ни голосов, ни отдельных погромыхиваний. Только общий серьезный гул. Лица зеленоватые, с черными губами, как на киносъемках. Это от длинных ламп дневного света. За инструментальной, за штамповальной и литейной начинается знаменитая фордовская цепь. Работа движется перед рабочим. Садятся голые шасси, как будто автомобили еще

без штанов. Кладут надколесные крылья, автомобиль движется с вами вместе к моторщикам, краны сажают кузов, подкатываются колеса, бубликами из-под потолка беспрерывно скатываются шины, рабочие с-под цепи снизу что-то подбивают молотком. На маленьких низеньких вагонеточках липнут рабочие к бокам. Пройдя через тысячи рук, автомобиль приобретает облик на одном из последних этапов, в авто садится шофер, машина съезжает с цепи и сама выкатывается во двор.

Процесс, уже знакомый по кино,— но выходишь все-таки обалделый.

Еще через какие-то побочные отделы (Форд все части своей машины от нитки до стекла делает сам), с тюками шерсти, с летающими над головой на цепях подъемных кранов тысячами пудов коленчатых валов, мимо самой мощной в мире фордовской электростанции, выходим на Woodword — улица.

Мой сотоварищ по осмотру — старый фордовский рабочий, бросивший работу через два года из-за туберкулеза, видел завод целиком тоже в первый раз. Говорит со злостью: «Это они парадную показывают, вот я бы вас повел в кузницы на Ривер, где половина работает в огне, а другая в грязи и воде».

Вечером мне говорили фордовцы — рабкоры коммунистической чикагской газеты «Дейли Воркер»:

— Плохо. Очень плохо. Плевательниц нет. Форд не ставит, говорит: «Мне не надо, чтоб вы плевались,— мне надо, чтобы было чисто, а если плеваться надо вам — покупайте плевательницы сами».

...Техника — это ему техника, а не нам.

...Очки дает с толстым стеклом, чтоб не выбило глаз — стекло дорогое. Человеколюбивый. Это он потому, что при тонком стекле глаз выбивает и за него надо платить, а на толстом только царапины остаются, глаз от них портится все равно года через два, но платить не приходится.

...На еду 15 минут. Ешь у станка, всухомятку. Ему бы кодекс законов о труде с обязательной отдельной столовой.

...Расчет — без всяких выходных.

...А членам союза и вовсе работы не дают. Библиотеки нет. Только кино, и то в нем показывают картины только про то, как быстрее работать.

...Думаете, у нас несчастных случаев нет? Есть. Только про них никогда не пишут, а раненых и убитых вывозят на обычной фордовской машине, а не на краснокрестной.

...Система его прикидывается часовой (8-часовой рабочий день), на самом деле — чистая сдельщина.

...А как с Фордом бороться?

...Сыщики, провокаторы и клановцы, всюду 80% иностранцев.

...Как вести агитацию на 54 языках?

В четыре часа я смотрел у фордовских ворот выходящую смену,— люди валились в трамваи и тут же засыпали, обессилев.

В Детройте наибольшее количество разводов. Фордовская система делает рабочих импотентами.

ОТЪЕЗД

Пристань компании «Трансатлантик» на конце 14-й улицы.

Чемоданы положили на непрерывно поднимающуюся ленту с планками, чтобы вещи не скатывались. Вещи побежали на второй этаж.

К пристани приставлен маленький пароходик «Рошамбо», ставший еще меньше от соседства огромной, как двухэтажный манеж, пристани.

Лестница со второго этажа презрительно спускалась вниз.

Просмотрев, отбирают выпускные свидетельства — свидетельство о том, что налоги Америки с заработавших в ней внесены и что в страну этот человек въехал правильно, с разрешения начальства.

Посмотрели билет — и я на французской территории, обратно под вывеску Фрэнчлайн и под рекламу Бисквит-компани-нейшенал — нельзя.

Рассматриваю в последний раз пассажиров. В последний, потому что осень — время бурь, и люди будут лежать в лежку все 8 дней.

При приезде в Гавр я узнал, что на вышедшем одновременно с нами с соседней пристани «Конард Лайн»

пароходе шесть человек проломили себе насквозь носы, упав на умывальник во время качки, перекатывающей волны через все палубы.

Пароход плохонький — особый тип: только первый и третий класс. Второго нет. Вернее, есть один второй. Едут или бедные или экономные, да еще несколько американских молодых людей, не экономных, не бедных, а посылаемых родителями учиться искусствам в Париже.

Отплывал машущий платками, поражающий при въезде Нью-Йорк.

Повернулся этажами сорока, сквозной окнами Метрополитен-бильдинг. Накиданными кубами разворачивалось новое здание телефонной станции, отошло и на расстоянии стало видно сразу все гнездо небоскребов: этажей на 45 Бененсон-бильдинг, два таких же корсетных ящика, неизвестных мне по имени, улицы, ряды элевейтеров, норы подземок закончились с пристанью Соутонфери. Потом здания слились зубчатой обрывной скалой, над которой трубой вставал 57-этажный Вульворт.

Замахнулась кулаком с факелом американская баба-свобода, прикрывшая задом тюрьму Острова Слез.

Мы в открытом обратном океане. Сутки не было ни качки, ни вина Американские территориальные воды, еще текущие под сухим законом. Через сутки появилось и то и другое. Люди полегли.

Осталось на палубе и в столовых человек 20, включая капитанов.

Шестеро из них — американские молодые люди: новеллист, два художника, поэт, музыкант и девушка провожавшая, влезшая на пароход и любви ради уехавшая аж без французской визы.

Деятели искусства, осмыслив отсутствие родителей и прогибишена, начали пить.

Часов в пять брались за коктейли, за обедом уничтожали все столовое вино, после обеда заказывали шампанское, за десять минут до закрытия набирали бутылок под каждый палец; выпив все, слонялись по качающимся коридорам в поисках за спящим официантом.

Кончили пить за день до приплытия, во-первых, потому, что озверевший от вечного шума комиссар клят-

венно обещал двух художников предать в руки французской полиции, не спуская на берег, а во-вторых, все шампанские запасы были уже выпиты. Может быть, этим объяснялась и комиссарская грозность.

Кроме этой компании, слонялся лысый старый канадец, все время надоедавший мне любовью к русским, сочувственно называя и справляясь у меня о знакомстве с бывшими живыми и мертвыми князьями, когда-нибудь попадавшими на страницы газет.

Путались между дребезжащими столиками два дипломата: помощник парагвайского консула в Лондоне и чилийский представитель в Лигу Наций. Парагваец пил охотно, но никогда не заказывал сам, а всегда в порядке изучения нравов и наблюдения за молодыми американцами. Чилиец пользовался каждой минутой просветления погоды и вылаза женщин на палубу, чтобы проявить свой темперамент или хотя бы сняться вместе на фоне сирены или трубы. И, наконец, испанец-купец, который не знал ни слова по-английски, а по-французски только:

— регардэ —

даже, кажется, «мерси» не знал. Но испанец так умело обращался с этим словом, что, прибавив жесты и улыбки, он целыми днями перебегал от компании к компании в форменном разговорном ажиотаже.

Опять выходила газета, опять играли на скоростях, опять отпраздновали томболу.

На обратном безлюдии я старался оформить основные американские впечатления.

ПЕРВОЕ. Футуризм голой техники, поверхностного импрессионизма дымов да проводов, имевший большую задачу революционизирования застывшей, заплывшей деревней психики — этот первобытный футуризм окончательно утвержден Америкой.

Звать и вещать тут не приходится. Перевози в Новороссийск фордзоны, как это делает Амторг.

Перед работниками искусства встает задача Лефа: не воспевание техники, а обуздание ее во имя интересов человечества. Не эстетическое любование железными пожарными лестницами небоскребов, а простая организация жилья.

Что автомобиль?.. Автомобилей много, пора подумать, чтобы они не воняли на улицах.

Не небоскреб — в котором жить нельзя, а живут.

С-под колес проносящихся элевейтеров плюет пыль, и кажется — поезда переезжают ваши уши.

Не грохот воспевать, а ставить глушители — нам, поэтам, надо разговаривать в вагоне.

Безмоторный полет, беспроволочный телеграф, радио, бусы, вытесняющие рельсовые трамваи, собвеи, унесшие под землю всякую видимость.

Может быть, завтрашняя техника, умильонивая силы человека, пойдет по пути уничтожения строек, грохота и прочей технической внешности.

ВТОРОЕ. Разделение труда уничтожает человеческую квалификацию. Капиталист, отделив и выделив материально дорогой ему процент рабочих (специалисты, желтые заправилы союзов и т. д.), с остальной рабочей массой обращается как с неисчерпаемым товаром.

Хотим — продадим, хотим — купим. Не согласитесь работать — выждем, забастуете — возьмем других. Покорных и способных облагодетельствуем, непокорным — палки казенной полиции, маузеры и кольты детективов частных контор.

Умное раздвоение рабочего класса на обыкновенных и привилегированных, невежество трудом высосанных рабочих, в которых после хорошо сорганизованного рабочего дня не остается силы, нужной даже для мысли; сравнительное благополучие рабочего, выколачивающего прожиточный минимум; несбыточная надежда на богатство в будущем, смакуемая усердными описаниями вышедших из чистильщиков миллиардеров; настоящие военные крепости на углах многих улиц — и грозное слово «депортация» далеко отдаляют какие бы то ни было веские надежды на революционные взрывы в Америке. Разве что откажется от каких-нибудь оплат долгов революционная Европа. Или на одной вытянутой через Тихий океан лапе японцы начнут подстригать когти. Поэтому усвоение американской техники и усилия для второго открытия Америки — для СССР — задача каждого проезжающего Америками.

ТРЕТЬЕ. Возможно, фантастика. Америка жиреет. Люди с двумя миллиончиками долларов считаются небогатыми начинающими юношами.

Деньги взаймы даются всем — даже римскому папе, покупающему дворец напротив, дабы любопытные не заглядывали в его папские окна.

Эти деньги берутся отовсюду, даже из тощего кошелька американских рабочих.

Банки ведут бешеную агитацию за рабочие вклады.

Эти вклады создают постепенно убеждение, что надо заботиться о процентах, а не о работе.

Америка станет только финансовой ростовщической страной.

Бывшие рабочие, имеющие еще неоплаченный рассрочный автомобиль и микроскопический домик, политый пóтом до того, что неудивительно, что он вырос и на второй этаж,— этим бывшим может казаться, что их задача — следить, как бы не пропали их папские деньги.

Может статься, что Соединенные Штаты сообща станут последними вооруженными защитниками безнадежного буржуазного дела,— тогда история сможет написать хороший, типа Уэльса, роман «Борьба двух светов».

Цель моих очерков — заставить в предчувствии далекой борьбы изучать слабые и сильные стороны Америки.

«Рошамбо» вошел в Гавр. Безграмотные домики, которые только по пальцам желают считать этажи, на час расстояния гавань, а когда мы уже прикручивались, берег усеялся оборванными калеками, мальчишками.

С парохода кидали ненужные центы (считается — «счастье»), а мальчишки, давя друг друга, дорывая изодранные рубахи зубами и пальцами, впивались в медяки.

Американцы жирно посмеивались с палубы и щелкали моментальными.

Эти нищие встают передо мной символом грядущей Европы, если она не бросит пресмыкаться перед американской и всякой другой деньгой.

Мы ехали к Парижу, пробивая тоннелями бесконечные горы, легшие поперек.

По сравнению с Америкой жалкие лачуги. Каждый вершок земли взят вековой борьбой, веками истощаем и с аптекарской мелочностью использован под фиалки или салат. Но даже это презираемое за домик, за земельку, за свое, даже это веками обдуманное цепляние казалось мне теперь невероятной культурой в сравнении с бивуачным строем, рваческим характером американской жизни.

Зато до самого Руана на бесконечных каштанных проселочных дорогах, на самом густом клочке Франции мы встретили всего один автомобиль.

1925—1926

ПРИМЕЧАНИЯ

Началом своей литературной деятельности Маяковский считал 1909 год, когда, находясь в тюрьме, он стал писать стихи. Стихи эти, отобранные при выходе из заключения, неизвестны. Самое раннее из сохранившихся произведений поэта — «Ночь» — появилось в печати в 1912 году. Первый сборник «Я», составляющий цикл из четырех стихотворений, издан в 1913 году. В последующие годы Маяковский выпустил около 90 книг, различных по своему характеру и назначению. Некоторые из них составлены по жанровому принципу. Таковы, например, сборники сатирических произведений: «Маяковский издевается. Первая книжица сатиры», (1922); «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается» (1923); «Слоны в комсомоле» (1929); «Без доклада не входить» (1930); «Грозный смех» (1932)[1]. В 1923 году была издана «Лирика». Многие сборники построены проблемно-тематически: «Стихи о революции», изд. 1 и 2 (1923); «Париж» (1925); «Испания. Океан. Гавана. Мексика. Америка» (1926); «Туда и обратно» (1930). Есть книги с конкретным, так сказать, целевым назначением: «Школьный Маяковский» (1929); «Маяковский для голоса» (1930). В разные годы Маяковский отдельно издавал циклы своих новейших произведений: «Вещи этого года (до 1 августа 1923 г.)» (1924); «Только новое» (1925) и др.

Время от времени автор пытался собрать воедино свои произведения: «Все сочиненное Владимиром Маяковским (1909—1919)» (1919); «13 лет работы» (1922). Проводил он также работу по отбору лучшего из написанного: «Избранный Маяковский» (1923); «Избранное из избранного» (1926).

На определенном этапе творческого пути поэт почувствовал необходимость подвести итог всему сделанному и начал готовить десятитомное собрание своих сочинений. Оно выходило в свет с

[1] Последние два сборника, хотя и вышли после смерти Маяковского, были им подготовлены и сданы в издательство: первый — в феврале, второй — в декабре 1929 г.

1927-го по 1933 год. При жизни Маяковского было издано 6 томов. Он успел подготовить и сдать в печать также 7-й и 8-й тома. Последние два тома были выпущены без участия автора.

В настоящее издание — «Сочинения» в двух томах — включены все наиболее значительные стихотворные и драматургические произведения Маяковского, многие из которых по праву относятся к лучшим образцам советской поэзии. В двухтомник вошли также стихи, которые своим гражданским и политическим пафосом оказались созвучны нашему времени, современным условиям борьбы за утверждение ленинских норм жизни. Объем данного издания не позволил широко включить в него прозу Маяковского,— она представлена автобиографией «Я сам», очерками «Мое открытие Америки», некоторыми статьями и выступлениями литературно-критического и публицистического характера.

Издание построено по жанрово-хронологическому принципу. В первый том «Сочинений» входят стихотворения, автобиография «Я сам» и книга очерков «Мое открытие Америки», тематически примыкающая к «американскому» циклу стихов поэта; во второй — поэмы и пьесы, а также некоторые статьи и выступления. Внутри томов произведения распределены по разделам — «Стихотворения», «Поэмы», «Пьесы», «Проза». Содержание каждого раздела выдержано в хронологическом плане, причем в разделе «Стихотворения» сохранены также единые и цельные по своему характеру циклы, как «Окна РОСТА», «Париж», «Стихи об Америке», «Стихи детям» (первый и последний даются не полностью).

Тексты печатаются по научно выверенному изданию: Владимир Маяковский. Полн. собр. соч. в 13 т., М., Гослитиздат, 1955—1961. В томах помещены рисунки В. В. Маяковского.

Я САМ

Автобиография «Я сам» написана Маяковским в 1922 году. Через шесть лет поэт продолжил ее, доведя изложение событий до 1928 года. В таком виде она вошла в 1-й том десятитомного собрания его сочинений. Автобиография выдержана в полушутливом тоне и во многом носит полемический характер.

Главное.— В. В. Маяковский родился 7(19) июля 1893 года в селе Багдади — теперь Маяковски Грузинской ССР.

1-е воспоминание.— «...*алон ванфан де ля по четыре*» — каламбурная переделка строки «Марсельезы»: «Allons, enfants de la patrie».

Дурные привычки.— *Как-то раз перед толпою...*— из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Спор».

Первая книга.— *«Птичница Агафья»* — сентиментальный рассказ Клавдии Лукашевич.

Нелегальщина.— *Опомнись, товарищ...*— «Постой-ка, товарищ! Опомнись-ка, брат!» — из агитационной песни «К солдату». *...а не то в путь иной...*— Из пародийного стихотворения, получившего в то время известность в революционной среде.

905-й год.— *...убили генерала Алиханова.*— М. Алиханов-Аварский, военный губернатор Кутаисской губ., был убит революционерами в 1907 году.

Социализм. — *«Буревестник»* — издательство, выпускавшее социал-демократическую литературу. *«Долой социал-демократов!»*, *«Экономические беседы»* — агитационные брошюры; автор первой В. Бракке, второй — Н. Карышев. *...на «Эрфуртскую»* — программа германской социал-демократической партии, принятая на съезде в Эрфурте в 1891 году; изучалась в России в революционных кружках. *Демосфен* — древнегреческий политический деятель; чтобы исправить изъяни произношения, он, по преданию, говорил на берегу моря речи, набрав камни в рот. *Рион* — Риони, река, возле которой расположен Кутаиси.

Реакция.— *...в демонстрацию памяти Баумана...*— в Кутаиси, в октябре 1905 года.

Гимназия.— Маяковский поступил в пятую гимназию в августе 1906 года и обучался в ней до 1 марта 1908 года.

Партия.— *Держал экзамен...*— Речь идет о выполнении Маяковским партийных поручений.

Арест.— *...прочел «Санина»* — роман М. П. Арцыбашева, пользовавшийся в те годы скандальной известностью. *...опять кратковременная сидка.*— Второй раз Маяковский, арестованный 18 января 1909 года, находился под арестом более месяца. *Махмудбеков С. А.*— чиновник московского почтамта, ранее работавший помощником начальника петербургской тюрьмы «Кресты».

Третий арест.— Маяковский был арестован 2 июля, переведен в Бутырскую тюрьму 18 августа 1909 года.

11 бутырских месяцев. — *Курлов* П. Г. (1860 — 1923) — занимал пост товарища министра внутренних дел. *...судили по первому делу* — о тайной типографии МК РСДРП (большевиков).

Так называемая дилемма.— *...из Строгановского.*— Маяковский был принят в приготовительный класс Строгановского

художественно-промышленного училища в августе 1908 года, однако аресты и тюремное заключение помешали его обучению. ...*«в небеса запустил ананасом»*...— из стихотворения А. Белого «В горах».

Начало мастерства.— *Учился у Жуковского.*— В студии С. Ю. Жуковского (1873—1944) Маяковский учился около четырех месяцев, в первой половине 1910 года. *Пошел к Келину.*— В студию П. И. Келина Маяковский поступил в середине 1910 года.

Последнее училище.— *Сидел на «голове» год...*— т. е. год учился рисовать голову в Училище живописи, ваяния и зодчества, куда поступил в августе 1911 года.

В курилке.— *Остров мертвых.*— Имеется в виду симфоническая поэма С. Рахманинова «Остров мертвых».

Памятнейшая ночь.— *Родился российский футуризм.*— Футуризм как течение возник в России раньше. Маяковский же имеет в виду организацию группы кубофутуристов.

Участвуя в публичных выступлениях группы кубофутуристов, публикуя свои стихи в футуристических изданиях, ставя свою подпись под соответствующими декларациями, поэт считал футуризм явлением, призванным радикально обновить искусство и дать живительный импульс развитию самой жизни. В его представлении тех лет он был чуть ли не единственной силой, борющейся с нравами и искусством буржуазного общества. Связь с футуризмом несомненно наложила отпечаток на формирование художника, но, как показывает его дальнейший путь, оказалась не настолько сильной, чтобы заглушить в его творчестве социальный и гуманистический пафос. Прокрустово ложе футуризма оказалось слишком узким для огромного таланта Маяковского, идейно-эстетическое развитие которого выводило его на дорогу больших художественных открытий и важных теоретических обобщений, касающихся сущности и перспектив развития искусства в революционную эпоху. Его ранние стихи с их трагическим ощущением жизни, нарастающим социальным протестом, гуманистическим пафосом принципиально отличались от футуристических произведений.

Так ежедневно.— *«Багровый и белый»* — из стихотворения «Ночь».

Прекрасный Бурлюк.— *Новая Маячка* — имение в Херсонской губернии, где отец Д. Д. Бурлюка был управляющим.

«Пощечина».— ...*совместный манифест.*— Предисловие к сборнику «Пощечина общественному вкусу», изданному в 1912 году.

Разумеется.— *...изгнал нас из училища.*— Маяковский и Бурлюк были исключены из Училища живописи, ваяния и зодчества в феврале 1914 года.

Война.— *Плакаты заказные...*— Над текстами плакатов Маяковский работал в августе—октябре 1914 г., т. е. уже после того, как было написано стихотворение «Война объявлена».

Август.— *Пошел записываться добровольцем.*— Маяковскому было отказано в просьбе принять его добровольцем в армию в связи с его политической неблагонадежностью. *Модль* — начальник Московского охранного отделения.

Зима.— *«Ах, закройте, закройте глаза газет»* — из стихотворения «Мама и убитый немцами вечер».

Куоккала.— *...репинские травки.*— Художник И. Е. Репин был вегетарианцем.

«Новый сатирикон» — популярный в те годы еженедельный сатирический журнал под редакцией А. Аверченко.

Призыв.— *Забрили.*— Маяковский был призван на военную службу в октябре 1915 года и направлен в Военно-автомобильную школу в Петрограде.

26 февраля, 17-й год.— Февральская революция здесь ошибочно отнесена к этой дате, в то время как в поэтохронике «Революция» дата правильная — 27 февраля. *Гучковеет.*— Имеется в виду установление реакционного политического курса (по имени лидера партии октябристов, военного и морского министра Временного правительства А. И. Гучкова).

Август.— *«Новая жизнь»* — газета, где печатался Маяковский. Ее позиции постепенно становились все более и более меньшевистскими.

18-й год.— *Заходил в Пролеткульт к Кшесинской.*— Пролеткульт (тогда—Общество пролетарских искусств) помещался в бывшем дворце балерины Кшесинской в Петрограде.

25 октября, 18-й год.— *Окончил мистерию.*— Имеется в виду «Мистерия-буфф». *Андреева* М. Ф. (1872—1953) — в то время заведующая Театральным отделом Петроградского Совета.

19-й год.— *...организуется комфут...*— Имеется в виду создание объединения «коммунистов-футуристов». *«Искусство коммуны»* — еженедельная газета Отдела изобразительных искусств Наркомпроса, издававшаяся в Петрограде с декабря 1918 года по апрель 1919 года. *Пошел в агитацию Роста.*— Маяковский работал в РОСТА (Российском телеграфном агентстве) с октября 1919-го по январь 1921 года.

22-й год.— *МАФ* — Московская ассоциация футуристов. *«Пятый Интернационал»* — поэма, оставшаяся незавершенной.

23-й год.— *«Леф»* — Левый фронт искусств — название литературной группы и журнала, руководимых В. В. Маяковским. Журнал выходил в 1923—1925 годах. Маяковский стремился объединить участников «Лефа» на платформе коммунистической идеологии, пафоса строительства революционного искусства. При всей определенности исходных позиций Маяковского на страницах журнала находили место ошибочные теории лефовцев — вульгарно-социологического и формалистического характера. В 1927 году начал выходить под редакцией Маяковского журнал «Новый Леф». В середине 1928 года Маяковский вышел из группы «Леф», считая, что «мелкие литературные дробления изжили себя». Объясняя свой уход из «Лефа», Маяковский говорил, что «Леф» — это эстетическая группа, которая приняла нашу борьбу как факт, как таковой, и сделала из революционной литературы замкнутое в себе эстетическое предприятие».

25-й год. *«Сам пройдись по небесам»*.— Сборник под таким названием издан не был.

1927-й год.— *Восстанавливаю... «Леф», уже «Новый»*.— Имеется в виду создание журнала «Новый Леф», который выходил под редакцией Маяковского в 1927—1928 годах.

1928-й год.— *Пишу поэму «Плохо»*.— Поэма не была написана. *Пьесу...* — имеется в виду пьеса «Клоп», законченная во второй половине года.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Вывескам (с. 46).— *Созвездия «Магги»*.— Имеется в виду световая реклама бульонного экстракта фирмы «Магги».

Я (с. 47).— *Аванцо* — магазин художественных изделий в Москве. *Я люблю смотреть, как умирают дети*.— На то, что эти слова не следует понимать буквально, указывал сам поэт (см. сб. «Маяковскому». Л., 1940, с. 180). В ранних своих стихах Маяковский иногда надевает на себя маску грубияна и циника. За стремлением поэта шокировать читателя дерзкими выпадами и неожиданными признаниями, идущими вразрез с общепринятой моралью, скрывается трагическое ощущение жизни.

Нате! (с. 50).— Прочитанное 19 октября 1913 года в московском литературном кабаре «Розовый фонарь», стихотворение привело в ярость присутствующую там буржуазную публику.

Война объявлена (с. 53) — Стихотворение написано в связи с началом 1 августа (18 июля) 1914 года первой мировой войны.

Мама и убитый немцами вечер (с. 54).— *...на шее Варшавы. ...пальцы улиц ломала Ковна.*— В районе Варшавы и Ковно (теперь Каунас) осенью 1914 года шли ожесточенные бои.

Я и Наполеон (с. 57).— *...у Ноева оранжереи...*— Имеется в виду цветочный магазин Ноева в Москве. *...солнце Аустерлица!* — Рано утром в день Бородинской битвы, увидев восходящее солнце, Наполеон воскликнул: «Вот солнце Аустерлица!» В этих словах выразилась его надежда на успех сражения, ибо в 1805 году под Аустерлицем он одержал победу над русско-австрийскими войсками. *Он раз чуме приблизился троном...*— В 1799 году в Яффе (Палестина) Наполеон посетил чумной госпиталь. *...тысячу Аркольских мостов!* — В 1796 году во время сражения французов с австрийскими войсками возле местечка Арколе Наполеон лично руководил атакой одной из колонн.

Вам! (с. 59).— Это стихотворение, прочитанное на вечере в артистическом подвале «Бродячая собака», вызвало гневное возмущение буржуазной публики.

Гимн обеду (с. 65).— *...ударами ядр тысячи Реймсов разбить...*— В начале первой мировой войны выдающийся архитектурный памятник XIII века Реймский собор был сильно поврежден при обстреле германской артиллерией.

Лиличка! Вместо письма (с. 77).— Стихотворение адресовано Л. Ю. Брик (1891—1978) *...в крученыховском аде.*— Имеется в виду футуристическая поэма А. Крученых и В. Хлебникова «Игра в аду».

Надоело (с. 79).— *...рябое прочту «Простое как мычание».*— Маяковский говорит о сборнике своих стихов, вышедшем в издательстве «Парус» в 1916 году. Назван «рябым» из-за цензурных изъятий.

Дешевая распродажа (с. 81).— *Надеждинская*—улица в Петрограде, на которой в 1916—1918 гг. жил Маяковский (теперь ул. Маяковского).

Последняя петербургская сказка (с. 86).—*Стоит император Петр Великий...*— Имеется в виду памятник Петру I на Сенатской площади в Петрограде. *«Запирую на просторе я!»* — перефразировка строки «И запируем на просторе» из поэмы Пушкина «Медный всадник». *Гренадин* — прохладительный напиток.

Братья писатели (с. 88).—*Бристоль* — литературное кафе в Петрограде. *Франсуа Вийон* — французский поэт XV века. Существует версия, что в молодости он был замешан в уголовном преступлении. *«Причесываться? Зачем же?!»* — перефразировка строк лермонтовского стихотворения «И скучно и грустно...» — «Любить — но кого же?..»

Революция (с. 90).— *Волынский полк* — полк Петроградского гарнизона, первым перешедший на сторону революции. *...марсельский марш.*— Имеется в виду «Марсельеза». *...купол Думы.*— Купол Таврического дворца, где помещалась Государственная дума. *...скрижали с нашего серого Синая.*— Согласно библейскому сказанию, бог на горе Синай дал пророку Моисею скрижали с десятью заповедями.

«Ешь ананасы...» (с. 97).— Рассказывая в статье «Только не воспоминания...» о том, как были сделаны эти строки, Маяковский пишет: «...петербургские газеты первых дней Октября писали, что матросы шли на Зимний, напевая какую-то песенку: Ешь ананасы... и т. д.»

Ода революции (с. 100).— *...Блаженный стропила соборовы тщетно возносит, пощаду моля...*— В дни боев с юнкерами в октябре 1917 года собор Василия Блаженного в Москве пострадал от артиллерийского обстрела. *«Слава». Хрипит в предсмертном рейсе.*— Военный корабль, команда которого героически сражалась с немецким флотом, выступившим в октябре 1917 года для захвата революционного Петрограда. Корабль затонул, подожженный немецкими снарядами. *Прикладами гонишь седых адмиралов...*— Имеются в виду волнения среди моряков-балтийцев в августе — сентябре 1917 года. Волнения зачастую сопровождались выступлениями против контрреволюционного командования.

Левый марш (с. 106).— Во время выступления в Доме комсомола Красной Пресни 25 марта 1930 года Маяковский рассказал об истории создания этого стихотворения: «Мне позвонили из бывшего гвардейского экипажа и потребовали, чтобы я приехал читать стихотворения, и вот я на извозчике написал «Левый марш». Конечно, я раньше заготовил отдельные строфы, а тут только объединил адресованные к матросам».

Потрясающие факты (с. 107).— Написано в связи с восстанием берлинских рабочих в январе 1919 года. Поэтическая мысль этого стихотворения представляет собой перифраз и своеобразное развитие применительно к возникшей исторической ситуации идеи, выраженной в первой строке «Коммунистического манифеста»: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». *...где*

гудит союзное ржанье...— Имеется в виду военное совещание представителей союзных держав (Франции, Англии, США), проходившее в Париже по поводу подписания Версальского договора.

Мы идем (с. 109).— *Это революция и на Страстном монастыре начертила...*— Речь идет о революционных лозунгах, написанных на стенах Страстного монастыря в Москве, находившегося в те годы на Страстной площади (ныне — Пушкинская площадь).

Советская азбука (с. 110).— Об истории издания «Советской азбуки» Маяковский рассказал в одном из своих выступлений: «...Это очень интересная страница из истории нашей революционной поэзии... Она была написана для армейского употребления. ...никто не хотел эту книжку печатать. Типографии не было. Я нашел одну пустующую типографию... Рабочих не было, кто бы мог пустить в ход машину. Мне самому приходилось пускать ее в ход. Не было никого, кто бы принял уже напечатанные листы. У меня были приятели, с которыми я это сделал. Нужно было покрасить, не хватало краски, мы от руки три — пять тысяч раскрашивали и дальше весь этот груз на собственной спине разносили. Это по-настоящему ручная работа в пору самого зловещего окружения Советского Союза. Свою работу эта книжка сделала» (Выступление в Доме комсомола Красной Пресни 25 марта 1930 г.). *Вильсон* Вудро (1856—1924) — в те годы президент США, один из вдохновителей вооруженной интервенции против Советской России. *Фон дер Гольц* (1865—1930) — немецкий генерал, войска которого оккупировали Прибалтику. *Милюков* П. Н. (1859—1943) — лидер партии кадетов, один из активных деятелей контрреволюции. *Ллойд-Джордж* (1863—1945) — глава английской либеральной партии, в те годы премьер-министр Великобритании. *Носке* Густав (1868—1946) — правый социал-демократ. Будучи членом правительства Германии в годы после окончания первой мировой войны, «прославился» жестоким подавлением революционного восстания немецких моряков в Киле в 1918 году. *Сазонов* С. Д. (1860—1927) — царский дипломат, находясь после Октября 1917 года в эмиграции, «представлял» правительство Деникина. *Д'Аннунцио* Габриэле (1863—1938) — итальянский писатель, примкнувший впоследствии к фашистскому движению. В 1919 г. командовал отрядом, захватившим город Фиуме, на который по условиям перемирия претендовала Австрия. *Чалдон* (областн. выражение) — коренной житель Сибири. Маяковский употребляет это слово несколько в ином смысле, имея в виду сибирское кулачество, поддерживающее Колчака. *Шкуры* — словообразование от фамилии

белогвардейского генерала *Шкуро* А. Г. (1887—1947), пытавшегося взять Москву. *Колчак* А. В. (1874—1920) — царский генерал, руководитель контрреволюции в Сибири. *Юденич* Н. Н. (1862—1933) — царский генерал.

ОКНА САТИРЫ РОСТА

С осени 1919 года Маяковский работал в РОСТА (Российском телеграфном агентстве), выпускающем агитационные плакаты на злобу дня — «Окна РОСТА». Изготовляемые вручную, плакаты вывешивались в людных местах. Маяковский принимал в их выпуске активное участие — как художник и автор многих подписей к рисункам. Вместе с Маяковским в РОСТА работали художники М. М. Черемных, И. А. Малютин, А. М. Лавинский, Д. Моор (Д. С. Орлов) и др.

Владимир Ильич! (с. 118).— Написано в связи с пятидесятилетием со дня рождения В. И. Ленина.

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче (с. 120).— Летом 1920 года Маяковский жил на даче в Пушкино. *Сиди, рисуй плакаты!*— См. примеч. к предыдущему разделу.

Сказка о дезертире, устроившемся недурненько, и о том, какая участь постигла его самого и семью шкурника (с. 129).— *...чтоб вовеки не смел никакой Керзон...*— имеется в виду агрессивное выступление английского министра иностранных дел Керзона по поводу политики Советского государства.

Стихотворение о Мясницкой... (с. 150).— *Мясницкая* — улица в Москве, теперь улица Кирова. *Правдив и свободен мой вещий язык...* (и далее)— перефразированные строки из «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина.

Приказ № 2 армии искусств (с. 152).— *Пентры* — художники (*фр.* peintres). *...футуристики, имажинистики, акмеистики...*— представители литературных группировок футуризма, имажинизма и акмеизма. *Пролеткультцы.*— В данном случае имеются в виду представители литературных объединений Пролеткульта.

Прозаседавшиеся (с. 154).— Стихотворение было высоко оценено В. И. Лениным. Выступая на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 года с речью «О международном и внутреннем положении Совет-

ской республики», он сказал: «Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно» (Ленин В. И. Поли. собр. соч. т. 45, с. 13). *Тео* — Театральный отдел Главполитпросвета при Наркомпросе. *Гукон* — Главное управление конноазаводства при Наркомземе.

Сволочи! (с. 156).— Стихотворение написано в связи с голодом, охватившим из-за засухи и неурожая 1922 года ряд районов нашей страны. Это бедствие правящие круги капиталистических стран пытались использовать в целях подрыва Советской власти. В отличие от них прогрессивная общественность Запада проводила сборы средств в помощь голодающим. *Помгол* — Комиссия помощи голодающим, созданная ВЦИК в 1920 году. *Фритиоф Нансен* (1861—1930) — знаменитый исследователь Арктики; был одним из активнейших организаторов помощи голодающим. *Вечным Жидом*.— По средневековой легенде, Агасфер был обречен на вечное скитание за то, что отказался дать отдохнуть Христу, несущему крест. *«Ампир»* — ресторан в Москве.

Бюрократиада (с. 161).— *«Осади бея трудовой!»* — речь идет о трудовой книжке, которая в те годы заменяла паспорт и удостоверение личности.

Моя речь на Генуэзской конференции (с. 166).— На международную экономическую конференцию, проходившую в Генуе в апреле—мае 1922 года, впервые была приглашена делегация Советской России. Империалистические государства пытались использовать конференцию для создания экономической зависимости нашей страны от Запада. В этих целях они пытались навязать Советскому государству кабальные условия соглашения, которые были отвергнуты советской делегацией, выдвинувшей со своей стороны ряд мирных предложений. *Чичерин* Г. В. (1872—1936) — народный комиссар иностранных дел, возглавлявший советскую делегацию в Генуе. *«Матэн»* — французская буржуазная газета. *«Таймс»* — английская газета консервативного направления. *Пуанкаре* Раймон (1860—1934) — буржуазный политический деятель, в течение ряда лет был президентом Франции. *Ллойд-Джордж* Давид (1863—1945) — буржуазный политический деятель, в течение ряда лет был премьер-министром Англии. Пуанка-

ре и Ллойд-Джордж были идейными вдохновителями и организаторами интервенции против Советской России. Оба — глашатаи политики экономического удушения Советского государства. *Слышите из Берлина первый шаг трех Интернационалов?* — Речь идет о конференции (1922), в которой принимали участие представители Исполкомов Коминтерна и оппортунистических 2-го и так называемого 2 ½-го Интернационалов. Цель конференции заключалась в поисках путей к достижению единства действий рабочего класса.

Германия (с. 168).— Написано в результате поездки Маяковского в Германию осенью 1922 года. *Рапалло.*— Договор об установлении дипломатических отношений между Советской Россией и Германией, подписанный в апреле 1922 года в Рапалло (Италия). *...шел Керенский в орудийном гуле.*— Имеется в виду наступление русских войск на русско-германском фронте, начатое по приказу Керенского в июне 1917 года. *Стиннес* Гуго (1870—1924) — могущественный капиталист Германии. *Шибер* — спекулянт. *Норден* — рабочие кварталы Берлина.

О поэтах (с. 171).—...о *«прожигании глаголами сердец людей»* — перефразировка строки из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» «Глаголом жги сердца людей». *Анатолия Васильича* — А. В. Луначарский (1875—1933) — первый народный комиссар просвещения. *Семашко* Н. А. (1874—1949) — первый народный комиссар здравоохранения.

О «фиасках», «апогеях» и других неведомых вещах (с. 174).— *На съезде печати...*— Имеется в виду выступление М. И. Калинина на IV Всероссийском съезде работников печати 7 февраля 1923 года. *Рур* — основной район каменноугольной, тяжелой и военной промышленности Западной Германии, являвшийся в годы первой мировой войны и после нее предметом ожесточенной борьбы капиталистических стран. В январе 1923 года французская армия оккупировала Рурскую область.

Париж (с. 176).— Написано в результате поездки в Париж осенью 1922 г.

Газетный день (с. 180).— *...весь народ, который не поместился под башню Сухареву...*— На территории нынешней Колхозной площади в Москве в те годы находилась Сухарева башня, вокруг которой располагался большой рынок. *«Это я — настоящий Бим-Бом!»* — Имеется в виду реальный факт: Б. Афанасьев, импресарио цирковых артистов Бим-Бом, поместил в газете «Известия» объявление, в котором сообщал, что выступающие в Москве под этим именем клоуны — самозванцы, а настоящие Бим-Бом гастролируют на Кавказе и в Крыму. *Чжан Цзо-лин* (1876—1928)— китайский генерал, фактический правитель Маньчжурии. *Гаолян* —

разновидность проса, распространенная в Китае и прилегающих к нему областях.

Универсальный ответ (с. 191).— Стихотворение явилось откликом на ноту английского правительства от 8 мая 1923 года («Ультиматум Керзона»).

Воровский (с. 193).— Стихотворение написано в связи с убийством в Лозанне 10 мая 1923 года В. В. Воровского (род. в 1871 г.), в то время — советского полпреда в Италии.

Баку (с. 194).— *Балаханы* — пригород Баку, где находится часть нефтяных промыслов.

Нордерией (с. 197).— *Нордерней* — курортное место, остров у северо-западного побережья Германии. *Табльдот* — общий обед в гостиницах. *Обер* — обер-кельнер *(нем.)* — старший официант.

Москва — Кенигсберг (с. 199).— *Тверская* — улица в Москве, ныне — улица Горького. *Брик* — Л. Ю. Брик. *Ньюбольд Д. И.*— английский коммунист, участник пленума Исполкома Коминтерна, проходившего летом 1923 года в Москве. Л. Ю. Брик и Ньюбольд летели с Маяковским в одном самолете. *Ходынка* — Ходынское поле — название места в Москве, рядом с которым находились аэродром и красноармейские лагеря. *Уточкин С. И.* (1876—1916) — русский спортсмен и летчик, во время одного из полетов потерпел аварию и получил увечья. *Горро* — французский летчик-спортсмен, установивший несколько рекордов дальности полета. *«Гном»* — марка мотора. *Юнкерс и Дукс* — немецкие авиационные фирмы.

Киев (с. 203).— *Перун* — одно из главных божеств у восточных славян. *Дир и Аскольд* — киевские князья IX века. *Плеть креста сжимает каменный святой.*— Речь идет о памятнике Великому князю Киевскому Владимиру, крестившему Русь. Установлен на Владимирской горке и изображает князя несущим большой крест. *Подол* — промышленный район Киева. *...земной Владимир...*— В. И. Ленин.

Ух, и весело! (с. 206). *Брынским лесам* — упоминаемые в русских былинах леса на берегах реки Брынь.

Юбилейное (с. 215).— Стихотворение написано в связи со 125-летием со дня рождения А. С. Пушкина, отмечавшимся 6 июня 1924 года. *Навуходоносором библейцем...*— В Библии упоминается вавилонский царь Навуходоносор II. *Синемордое... «Коопсах»* — эмблема «Коопсаха» (Кооператива сахарной промышленности) — на синем фоне изображены оранжевые лучи, между которы-

ми красовалась сахарная голова. *Дорогойченко* А. Я. (1894—1947), *Герасимов* М. П. (1889—1939), *Кириллов* В. Т. (1889—1943), *Родов* С. А. (1893—1968) — поэты, современники Маяковского. *Однаробразный* — неологизм Маяковского, сочетание слов «однообразный» и «наробраз» (отдел народного образования). *Леф* — см. с. 738. *На Тверском бульваре очень к вам привыкли.*— Памятник Пушкину в Москве стоял в те годы у начала Тверского бульвара.

Владикавказ — Тифлис (с. 233). *Архалух* — кавказская одежда. *Карабах* — в данном случае порода кавказских лошадей. *Ройльс* («роллс-ройс») — марка знаменитых английских автомобилей. *Мститель Арсен* — участник революции 1905 года Арсен Джорджиашвили (1881—1906); за убийство генерала Грязнова в 1906 году был казнен. *Алиханов* — см. с. 735.

Тамара и Демон (с. 238).— *...преду искусств — Петру Семенычу Когану.*— П. С. Коган (1872—1932) — критик и историк литературы, возглавлял Государственную Академию художественных наук. *«Красная нива»* — популярный литературно-художественный и общественно-политический журнал. *...про это пишет себе Пастернак.*— В книге Б. Л. Пастернака «Сестра моя жизнь» (М., 1922), посвященной Лермонтову, есть стихотворение «Памяти Демона».

ПАРИЖ

В ноябре—декабре 1924 года Маяковский побывал во Франции. Под впечатлением этой поездки был написан цикл стихов о Париже.

Еду (с. 250).— *...площадь и та Этуаль.*— Этуаль по-французски — звезда.

Город (с. 252).— *Эррио* Эдуард (1872—1957) — в 1924—1925 гг. возглавлял правительство Франции. *Попутчик* — «попутчиками» называли в 20-е годы писателей, вышедших не из пролетарской среды, но принявших революцию. В условиях идейно-эстетической борьбы и литературной полемики того времени термин «попутчик» зачастую употреблялся весьма произвольно. *Елисейские поля* — улица в Париже. *Вандомская колонна* — установлена на Вандомской площади в Париже в честь Наполеона I.

Верлен и Сезан (с. 255).— *Верлен* Поль (1844—1896)— французский поэт. *Сезанн* Поль (1839—1906) — французский художник. *Виардо*-Гарсиа Полина (1821—1910) — французская пе-

вица, близкий друг И. С. Тургенева. *ГУС* — Государственный ученый совет Народного комиссариата просвещения РСФСР. *Вардин* (Мгеладзе) И. В. — литературный критик, один из руководителей РАППа. *АХРР* — Ассоциация художников революционной России. *«Ротонда»* — кафе в Париже.

Notre-Dame (с. 261).— *Блаженного Васьки* — церковь Василия Блаженного в Москве. *«Знак Зоро»* — американская кинокартина.

Версаль (с. 264).— *Капет.*— Имеется в виду Людовик XVI, свергнутый с престола в 1792 г. Маркиза де *Помпадур* — фаворитка Людовика XV. *Большой Трианон, Малый Трианон* — названия дворцов в Версале. *Мария-Антуанетта* — французская королева, жена Людовика XVI; как и он, казнена революционным народом в 1793 г. *Санкюлоты* — название революционеров во времена французской буржуазной революции XVIII в.

Жорес (с. 267).— *Жорес Жан* (1859—1914) — видный деятель французской социал-демократии. В 1914 году был убит шовинистом Вилленом. 13 ноября 1924 года прах Жореса был перенесен в Пантеон.

Прощание (Кафе) (с. 270).— *...на кулиджиевской тете...*— Кулидж Калвин (1872—1933) — президент США в 1923—1929 гг.

СТИХИ ОБ АМЕРИКЕ

В 1925 году, после кратковременного пребывания в Париже, Маяковский на пароходе отправился в Мексику. Прожив там некоторое время, получил визу в США, где за три месяца посетил ряд крупнейших городов. По впечатлениям этого путешествия был написан в течение 1925—1926 годов цикл стихов. О многих именах, фактах, событиях, получивших отражение в этих стихах, говорится также в очерках «Мое открытие Америки», написанных в это время.

6 монахинь (с. 275).— *...медали со Львом и с Пием.*— Имеются в виду медали с изображением римских пап Льва XIII и Пия IX.

Атлантический океан (с. 278).— *Европа скрылась, мельчась.*— Здесь говорится об отплытии из испанского порта Ла-Корунья.

Мелкая философия на глубоких местах (с. 282).— *Стеклов* Ю. М. (1873—1941) — первый редактор газеты «Известия ЦИК», регулярно выступавший с длинными передовыми статьями, которые Маяковский называл «стекловицами».

Блек энд уайт (с. 284) — черное и белое *(англ.)*. *Фламинго* — название птицы. *Коларио* — гаванские цветы *. *Ведадо* — загородный квартал богачей*. *«Энри Клей энд Бок лимитед» (англ.)* — название табачной фирмы. *Прадо* — главная улица Гаваны *. *Масео* Антонио (1845—1896) — один из руководителей национально-освободительной борьбы кубинского народа. *Ай бэг ёр пардон* — прошу прощения *(англ.)*.

Христофор Коломб (с. 293).— *Сион*—священная гора в Иерусалиме, столице древнееврейского государства. *Флорины и пезеты* — флорентийские и испанские монеты. *Жижон* — французское название испанского порта Хихон. *...пучки травы волокли.*— Саргассово море изобилует плавучими водорослями. *Сан-Сальвадор* — остров в Саргассовом море, который, как предполагают, был первым островом, открытым Колумбом. *...фокус со знаменитым колумбовым яйцом.*— По преданию, Колумб сумел поставить яйцо, надколов его снизу. *«Мажестик»* — название одного из крупнейших морских кораблей.

Тропики (с. 300).— *Вера-Круц* (Веракрус) — порт на мексиканском берегу. *Мехико-Сити* — столица Мексики. *Шантеклер* (фр.) — петух.

Мексика (с. 301). — *...гачупины с гринго.* — Гачупины, гринго — распространенное в Мексике название испанцев и американцев. *Кактусовый пульке* — полуводка *. *Моктецума* — последний индейский царь, предавший интересы своего народа. *Гватемок* — вождь ацтеков, индейской народности. *...чехарда всех этих Хуэрт и Диэцов...*— Имеется в виду частая смена правительства. *Сарапе* — название национальной одежды. *Гваделупа* — знаменитая католическая святыня в Мексике. *Чапультапек* — сад в Мехико. *Запата* (Сапата) Эмилиано (1879—1919) — один из вождей мексиканского революционного движения; был расстрелян. *Гальван, Марено, Карио* — коммунисты Мексики *. *..над мексиканским арбузом...*— Цвета мексиканского знамени — цвета арбуза: зеленый, белый, красный *.

Мексика — Нью-Йорк (с. 312).— *Ларедо* — город на границе Мексики и США, разделенный рекой на две части — американскую и мексиканскую. *«Твенти сенчери экспресс»* («Двадцатый век») — название поезда. *Рапид* — скорый поезд.

Бродвей (с. 314). *Чуингам* — жвачка, которую жует вся Америка *. *«Мек моней?»* — «Делаешь деньги?» — вместо приве-

---

* Это и последующие примечания, отмеченные звездочкой, сделаны самим Маяковским в первой публикации в книге «Испания. Океан...».

та *. *Бизнес* — дело *. *Собвей* — подземная городская железная дорога *. *Элевейтер* — воздушная городская железная дорога *. *Гудзон* — река, у устья которой расположен Нью-Йорк. *«Кофе Максвел гуд ту ди ласт дроп»* — реклама Нью-Йорка: «Кофе Максвел хорош до последней капли» *. *Гау ду ю ду* — привет при встрече *.

Свидетельствую (с. 316).— *«Пенсильвэниа Стейшен»* — вокзал в Нью-Йорке. *Кулидж* Калвин — см. с. 747.

Барышня и Вульворт (с. 319).— *Вульворт*—небоскреб в Нью-Йорке. *Тайпистки*—машинистки. *«Дрóгс сóда, грет энд фéймус кóмпани-нéйшенал»* — «Великая и знаменитая национальная компания шипучих напитков» — название парфюмерного магазина, при котором всегда имеется стойка для питья вод и еды мороженого*. *Волстрит* — улица банков в Нью-Йорке *.

Порядочный гражданин (с. 325).— *«Бусы»* — автобусы. *Куни-Айланд* — остров увеселений в Нью-Йорке. *Плаза* — название роскошной гостиницы в Нью-Йорке. *Менаджер* — организатор. *Поп Платон.*— Митрополит Платон Рождественский; был в те годы главой православной церкви в США. *Клоб* — палка.

Вызов (с. 328).— *Риверсайд* — район Нью-Йорка. *Ник Картер* — персонаж детективной литературы. *Прогибишен* (англ.)— запрещение, здесь: «сухой закон». *«Белая лошадь»* — сорт виски.

100 % (с. 330).— *Шеры* — акции.

Американские русские (с. 333). По свидетельству организатора выступлений Маяковского в СССР П. И. Лавута, поэт перед чтением этого стихотворения обычно рассказывал: «Все языки в Америке перемешались. Например, английский понимают все, кроме англичан. Русские называют трамвай — стриткарой, угол — корнером, квартал — блоком... Еврей прибавляет к английскому и русскому еще некоторые слова». (Лавут П. И. «Маяковский едет по Союзу»). *Апойнтман* — свидание *. *Апáртман* — квартира *. *Блок* — квартал *. *Стриткара* — трамвай *. *Трен* — поезд *. *Тикет* — билет *. *Корнер* — угол *. *Бутлегер* — торговец спиртом *. *Бордер* — квартирант *. *Джаб* — работа *. *Офис* — место службы *.

Бруклинский мост (с. 335).— Бруклинский мост в Нью-Йорке — один из крупнейших подвесных мостов мира. *Юнайтед стетс оф Америка* — Соединенные Штаты Америки. *Мангетен* (Манхеттен) — остров, на котором расположена центральная часть Нью-Йорка.

Кемп «Нит гедайге» (с. 339).— *Кемп* — лагерь (англ.); *«Нит гедайге»* — «Не унывай» (еврейск.) — название летнего

рабочего поселка, организованного под Нью-Йорком еврейской комгазетой «Фрайгайт» *. *М. К. Х.*— Московский отдел коммунального хозяйства.

Сергею Есенину (с. 345).— Написано в связи со смертью С. А. Есенина (род. в 1895 г.), покончившего жизнь самоубийством 27 декабря 1925 г. *...приставить бы кого из напостов.*— Напостовцы — литераторы, группировавшиеся вокруг журнала «На посту» — руководящего органа Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Напостовцы считали себя выразителями партийной точки зрения на литературу, хотя в их взглядах на литературный процесс было немало упрощенного и ошибочного. Вопреки указаниям партии относительно тактичного отношения к литературным объединениям, не входящим в РАПП, но близким Советской власти, они позволяли себе применять к различным группировкам и писателям командный тон. *Доронин* И. И. (1900—1978) — советский поэт; его поэму «Тракторный пахарь» Маяковский критиковал за длину и «однообразие... словесного и рифменного пейзажа». *«Англетер»* — гостиница в Ленинграде, в которой Есенин покончил с собой. *«Ни слова, о друг мой, ни вздоха»* — романс П. И. Чайковского на слова А. Н Плещеева. *Эх, поговорить бы иначе с этим самым с Леонидом Лоэнгринычем!* — Партия Лоэнгрина из одноименной оперы Вагнера считалась одной из лучших ролей Леонида Витальевича Собинова. *Коган* П. С.— критик и историк литературы, автор статей о Есенине. Здесь — собирательный образ. *В этой жизни помереть не трудно...*— перефразировка строк предсмертного стихотворения С. Есенина.

Марксизм — оружие, огнестрельный метод. Применяй умеючи метод этот! (с. 350).— *Штыками двух столетий стык закрепляет рабочая рать.*— В декабре 1925 года исполнилось сто лет со дня восстания декабристов. *...милюковски юля...*— П. Н. Милюков (1859—1943) — глава партии кадетов, в целях защиты интересов буржуазии зачастую лавировавший между различными группировками своей партии. *Лежнев* А. З. (1893—1938), *Вешнев* В. Г. (1881—1932) — советские критики и литературоведы, принадлежавшие к группировкам с разной идейно-художественной ориентацией.

Четырехэтажная халтура (с. 354).— *В Африки, вослед за Бенуями...*— Действие ряда произведений французского писателя Пьера Бенуа (1886—1962) происходит в экзотических странах. *Званье — «пролетарские» — нося как эполеты...*— Часть руко-

водства РАППа неверно понимала свою роль в литературном процессе. Считая себя чуть ли не единственными выразителями пролетарской идеологии, они противопоставляли себя другим советским литераторам. *Попутчики* — см. с. 746. *Радимов* П. А. (1887—1967), *Лидин* В. Г. (1894—1979), *Казин* В. В. (1898—1980), *Санников* Г. А. (1899—1969) — советские писатели.

Разговор с фининспектором о поэзии (с. 357).— О мотивах, побудивших его взяться за эту тему, Маяковский рассказал в статье «А что вы пишете?»: «Качество писательской продукции (в связи с этим и положение писателя в нашем советском обществе) чрезвычайно пошатнулось, понизилось, дискредитировалось. Здесь были и объективные причины временного понижения — многолетняя работа от срочного задания к срочному заданию, отсутствие времени на продумывание формальной стороны работы... Значительно хуже — субъективные причины понижения качества. Это писательская бессовестная, разухабистая халтурщина... Ощущению квалификации посвящено мое главное стихотворение последних недель — «Разговор с фининспектором о поэзии...». ...*за неподачу деклараций*.— Люди «свободных профессий», торговцы, частники и т. п. должны были ежегодно подавать заявления (декларации) в Мосфинотдел о своих доходах за год. Уклонившиеся от подачи деклараций штрафовались. ...*багдадские небеса*...— Багдади (ныне Маяковски) в Грузии — родина поэта.

Взяточники (с. 368).—*Тантьема* — одна из форм награждения высших служащих предприятия, выдававшаяся обычно из прибылей.

В повестку дня (с. 372).— *Трехгорное* — марка пива.

Товарищу Нетте—пароходу и человеку (с. 390).—Чтение этого стихотворения на вечерах Маяковский обычно предварял рассказом: «Нетте — наш дипломатический курьер в Латвии. Погиб при исполнении служебных обязанностей, отстреливаясь от нападавших на него контрразведчиков в поезде на латвийской территории... Я хорошо знал товарища Нетте. Это был коренастый латыш с приятной улыбкой, в больших роговых очках. Я встречался с ним много раз... Здесь... встречается фамилия Якобсон Ромка — ну, это наш общий знакомый... В Ростове, на улице я услышал — газетчики кричат: «Покушение на наших дипкурьеров Нетте и Махмастля». Остолбенел. Это была моя первая встреча с Нетте уже после его смерти. Вскоре первая боль улеглась. Я попадаю в Одессу. Пароходом направляюсь в Ялту. Когда наш пароход покидал гавань, навстречу шел другой пароход, и на нем золотыми буквами, освещенными солнцем, два слова: «Теодор

Нетте». Это была моя вторая встреча с Нетте, но уже не с человеком, а с пароходом» (Лавут П. И. «Маяковский едет по Союзу», М., 1963, стр. 31—32). *Нетте* Т. И. (род. в 1896 г.) погиб 5 февраля 1926 г.

Канцелярские привычки (с. 394). *Рыков* А. И. (1881—1938) —в те годы председатель Совета народных комиссаров СССР. Впоследствии был исключен из партии за антипартийную деятельность.

Хулиган («Республика наша в опасности...») (с. 397).— *...рыло мандрилье...*— Мандрил — порода обезьян.

Письмо писателя Владимира Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому (с. 404).— *...между нами что-то вышло вроде драки или ссоры.*— Дружеские отношения Маяковского и Горького, возникшие после их знакомства в 1915 году, спустя несколько лет были нарушены. *...взяли Вас международные рессоры.*— В 1921 году Горький уехал за границу лечиться. *Продают «Цемент» со всех лотков.*— Изданный в 1925 году роман Ф. В. Гладкова обратил на себя внимание читателей и критики. Маяковский, как свидетельствует его статья «Подождем обвинять поэтов», относился к этой книге довольно отрицательно. *...говорят, что Вы открыли мощи этого... Калинникова.*— Речь идет о И. Ф. Калинникове, авторе полупорнографического романа «Мощи». *Шенгели* Г. А. (1894—1956) — переводчик и литературовед, автор брошюры «Как писать статьи, стихи и рассказы», к которой Маяковский относился резко отрицательно. *Или жить Вам, как живет Шаляпин...*— Выдающийся русский певец Ф. И. Шаляпин уехал в 1922 году за границу на гастроли и не вернулся.

Долг Украине (с. 409).— *Знаете ли вы украинскую ночь?..*— Цитата из повести Н. В. Гоголя «Майская ночь». *Дуглас Фербенкс* (1883—1939) — популярный американский киноартист. *«Чуешь, сурмы заграли...»* — первые строки припева «Интернационала» на украинском языке.

Наше новогодие (с. 424).— *А для нас новогодие — подступ к празднованию Октября.*— Поэт имеет в виду приближающийся десятилетний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. *...переписью переписан...*— В декабре 1926 года в СССР происходила первая после революции перепись населения.

Стабилизация быта (с. 427).— *«Медвежья свадьба»* — популярная в те годы кинокартина, главную роль в которой исполнял К. В. Эггерт.

По городам Союза (с. 437).— *Обдорская темь.*— Имеется в виду пустынный Обдорский край в низовьях Оби. ...*сиянье Кашир.*— Имеется в виду Каширская электростанция. ВАПП — Всесоюзная Ассоциация пролетарских писателей. ...*о великом своем гражданине.*— О В. И. Ленине.

Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с лекциями профессора Шенгели (с. 440).— *Хоть я и слыхал про суровый закон...*— Имеется в виду декрет СНК СССР «О мероприятиях по борьбе с хулиганством», принятый 29 октября 1926 года. *Крыленко* Н. В. (1885—1938) — в те годы заместитель народного комиссара юстиции.

«Даешь изячную жизнь» (с. 447). *Милюков* П. Н.— см. с. 741.

Осторожный марш (с. 462). Стихотворение написано в связи с разрывом дипломатических отношений между СССР и Англией, чему предшествовал ряд провокационных действий со стороны английского правительства.

Венера Милосская и Вячеслав Полонский (с. 464).— Стихотворение написано в связи с полемикой, развернувшейся между критиком В. П. Полонским (1886—1932) и журналом «Новый Леф». *Радимов* П. А.— советский поэт и художник, пытался писать стихи о деревенской жизни гекзаметром. *Кук* — туристическое агентство.

Господин «народный артист» (с. 468). *С барина с белого сорвите, наркомпросцы, народного артиста красный венок!*— В 1927 году Ф. И. Шаляпин, уехавший в 1922 году за границу, был лишен звания народного артиста республики.

Крым («Хожу, гляжу в окно ли я...») (с. 475).— *Чаир* — место в Крыму, где Маяковский жил в августе 1926 года.

Товарищ Иванов (с. 476).— *Консистория* — учреждение, управляющее делами церкви.

Посмотрим сами, покажем им (с. 478).— Стихотворение написано в связи с проводимой в стране «Неделей обороны». *Чемберлен* Остин (1863—1937) — министр иностранных дел Англии в 1924—1929 гг.

Иван Иванович Гонорарчиков (с. 480). *Лебедев-Полянский* П. И. (1881—1948)—критик и историк литературы, в то время возглавлял Главлит (Главное управление по делам литературы и издательств).

М а р у с я   о т р а в и л а с ь (с. 485).— *Гарри Пиль* — популярный в те годы немецкий киноактер.

П и с ь м о к л ю б и м о й М о л ч а н о в а, б р о ш е н н о й и м (с. 492).—Написано как ответ на стихотворение И. Н. Молчанова (1903—1984) «Свидание». Обращаясь к героине этого стихотворения, Маяковский иронически пересказывает или цитирует молчановские строки.

«М а с с а м н е п о н я т н о» (с. 495).— *...посредников кроет Асеев...*— Имеется в виду стихотворение Н. Н. Асеева «Через головы критиков» (сб. «Изморозь», 1927).

Р а з м ы ш л е н и я о М о л ч а н о в е И в а н е и о п о э з и и (с. 499).— Стихотворение является ответом на стихотворение И. Н. Молчанова «У обрыва» и продолжает полемику, начатую Маяковским ранее, по поводу стихотворения этого поэта «Свидание».

Е к а т е р и н б у р г — С в е р д л о в с к (с. 500).—Город Екатеринбург, основанный в начале XVIII века и названный в честь жены Петра Великого (впоследствии императрицы Екатерины Первой), был в 1924 г. переименован и назван Свердловском— в память Я. М. Свердлова. *Пепеляев* В. Н. (1884—1920) — министр внутренних дел в белогвардейском правительстве Колчака. *Гайда* Рудольф — руководитель мятежа, поднятого в 1918 году в Поволжье и Сибири частями чехословацкого корпуса военнопленных. *Верховный Колчак* — царский адмирал, глава контрреволюции в Сибири.

Д е с я т и л е т н я я п е с н я (с. 506).— *Дрянь адмиральская...*—то есть Колчак. *Хрустнул, проломанный, Крыма хребет.*— После штурма советскими войсками сильно укрепленных позиций Врангеля на Перекопском перешейке (ноябрь 1920) Крым был освобожден от белогвардейских войск.

Н а г р у з к а п о м а к у ш к у (с. 508).— *НОТ* — научная организация труда. *Керженцев* П. М. (Лебедев) (1881—1940) — политический деятель и литератор, в 1919—1921 годах руководитель РОСТА. *Гастев* А. К. (1882—1941) — поэт и деятель Пролеткульта, энтузиаст идеи НОТ, возглавлял Центральный институт труда.

С л у ж а к а (с. 513).— *МОПР* — Международное общество помощи борцам революции. *МКК* — Московская контрольная комиссия.

К а з а н ь (с. 523).— *«Шурум... бурум».*— Так в дореволюционной России кричали, привлекая к себе внимание, старьевщики, ходившие по дворам и скупавшие старую одежду. Среди них было много казанских татар.

Стих не про дрянь, а про дряицо. Дряицо хлещите рифм концом (с. 532).—*Допр* — дом предварительного заключения.

Плюшкин (с. 538).—*Гросс* — дюжина дюжин, единица счета мелких товаров. *Никиш* Артур (1855—1922) — знаменитый венгерский дирижер.

Халтурщик (с. 541). — *«Жизнь за царя»* — другое название оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин», на которое автор под давлением придворных кругов и официальных властей вынужден был согласиться. *Воронов* С. А. (1866—1951) — известный хирург, занимавшийся проблемой омоложения.

Галопщик по писателям (с. 545).— Стихотворение написано в ответ на статью критика Д. Тальникова по поводу цикла американских стихов Маяковского, выдержанную в разносном, грубо-оскорбительном тоне. Игорь *Северянин* (псевд. И. В. Лотарева, 1887—1941) — русский поэт. С 1918 по 1940 г. находился в эмиграции. Умер в СССР. *Бальмонт* К. Д. (1867—1942) — русский поэт. Умер в эмиграции.

Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви (с. 562).— *Костров* Тарас (А. С. Мартыновский, 1901—1930) — критик и публицист, в те годы редактор газеты «Комсомольская правда». В 1928 г. одновременно был редактором журнала «Молодая гвардия», где было напечатано стихотворение.

Письмо Татьяне Яковлевой (с. 567).— *Яковлева* Т. А. (род. в 1906), к которой обращено стихотворение, с 1925 года жила за границей, во Франции, куда уехала по вызову своего отца. Маяковский познакомился с ней в 1928 году в Париже.

Разговор с товарищем Лениным (с. 575).— Написано в связи с пятой годовщиной со дня смерти В. И. Ленина.

Кандидат из партии (с. 584).— Стихотворение написано в связи с развернувшейся в соответствии с постановлением XVI конференции ВКП(б) «чисткой» партийных кадров, цель которой состояла в освобождении партийных рядов от людей, недостойных быть членами и кандидатами в члены ВКП(б).

Вонзай самокритику! (с. 585).— Стихотворение написано к годовщине обращения ЦК ВКП(б) от 3 июля 1928 года «Ко всем членам партии, ко всем рабочим», в котором содержался призыв всемерно развивать критику и самокритику. *«Гигант»* — совхоз на северном Кавказе. ...*то ляпнет нам пятно Смоленск, то ляпнут астраханцы*.— Имеются в виду факты разложения среди руководящих работников Смоленска и Астрахани, получившие широкое освещение в печати.

На Западе все спокойно (с. 587).— Стихотворение написано к международному антивоенному дню 1 августа.

Красавицы (с. 593).— *...убиганятся...*— Образовано от названия французской парфюмерной фирмы «Убиган». *Рефы* — участники литературной группы «Реф» (Революционный фронт искусств), организованной Маяковским в 1929 г.

Американцы удивляются (с. 597).— Стихотворение написано в связи с завершением первого года первой пятилетки.

Птичка божия (с. 601).— *...сконапель ля поэзи* — се qu'on appele la poésie *(фр.)* — то, что называют поэзией.

Стихи о Фоме (с. 604).— *Фома* неверующий — выражение связано с евангельским преданием об апостоле Фоме, не поверившем в воскресение Христа.

Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка (с. 608).—*Хренов* У. П.— знакомый Маяковского, был участником строительства Кузнецкого металлургического комбината.

МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

Наряду с циклом стихов, созданных Маяковским по впечатлениям поездки в США, им была написана книга очерков «Мое открытие Америки». К работе над ней поэт приступил еще во время путешествия. Книга была закончена после возвращения Маяковского в Москву и в августе 1926 года вышла отдельным изданием.

Балиев Н. Ф. (1877—1936) — основатель и руководитель московского театра «Летучая мышь», в 20-х годах эмигрировал за границу. *Маджонг* — китайская игра, напоминающая домино. *Трезвые Соединенные Штаты.*— Имеется в виду запрещение в Америке торговли спиртными напитками. *...бесчисленных Гомецов и Лопецов.*— Гомец и Лопец — широко распространенные в Мексике фамилии. *«Ду ю спик инглиш?» (англ.)* — «Говорите ли вы по-английски?»; *«Парлата эспаньола?»* — искаженная испанская фраза «Говорите ли вы по-испански?»; *«Парле ву франсе?» (фр.)* — «Говорите ли вы по-французски?». *«Ай эм реша»* (по-английски— правильно «Ай эм рашен») — «Я русский!». *Диего де-Ривера* (1886—1957) — выдающийся мексиканский художник. *Хулио Хуренито* — главный персонаж романа И. Г. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (1922). *Гвадалахара* — город на юго-востоке Мексики. *Крестинтерн* — Крестьянский Интернационал, существовавшая в то время международ-

ная организация. *Вапповцы* — ВАПП — см. с.. 753. *Мапповцы* — МАПП — Московская Ассоциация пролетарских писателей. *Верже* — сорт дорогой бумаги. *Павлова* Анна Павловна (1881—1931) — выдающаяся русская балерина. С 1914 года жила за границей. *Итурбиде* Агустин (1783—1824) — политический деятель Мексики, объявивший себя императором и год спустя свергнутый с престола. *Сухаревка* — см. с. 744. *Боливар* Симон (1783—1830) — один из героев национально-освободительного движения в Южной Америке. ...*нашего грузового полка.*— Полок — телега для перевозки больших грузов. *Гомперс* Сэмюэль — реакционный профсоюзный деятель США, долгие годы возглавлял Американскую федерацию труда (АФТ). *Хайкис* — работник советского представительства в Мексике. *Бон гарсон (фр.)* — хороший парень. *Одоль* — марка зубного порошка. *Шенандоу* — американский дирижабль, потерпевший во время урагана катастрофу. *Русская Канада.*— Имеется в виду, что в Канаде проживает много выходцев из России. ...с *войны за освобождение* — войны США с Англией за независимость (1775—1783). *Ай-добль-добль-ю (англ.* I. W. W.) — сокращенное название профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира». *Файф-о-клок (англ.)* — в соответствии с английской традицией чаепитие в 5 часов вечера. *Аттабой* — от английского выражения «That's a boy» — «Вот это парень!» *Линкольн* Авраам (1809—1865) — выдающийся политический деятель США. ...*пакеновскими... анановскими...*— Пакен и Анан — владельцы роскошных ателье одежды и обуви в Париже. *Обезьяний процесс.*— Имеется в виду сфабрикованный в 1925 году судебный процесс против американского учителя Скопса, который пытался ввести преподавание дарвинизма в школе. *Тридцать лет назад В. Г. Короленко...*— Маяковский неточно цитирует его повесть «Без языка». *Лет пятнадцать назад Максим Горький...*— Маяковский цитирует «Город Желтого Дьявола» Горького, побывавшего в США в 1906 году. *Дело Ванцетти.*— Ванцетти Бартоломео и Сакко Никкола — американские революционные рабочие, приговоренные в 1920 году к смертной казни по ложному обвинению в убийстве. Несмотря на протесты мировой общественности, они были казнены в 1927 году после длительного тюремного заключения. *Сто тысяч масонов...*— Масонство — религиозно-этическое движение, распространившееся, начиная с XVIII века, во многих странах мира. *Шавли.*— Имеется в виду Шяуляй, в те годы местечко на территории Литвы (ныне — большой город в Литовской ССР). *Язык Вавилонского столпотворения...*— По библейской легенде, в сооружении вавилонской башни принимали участие разные народы. Бог, решив наказать строителей, дерз-

нувших возвести башню до неба, «смешал» языки, и люди перестали понимать друг друга. *Ник Картер* — герой-сыщик из детективной литературы. *Кулешов* Л. В. (1899—1970) — советский режиссер и теоретик кино. *Карнеги* Эндрю (1836—1919) — американский миллиардер, меценат, имя которого носит научно-исследовательский институт в Питсбурге — «Институт Карнеги». *Пресловутая Кирилица* — жена Кирилла Романова, одного из претендентов на русский престол после казни Николая II. «*Принц*» *Борис* — брат Кирилла. *Родченко* А. М. (1891—1956) — советский художник, мастер фотомонтажа, друг Маяковского. *Его книга...*— Речь идет о книге Г. Форда «Моя работа и жизнь». *Френчлайн (англ.)* — французская пароходная линия. *Регардэ (фр.)* — смотрите. *Фордзон* — тракторы американской фирмы «Форд и сын» («Ford and son»). *Амторг* — акционерное общество, осуществлявшее в то время торговые операции между СССР и США.

А. Ушаков

СОДЕРЖАНИЕ

ОКНА САТИРЫ РОСТА

Маяковский В. В.

М 39 Сочинения в двух томах, т. 1/Сост. Ал. Михайлова; Вступ. ст. А. Метченко; Прим. А. Ушакова.— М.: Правда, 1987.—768 с., ил.

В первый том Сочинений В. В. Маяковского входят автобиографические заметки «Я сам», избранные стихотворения и книга очерков «Мое открытие Америки».

М $\frac{4702010200-1475}{080(02)-87}$ 1475—87 84 Р7

Владимир Владимирович Маяковский

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

Том первый

Редакторы Е. Дворецкая, Т. Лодяиая
Художественные редакторы А. Моисеев, В. Масленников
Техническнй редактор К. Заботниа

ИБ 1475 (подпнсное)

Сдаио в иабор 08.05.86. Подписаио в печать 24.09. 86.
Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 40,32. Усл. кр.-отт. 40,74. Уч.-изд. л. 43,19.
Тираж 6 000 000 экз. (6-й завод: 1 250 001—1 500 000).
Заказ 1853. Цеиа 3 р. 80 к.

Набраио и сматрицироваио в ордеиа Леиииа и ордеиа Октябрьской Революции типографии имени В. И. Леиииа издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улнца «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва Архангельского обкома КПСС, 163002, г. Архангельск, проспект Новгородский, 32.

добрей

из




1
В.В.МАЯКОВСКИЙ